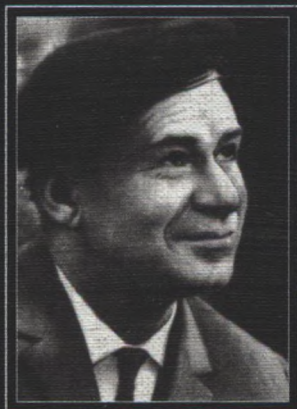


БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ



*Арбат,
режиссерская улица*



БОРИС ЯМПОЛЬСКИЙ

*Арбат,
режимная улица*

М О С К В А
· В А Г Р И У С · 1 9 9 7

ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.

ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

ISBN 5-7027-0451-7

© Издательство «ВАГРИУС»,

издание на русском языке, 1997

© Б.Ямпольский, автор, 1997

© В.Приходько, предисловие, 1997

© Е.Вельчинский, дизайн серии, 1997

СОДЕРЖАНИЕ

Система удушья	
Предисловие В. Приходько	7
АРБАТ, РЕЖИМНАЯ УЛИЦА	15
(роман)	
ЯРМАРКА	231
(повесть)	
ИСПОВЕДЬ	
(из воспоминаний)	
Исповедь	365
Да здравствует мир без меня!	376
Последняя встреча с Василием Гроссманом	412



Система удушья

В 1963 году в легкий воскресный день Межиров повел меня на ипподром. Я поставил рубль на симпатичную лошадь. Одинар. И выиграл десять рублей. Александр Петрович сказал: „Новичку везет“. И познакомил меня с Ямпольским. Это было двойное везение. Ямпольский принес с собой только что вышедшую книжку „Молодой человек“. Повесть. Будто про меня. (На самом деле, про него.) Герой, пятнадцатилетний Илья Главацкий, из маленького города уезжает в большой город. Перед этим, зная, как *придется терпеть*, он закаляет волю: читает „Джимми Хиггинс“ Эптона Синклера каждый день сто страниц, а если больше, то на следующий день не переходит и не засчитывается; подставляет палец под огонь спички; ходит на руках вниз головой; прыгает с крыши на крышу и смотрит на приятеля в упор, воспитывая силу взгляда.

На суперобложке был красный шар, желтый полумесяц и черный силуэт юноши с нейтральным носом. Тут же на ипподроме я получил эту книжку с надписью: „...от любителя скачек“. Правда в ней, не слишком жесткая, была покрыта романтическим флером. Как бы дымкой легальности. Книжка понравилась мне, хотя я ожидал большего. Понравилась и надпись.

В 1967 году Ямпольский подарил мне другую — „Волшебный фонарь“, включавшую повесть „Карусель“ и карусель мелких рассказов, среди которых я обнаружил шедевры. Надпись поразила меня в самое сердце: „Владимиру Приходько, украинцу среди русских, рус-

скому среди украинцев, космополиту среди евреев". Я написал на „Волшебный фонарь“ рецензию, где спорил с Нагибиным, не увидевшим в таланте Ямпольского сатирическую струю. Недавно нашел эту статейку в рукописи: напечатана она, по-моему, не была.

Мы иногда гуляли с Ямпольским. Гулять с ним было замечательно. Он говорил ярко, остро. С сильным акцентом. Потом мне уже все, написанное им, стало казаться таким, акцентированным, даже эпитафия в повести „Дорога испытаний“: „Для того, чтобы идти тысячу верст, человеку необходимо думать, что что-то хорошее есть за этой 1000-ю верст. Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться“. Но, кажется, Лев Толстой, а это он, „Война и мир“, вне подозрений. Что до „Ярмарки“, о ней я не знал, пока Межиров — непререкаемый авторитет — не сказал: „Без „Ярмарки“ не понять Ямпольского“. Тут же выяснилось, что у самого Ямпольского экземпляра для прочтения не имеется, а имеется только у каких-то родственников. Если бы Ямпольский знал, что именно через тридцать лет я переиздам „Ярмарку“, дал бы свой, разъятый на странички. „Ярмарку“ дал мне Межиров, между прочим, наделенный пророческим даром, я убеждался не раз. И „Ярмарка“ обнажила то, что, открывая, одновременно затуманивали его повести конца 40-х — начала 60-х годов: родовой пафос.

В русской литературе немало талантливых книг — деревьев, выросших у еврейского дома. Не стану перечислять, читатель сам составит список того, что любит. Думаю, в него пора включить „Ярмарку“ — неотразимую, печальную, ностальгически-торжественную и забавную.

Издана „Ярмарка“ была в году военном, не победном, бедном, тиражом 5 тысяч, на плохой бумаге, с огрехами. Не до книг было, и автора никто не знал, и все-таки была издана. Это объяснимо, это неспроста.

Исторический контекст таков. Книга вышла *после того*, как еврейский артист Михоэлс в советском кино-

фильме „Цирк“, сделанном по образцам Голливуда и прославляющем сталинский режим, спел на идиш колыбельную черному ребенку, пострадавшему от американского расиста. И — *до того*, как эти кадры были из фильма изъяты. И раз уж вспомнился Михоэлс, укажу на связь издания „Ярмарки“, подписанной в печать в ноябре 1942 года, с поездкой еврейского артиста в Америку, начавшейся в марте 1943 года, где он получил от близких и дальних родственников господина Дыхеса и госпожи Канарейки (изображенных в „Ярмарке“ не то с отвращением, не то с восхищением) миллионы долларов для сражающейся России, для Красной Армии. А также медикаменты, часы, одежду. Может, он приблизил открытие Второго фронта?..

„О, какими были б мы счастливыми, если б нас убили на войне...“, — сказал Межиров. После войны возможность увидеть „Ярмарку“ изданной еще раз Ямпольскому не предоставилась.

Все мы люди своего времени. Молодой Ямпольский разделил со своим временем некоторые иллюзии. „Ярмарка“ — подцензурная вещь. И все же стихия материала здесь так сильна, что заслоняет стержень подцензурной фабулы. И остается только любовь. К жизни. К детству. К роду. И становится ясно, что Ямпольский человек родовой — в старинном, сегодня трансцендентном значении этого слова. Этим объясняется пристальное внимание к корням. И осознание призрачности произвольной и навязанной интернациональной доктрины.

„Ярмарка“ — образ жизни. Существующей? В маленькой повести „Табор“, также не напечатанной при жизни, Ямпольский написал: „Нет и не будет уже никогда на Украине хоральных синагог, хедеров, обрезаний, помолвок под бархатным балдахином, золотых и бриллиантовых свадеб, голодания до первой звезды судного дня Йомкипур и веселого хмельного праздника Симхестойре“.

„Ярмарка“ осторожно вписана в историческую реальность — между русско-японской войной: „Господин

Дыхес продал все гнилое мыло на войну“ — и первой русской революцией 1905 года. И все же это не столько воспоминание, сколько поэтическая фантазия очень богатого и очень изысканного воображения.

Действие „Ярмарки“ происходит в местечке Белом. Иначе говоря, в Белой Церкви под Киевом, где 8(21) августа 1912 года родился Борис Самойлович. Энциклопедия о ней сообщает: „В XIX в. — крупный торгово-ярмарочный пункт“. В анкетах Ямпольский писал: родился в семье служащего. Его старшая сестра Фаня Самойловна, врач-микробиолог, 1904 г.р., рассказывала мне, что отец работал на мельнице, а у матери был небольшой магазин, где торговали платками. „Вы видите этот клетчатый платок? — говорит в „Ярмарке“ уличная торговка. — Спите на нем, кушайте на нем, заворачивайте в него детей, варите в нем, пеките в нем, целуйтесь в нем, ему ничего не будет.“ И спали, и кушали, и заворачивали... Детей было шестеро. Младший — Борис.

Он должен был стать еврейским писателем. Но... к тому времени, как он родился, ни деда, ни бабки, говоривших на идиш, не было. В потоке речи, звучавшей в доме, проблескивали еврейские, украинские, польские словечки, однако то была русская речь. Новое поколение стремилось к ассимиляции, связывая с ней равноправное будущее. „— Вы знаете язык? — Только акцент“ („Диалоги“). Русский писатель-еврей, Ямпольский гордился своим акцентом и боялся его.

В крохотном рассказе „В толпе“ Ямпольский назвал себя соглядатаем человеческим. Соглядатайство художника не профессия, а природа, и уходит в детство, когда формируется характер. В „Ярмарке“ читаем: „Я заглядывал в окна домов: кто-то, ударив картой по столу, взглянул на меня сверкнувшими глазами, кто-то плачущий, увидев, что я смотрю, плюнул на меня через окно, кто-то ругавшийся изругал и меня; вор, укравший подсвечник, заметив, что я подсмотрел, погнался за мною“. Он *смотрел*, и это не нравилось человечеству.

Писатель, если он и продукт эпохи, то продукт единственный. В свои „ранние, нежные, светочувствительные годы“ он был таким же и не таким, как все. Вот Фаня Самойловна помнит, что с братом было чудо. Однажды весной, в четыре с половиной года, он упал с дерева и потерял речь. („И вырвал грешный мой язык“.) Мать безутешно рыдала. Речь вернулась к нему, и он сказал: „Не плачь, мама. Посмотри, светит солнце, цветы на ветках, поют птички“. („И жало мудрая змеи в уста замершие мои...“) Может быть, так начинаются пророки? В восемь лет он поцеловал девочку с красивым именем Стелла. Имя всплыло в самой невероятной его новелле „Таганка“. Девушка, назвавшаяся Стеллой, входит к себе в темноте молодого человека; утром он обнаруживает, что комната, где они целуются на полу, полна народа; о барачной Москве в 60-е так никто сказать не посмел; такое соглядатайство делает Ямпольского родоначальником андерграунда.

Он рано научился читать — книги и географические карты. Играл в футбол, прыгал в речку Рось. На анти-семитский вопрос: „Ты зачем Христа распял?“ честно отвечал: „Я не пял“. Любил сначала Луи Буссенара, потом Гоголя, Льва Толстого, Стендаля. Потом Бунина (у меня сохранился том прозы Бунина, подаренный Борисом, — с пометами пристального чтения).

После революции социальное происхождение Ямпольского было под подозрением: „Всю жизнь я боялся; в сущности, если одним словом выразить мою жизнь, это слово — страх. Да, так оно и есть и от этого никуда не уйти. Сначала это был страх, что я не родился от того отца, от которого надо бы родиться. Еще ничем не запятнанный, еще не сделавший ничего хорошего и ничего плохого, я вдруг обнаружил свою неполноценность, беспомощность. Я все боялся, что узнают, что некогда он имел лавчонку, распроклятую гнилую лавчонку с мышами, в глухом вонючем базарном переулке, где в картонных коробках навалом лежали платки Прохоровской мануфактуры, касторовые и перламутровые пуговицы, английские булавки, бельгийские кружева,

житомирские крючки, и бабы долго рылись в коробках, подбирая нужные им пуговицы, и когда они расплачивались медяками или серебром, он кидал монеты в жестяную коробку с лаковым Жорж Борманом. И меня долго не принимали в пионеры...“.

Маленьким мальчиком он боялся уснуть, чтоб не проспять мировую революцию. Нес плакат: „Школы стройте, тюрьмы сройте!“ *Смотрел* — и вскоре заметил, что революция строит новые тюрьмы, покрепче и пострашней. Работал журналистом в Новокузнецке на Томи: в романе „Знакомый город“, также не увидевшем света при жизни Ямпольского, из редакции рабочей газеты один за другим исчезают сотрудники. По-видимому, его тоже, еще в начале 30-х, то есть когда машина террора еще не была запущена на всю катушку, допрашивали новокузнецкие гэнэушники: это было нелепо связано с тем, что его отец в молодости эмигрировал в Америку, но вернулся, стал реэмигрантом; значение этого слова ускользало от следователя. Ямпольский пытался постичь закономерности репрессивной системы: „Один день меня не было, и меня уже похоронили. Но почему пошла туда инструктор по кадрам, та, которая больше всех сделала, чтоб все остальные пошли туда, откуда не возвращаются, которая работала в таком контакте, в такой согласии и энтузиазме с теми, кто этим занимался, этого я не понимаю и никогда не пойму.“ И еще: „Один знаменитый адвокат сказал мне: единственное дело, за которое я не берусь, — это невиновные, потому что оправдать невиновного невозможно“. И еще: все, что *они* о нас знают, они знают от нас самих.

Перед войной он окончил Литературный институт. В книге Бориса Рунина „Мое окружение. Записки случайно уцелевшего“ (М., 1995) есть свидетельство о его политической зрелости уже в те предвоенные годы: „Если я и позволял себе в те годы с кем-то поделиться впечатлениями относительно происходящего в стране, то это был, пожалуй, только Боря Ямпольский, которо-

му можно было довериться и который уже тогда все понимал“.

Снилось ли в страшном сне европейским художникам такое давление, какое тупо и губительно оказывал на искусство большевизм? „Вы же не хотите знать, что испытывает мышь, или кролик, или муха дрозофила при эксперименте, как им больно, как они кричат молча, немо, как они прощаются с жизнью, может, понимая, что вся жизнь была еще впереди“.

Все крупные вещи Ямпольского, опубликованные при жизни, — компромиссны: „Дорога испытаний“ (1955), „Мальчик с Голубиной улицы“ (1959) и др. А вот свою главную исповедальную вещь позднего времени (60-е годы) — не то роман, не то повесть, нет, все-таки роман — „Арбат, режимная улица“ он в печати уже не увидел. Появилась она на пороге нового безцензурного времени, в 1988 году, в журнале „Знамя“: рукопись, хранившуюся в семье писателя Эммануила Фейгина в Тбилиси, в „Знамя“ принес Межиров. По словам работников редакции, название „Московская улица“ (не совсем ясное: улица имени Москвы или улица в Москве?) было дано по предложению Владимира Лакшина, привыкшего к новомирской традиции смягчать названия острых вещей, за которые еще предстоит война с цензурой. По мнению Межирова, и у Ямпольского был смягченный вариант на случай внезапного просвета и публикации.

В этом издании роману возвращается подлинное название. Под ним он, надо думать, и войдет в историю литературы, вытеснив мертвые бездарные „секретарские“ и примыкающие к „секретарским“ книги.

В западной печати роман сравнивали с „Процессом“ Кафки: герой, обозначенный буквой К., жилец коммунальной квартиры на улице, по которой ездит на дачу Сталин, парализован страхом по-советски.

Незадолго до смерти Ямпольский написал: „Очень уж велика цена даже за вечное освобождение, даже для достижения райской жизни“.

Он не знал свободы, только либерализацию. Однажды либерализация закончилась; у Василия Гроссмана арестовали рукопись романа „Жизнь и судьба“; одинокий Борис (горестный парадокс — родовой человек без семьи), в припадке мании преследования, панически пристраивал свои рукописи разным лицам. Он признавался, что отрывочность, разорванность повествования стала его характером.

Всю жизнь он боялся собраний, чисток: „Неужели я был на тех собраниях, на чистках? Это я, забившийся в дальний угол, сидел с замиранием сердца и ждал, что вот-вот назовут мою фамилию, и слушал эти лживые, эти лицемерные, эти подлые клятвопреступнические истерические речи, и жизнь проходила. И молчал. И терпел.“

Борис Ямпольский умер после тяжелой болезни почечек 28 декабря 1972 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

Своей мягкой, певучей прозой он приговорил систему удушья.

Владимир Приходько

Ардат,
режимная улица

РОМАН

Что же случилось тогда? Что произошло в том кабинете, высоком и чистом, как зал крематория, когда была произнесена моя фамилия?

— Арестовать!

И молодой, еще совсем зеленый, только кончивший спецшколу лейтенант, недавно женившийся на москвичке и еще даже не имеющий своей жилплощади, а живший вместе с родителями жены и свояченицей и се детьми в тесной коммунальной комнатухе за шкафом, и, несмотря на это, аккуратный, с белейшим подворотничком, и даже пахнувший одеколоном, отложив в сторону книгу, своим молодым и самоуверенным почерком, за красоту и четкость которого попал на эту должность, любуясь, выписал ордер, очень красивый. И это чистое произведение каллиграфического искусства, подписанное начальником отдела, чья подпись похожа была на разогнавшийся курьерский поезд и утверждена высшим начальством, чья подпись была уже только с завитушками, и завизированное таким высоким начальством, что даже фамилии своей не выводил, а ставил только закорючку, знак иерархии, иероглиф, означавший „согласен“, занесли в книгу и пустили куда надо.

И накануне во двор пришел у с т а н о в щ и к.

— Как там старая курва, Фортуновна, все водит? — для разгона начинает установщик.

— Бываст, — сдержанно отвечает дворник Овидий,

получивший накануне у Зои Фортуназовны пол-литра свежего денатурата.

— А этот зеленый змий Музычук? — продолжает установщик.

— В мертвую, — радостно отвечает Овидий, обиженный тем, что Музычук сам все до капли выпивает, даже взглянуть не дает, и сам и бутылки сдает.

— А этот тип? — между прочим, безразлично и как-то задумчиво-отвлеченно спрашивает установщик. — Патлатый...

— Какой этот? — отводя глаза, недоумевает Овидий.

— Ну, этот, который гордый, ученый, — уже ближе подходит установщик, тоже отводя глаза. — Фамилию его все забываю, на К.

— А, понятно, — определяет Овидий, — третий день не видно.

— Не ночует?

— Может, в командировке? — делает Овидий предположение.

— Нет на месте, — доложил установщик.

И подполковник, майор, а может, и капитан, не глядя, не задумываясь, ордер временно перечеркнул, и это был росчерк, равный росчерку Создателя, линия от небытия к жизни, между которыми пучина, непостижимость.

Потом нахлынула новая кампания, новые враги, и те, что вчера были врагами, не злободневные, совсем не играют в новой конъюнктуре, совсем не ценятся, и в проценты не входят, и никуда не вписываются, и нет за них ни наград, ни поощрений, ни компенсаций.

Или, может быть, было так:

— Все занято, подсобка, пересылка, и машин нет.

И тогда тот, в стальной гимнастерке, в той высшей, стальной, коверкотовой, пахнущей одеколоном „Шипр“, каким душится высший комсостав внутренних дел, мимоходом, холено-небрежно бросил:

— Сократить!

И это слово, твердое, короткое, одно из двухсот двадцати тысяч современных русских слов, не лучше и не хуже других, которое, конечно же, имеет свое происхождение, свой корень, спрягается, имеет приставку, суффикс, именно в этом повелительном наклонении сказанное в том кабинете, высоком и чистом, как слово Бога, подарило мне во второй раз жизнь.

Часть первая

КВАРТИРА

Теперь, когда прорубили широкий, уходящий в небо проспект, Арбат остался забытой где-то в стороне тихой узкой улочкой, которую пешеходы, словно это в Жлобине или Кобеляках, перебегают, где хотят, а когда-то это была очень строгая улица, по которой, говорят, Сталин ездил на ближнюю дачу.

Старый Арбат, с Кривоколенными, Николопесковским, Серебряным персулками, с Молчановкой и Собачьей площадкой, с Сивцевым Вражком и с церковью Бориса и Глеба, со всеми своими особняками, барскими каменными хоромами, почерневшими бараками первых пятилеток, бетонными коробками, с установившимися запахами, со своими старушками в салопах и шляпках, с детьми-пионерами в красных галстуках, — старый Арбат жил не видной глазу, скрытой, режимной жизнью, где каждый дом, каждый подъезд, каждое окно инвентаризировано, за всеми следят, всех курируют.

Начиная от знаменитой „Праги“, которая давным-давно была уже не „Прагой“, а набита конторами и конторочками, с глухим заколоченным парадным подъездом и пустынной плоской крышей, где еще долго после войны валялись гильзы зенитной батареи, и родилось, и выросло поколение, которое и не знало, что тут был прославленный ресторан „Прага“, — так вот, начиная от „Праги“ до Гастронома на Смоленской, улица как бы имела второе лицо. Веселый магазин шляп в „Праге“, на углу, и писчебумажный на углу Серебряного переулка, пахнущий школой, готовальней, чистой лино-

ванной бумагой, „Детский мир“ с пузатыми разноцветными матрешками, и зоомагазин с оранжевыми рыбками в аквариумах и запахом помета и пуха птичьих мучений, и антикварный с золотыми вазами с изображениями египетских фараонов и римских легионеров, и восстановленный после бомбежки театр Вахтангова с афишей „Два веронца“, и кино „Юный зритель“ с рекламой кинокартины „Клятва“. А поверх этого как бы наложенный на улицу теневой силуэт, как блуждающая маска, вдоль всей улицы, — строгая, загадочная и молчаливая цепочка: зимой в бобрике и ботах, а летом в апашках и дырчатых сандалетах. В метель, и в дождь, и в туман, и когда цветет сирень, и цветет жасмин, и в листопад, на рассвете, когда выходят первые троллейбусы, и в часы пик, и в час театрального разъезда, и в час инкассаторов, и в новогоднюю ночь, и в пасхальную ночь, и в первомайскую ночь, вчера, и сегодня, и завтра — всегда — молчаливая цепочка на Арбате.

Они стояли вдоль всей улицы, избегая света фонарей, на углах переулков или у подъездов, притворяясь жителями дома, и смотрели на проезжую часть. Они стояли как-то одиноко, отдельно, автономно и будто вспоминали что-то забытое, весь день и всю ночь вот так стояли и вспоминали что-то забытое. Но вдруг их охватывала лихорадка. Красный свет зажигался одновременно на всех углах, и ревели в больших металлических коробках милицейские телефоны, цепочка выходила на кромку тротуара, и будто посреди улицы открывался оголенный провод, и весь Арбат со всеми его витринами, манекенами, завитыми головками, будильниками, муляжами, золотыми рыбками и канарейками в клетках стоял под высоковольтным напряжением.

Табор

Это была одна из тех барских квартир, каких много в старых арбатских особняках, квартира, которая занимала целый этаж, с большими венецианскими окнами,

двумя входами — парадным с широкой беломраморной лестницей, на которой некогда лежал ковер, а теперь ступени давно потемнели, были сбиты, заплеваны, обшарпаны, — и черным кухонным, с узкой железной лестницей, на которой пахнет не только помоями, ворами, но бегают живые крысы.

Все было как везде: грохочущая и замызганная холуйская черная лестница, и облупленные до дранки стены, и пыльная, несчастная, голая экономичная лампочка с багрово-потухающей нитью накала, и двери, изрезанные любовными и нахальными надписями, и цементный кухонный пол, и в саже кухонный потолок, так что расписанные на нем амуры и вельможи казались грешниками в аду; ванная, в которой хранились капуста и картофель, а потом стояла постель молодого начинающего и обещающего быть гениальным художника, и карболочный вокзальный туалет, к которому в зимние темные утра, когда все просыпаются поздно и все спешат на работу, выстраивалась очередь, и скандалы, и интриги, и с некоторых пор комиссия содействия домоуправлению стала с вечера раздавать порядковые номерки.

Давным-давно, пожалуй, с тех пор как хозяин особняка, чайный фабрикант, сбежал от революции в Париж, ни маляры, ни плотники, ни кровельщики не касались стен дома, и давно отпала гипсовая лепка, и фигуры ампира стояли в розовой тифозной сыпи, а кое-где даже провалились потолки, открыв деревянные балки. Если приходили гости и танцевали, дом содрогался и хозяева умоляли: „Тише, а то сейчас снизу прибегут инсультники“. А в дождь население выносило на чердак ведра, тазы и кастрюли, в комнатах и коридорах был потоп, а на водосточной трубе выросли шампиньоны.

Только под 1 Мая приходили маляры с длинными кистями и, висая в подвешенных к крыше люльках, распевая песни, красили фасад в старый, барский фиестапковый цвет, правда, не в чистый, благородный фиестапковый XVII века, а в несколько грубый, несколько нахально-яркий, аляповатый, но все-таки не суриком, не

охрой, не камуфляжного цвета воздушной тревоги. Дождь скоро смывал эти румяна, и дом стоял, как пожилая красуля, вдруг вздумавшая румянить щеки, и слезы текли грязными старческими подтеками. Но приходил новый Первомай, или вдруг приезжал знаменитый и небывалый иноземный гость, и снова под окнами распевал маляр. Потом приезжала машина, и монтер менял разбитые в зимнюю стужу молочные шары, выворачивал погасшие, перегоревшие лампочки, и ночью снова ярко светил фонарь, и казалось, наступает новая жизнь.

Но ничего не изменяется. И все так же шумит, скандалит, женится и разводится, рожает и умирает разноязычный табор коммунальной квартиры.

На высоких массивных старорезимных дубовых дверях, где некогда была одна жарко начищенная медная табличка, теперь многочисленные звонки и кнопки, с детально выписанными указаниями и вычислениями длинных и коротких звонков.

Откроете дверь, изнутри висят на веревочках картонные визитные карточки — „Черномордиков дома“, „Цулукидзе дома“, „Свизляк — на службе“, „Лейбзон дома“, „Кнунянц в командировке“.

А потом широкий, темный, пропахший нафталином, свечными огарками, мышинным пометом коридор, весь заставленный старыми рассыпающимися шкафами с ненужными книгами, окованными железными полосами сундуками, о которые вы всегда обиваете себе колени, какими-то тюками и корзинами, набитыми всякой ветошью и дребеденью, а может быть, даже камнями, лишь бы там что-то стояло, лишь бы мешало людям жить. Тут же цинковые корыта, похожие на детские гробы, громадные оранжевые и голубые бутылки, в которых черт те что хранится, сверкнет старый горбатый самовар, дамский велосипед, из колеса которого обязательно торчат острые спицы, засохший фикус, и стоит даже бог весть откуда взявшееся, давно изъеденное молью чучело медведя, который по-отцовски коснется вас, и вы вздрогнете от неожиданности, словно именно вас он и дожидался в этом коммунальном лесу.

В общем, сюда выставлено все, что не нужно никому, но только тронь или чуточку передвинь с места... А бьет, еще посредине висит на протянутой веревке белье, которое бьет вас мокрыми штрипками по лицу.

В коридор выходили высокие и широкие двери с дубовым узором, и на вешалках висели старые, еще гражданской войны шинели, бекеши, еще старорежимные салопы, шушуны, и казалось, у стены, прижавшись, стоят и ждут своего часа краскомы, чекисты и старухи бабы-яги.

За дверями орало радио, или играл патефон, или плакали, или пели, или били посуду, или царствовала такая тишина, что становилось страшно, и пахло то жареной воблой, то столярным клеем, то лекарствами, то сивухой, то гримом или ужасной, необратимой пустотой.

Совместная жизнь настраивала всех на одну волну. Иногда в квартире стояла мертвая тишина, но стоило только кому-то закричать, как во всех комнатах начинался шум, все вспоминали обиды, оскорбления, боль...

Как во всякой большой, крикливой и суматошной московской коммунальной квартире, которая, впрочем, ничем не отличалась от такой же ленинградской, или киевской, или одесской квартиры, разве только тут было еще теснее, населеннее и резче запах чада, стирки, сортира, потому что, переделанные из бывших контор, магазинов, тюрем, они были менее благоустроены и приспособлены к человеческой жизни, рождению детей, болезням, свадьбам, смертям — как и во всякой коммунальной квартире, тут жил самый разнообразный, смешанный, пестрый, никак не понимающий и не сочувствующий друг другу люд.

Не они выбирали тут местожительство, никто специально их и не поселял, а поселились они хаосом, неразберихой бурного времени революции и гражданской войны, загнанные сюда разрухой, пожарами, экспроприациями, грабежами, мобилизациями, и, поселив-

шись, крепко привязавшись к чужому месту, голодовали, бедовали и плодились, как кролики.

Кое-кто жил здесь давным-давно, еще с тех времен, когда и ордеров не было, а только классовое право, классовое чутье. Уже и не было того, кто вошел сюда по закону реквизиции и уплотнению, а жили и расплодились его потомки, выписали родственников из деревни и маленьких местечек. Но были и такие, которые не имели никакого отношения к тому, кто некогда вошел сюда по классовому закону и занял подобающую жилплощадь господствующего класса, а такие, что фальшиво женились и прописались, а потом даже не разводились, а просто спровадили милую невесту или дождались смерти старух, изо всех сил помогая этой смерти. Но были и такие, которым и фиктивный брак не понадобился. Они прописались неизвестно как и почему и на каком основании, но в домовой книге появились их фамилии и были поставлены все печати, наклеены все нужные гербовые марки. Все у них было в порядке, в ажуре. Но были и такие, которые и прописаны не были, просто жили, просто втерлись и жили годами.

Нет, не играли они никогда теплой компанией в лото или в трик-трак, не составляли совместной пульки, не собирались на посиделки полузгать семечки и никогда, никогда не ходили друг к другу в гости на варенье, соленье, на маринованные грибы или семейную наливку. Если даже была свадьба, или именины, или просто вечеринка, приходили с другого конца города, но из соседней комнаты, из-за фанерной перегородки не заглядывали, а если слишком шумели, то из-за этой перегородки стучали щеткой в стенку, так что сыпалась штука-турка и отклеивались обои, а бывало, и выходили в коридор и делали последнее предупреждение или просто без предупреждения приводили участкового.

Да, жили тут разные люди и разно они стоили. И как во всяком сообществе людей, были и свои сумасшедшие, и свои верховоды.

Вот роль верховода играл тут Свизляк, тучный, зу-

бастый мужчина, с кирпичным лицом, сивым жестким ежиком Керенского и развязными ногами кавалериста, хотя он ни разу не сидел в седле на лошади, а всю жизнь провел, обнимая мощными мускулистыми ляжками канцелярский стул в министерстве.

СВИЗЛЯК

Создатель не поскупился на него. Судя по величине и количеству костей, по этим мослам, по огромному черепу, природа, видимо, задумала сначала что-то более громоздкое, носорога или верблюда, но в последний момент что-то случилось или, может, обнаружилась нехватка лимитированных хрящей, и вот она слепила и выпустила на свет Свизляка, оставив только носорожий заряд амбиции, зависти, коварства в его животной неистощимости, и пошел он гулять со своим дыханием и запросами, а тут еще попал в клетку коммунальной квартиры, и низки были все притолоки, и когда он входил, то сгибал голову и все вокруг ему казалось крохотным и ничтожным и хотелось разнести в щепы.

В каком он служил министерстве и что он там делал, чем занимался те десять часов, которые отсутствовал дома, никто не знал, а он почему-то тщательно скрывал и ни разу не проговорился, считая это государственной тайной, и когда его об этом спросят, он только скосит глаз и взглянет подозрительно, словно ему задали вопрос о дислокации, в лучшем случае усмехнется и скажет:

— Где партия и правительство поставили, там и работаю.

Хотя точно было известно, что в партии он не состоит и никогда не состоял, однако заявления писал чаще, чем кто-либо из членов партии, и сослуживцам его, очевидно, жилось несладко, судя по тому, что он рассказывал жене за ужином, как „поставил на место товарища Каплана“, и что он еще „доберется до товарища Щелкина“ и „проверит классовое происхождение Брокгауза“; а не

родственник ли он Брокгаузу и Ефрону, которые выпустили небезызвестную энциклопедию?

В годы нэпа, говорят, он в каком-то небольшом губернском городе открыл свою собственную мастерскую по починке несгораемых шкафов, имел золотишко, и жемчуга-бриллианты, и иностранную валюту. Но в первые же годы реконструкции и социалистического наступления быстро перестроился, исчез из губернии в Москву, нашел угол и очень быстро и ловко вытурил из всех других углов законную их владелицу, стал носить бриджи и толстовку и брезентовый портфель инспектора и даже чуть ли не вступил в партию, но в это время началась чистка, прием приостановился, и он одумался рисковать. А когда чистка кончилась, он уже не подавал заявления, а решил остаться навсегда беспартийным большевиком и, не неся бремя ответственности и членских взносов, помогал партии разоблачать врагов народа, двурушников, подкулачников, идеологических диверсантов, оперативно откликаясь на все текущие призывы и кампании, на все субботники и воскресники, и хотя сам не любил работать, но следил, чтобы никто не отлынивал, не жил в отрыве от общественной, текущей жизни, скрываясь в единоличной скорлупе, в башне из слоновой кости, хотя свою ячейку, свои соты строил крепко, надежно, индивидуально, не надеясь на помощь и победу коллектива.

Едва только он в своей мокрой собачьей куртке и высоких охотничьих, пахнущих дегтем сапогах, с огромным старым разбухшим портфелем являлся домой, тотчас же, не успевал он снять куртку и кинуть портфель и крикнуть дочери: „Ляля, не распыляй время!“, — начинал пилить, строгать, стучать.

Свизляк обожал чуланчики, каморки, сарайчики. Где только есть свободный, а то и несвободный угол, тотчас же устроит загородку и забьет всякой ветошью. Подвал и чердак он давно освоил и разгородил, напихал старыми стульями с разодранными соломенными сиденьями, старыми матрацами с выскочившими пружинами, старыми желтыми корзинами с книгами и газета-

ми, повесил всюду здоровые амбарные замки, и кто ходил в подвал или на чердак вешать белье, вечно разбивал лоб об эти ржавые, злые замки.

На время войны Свизляк уезжал в эвакуацию, ибо как раз в этот момент жизни у него обнаружились каверны в легких. Это было видно на рентгеновских снимках, он носил эти снимки с собой и всем показывал, как свою фотографию, и в квартире, и у себя в учреждении, и даже в других учреждениях, куда он обращался по своим делам и заботам. Может быть, так оно и было, но я в это не верил. Когда он орудовал топором и лопатой, когда он взбегал по лестнице одним махом, когда утрами отфыркивался у раковины, когда сидел за столом и, раздирая руками гуся, ужинал, в нем не чувствовался смертельно больной.

Но во всяком случае 16 октября он срочно отбыл в эвакуацию и не забыл предварительно закрыть все свои курятники на амбарные замки. Конечно, в холодные годы войны их разбили и растаскали на топливо, и когда Свизляк прибыл из эвакуации в защитной сталинке — в габардиновой гимнастерке и синих диагональных галифе — краснолицый, загорелый на иссык-кульском солнце, с тюками урюка, он тем же голосом, тем же манером, каким в начале войны говорил: „Это вам не мирное время“, стал теперь говорить: „Это вам не военное время“. И делал все, что хотел и что ему было выгодно.

Ему пришлось начать все сначала, и все вечера он строгал и стучал снова, сбивая свои чуланчики. Однажды ночью он отрубил даже кусок от кухни, и когда утром все проснулись и явились на кухню с кастрюлями и сковородками, то увидели закрытую на большой висячий замок новую каморку. Потом та же участь постигла и общий коридор, и тут он ухитрился отрезать кусок и устроить ловушку-загородку и повесить замок. И когда уже решительно нечего было больше отгораживать, он буквально полез на стену и отрубил кусок коридорчика уже не по вертикали, а по горизонтали, и устроил висячий антрессольчик, и запихал туда какие-то кошелки, какие-то старые полушубки и изгрызанные мышами

книги, всякие „Спутники агитатора“ и брошюры по НОТу двадцатых годов.

В маленьком этом темном коридорчике, у самой моей двери, на гвозде висела его пышная длинноволосая собачья куртка, принявшая его могучий облик. От нее пахло сыростью и псиной, и когда он выходил из комнаты, то так же пахло и от него, от его подтяжек, подмышек, от его улыбки и взгляда.

С ним жила жена, крохотная, замученная женщина с несчастным засушенным личиком, которой он все время твердил: „Не ходи на цыпочках, ходи на всю ступню, это раздражает“.

День и ночь ему хотелось все разнести в клочья, все его раздражало, и так как эту энергию нельзя было всю вложить в заколачивание гвоздей, то она пошла по другому направлению и стала выливаться с кончика пера. И это дело, деликатное и, на первый непривычный взгляд, даже легкое, чепуховое, веселое, оказалось работой тяжелей грузчика — тут уже надо было иметь сердце даже не носорога, а экскаватора. В конце концов это надорвало его, но уже позже, гораздо позже, а до этого нужно было случиться катаклизму, по сравнению с которым извержение Везувия, землетрясение на Японских островах, средневековая чума, и инквизиция, и другие страхи, и штуки Ирода были просто куриным пометом.

Никто не знал, какой он силой обладает и до чего может пойти, но все почему-то были уверены, что он все может сделать, и не испытывали судьбу, и не доводили до кипения, и сдавались угрозе. И он с каждой кухонной, коридорной победой становился все нахальнее, и требовательнее, и, когда на лестнице раздавались его тяжелые и звонкие шаги, его шумное дыхание, будто дышала сама собачья куртка, на кухне становилось тихо.

Соседкой его была тихонькая, робкая старая дева Любочка, которая жила в своей комнатке-гнездышке, среди пышных плюшевых кресел, как мышь в норе, и

которой не касались штормы и электромагнитные волны современной жизни и собраний, и которая до обморока боялась его взгляда и дыхания и от звука его голоса теряла сознание.

В комнатке ее жил еще и еж, а у окна стоял большой, похожий на подводный грот аквариум с золотыми рыбками.

Это нам кажутся все рыбки одинаковыми. А для нее каждая была личностью, со своим характером, со своим нравом, были рыбки кроткие, ленивые, были шалуны и капризули, были всеядные и рыбки-гастрономы. И каждую она нарекла, как человека, именем.

Длинная, стремительная вертихвостка была Василий. Толстая, сонливая рыбка была Тарас. Маленькая, юркая, хищная, на лету хватающая корм, была Валентин...

Для них тоже все люди были на одно лицо, только хозяйка их была другая, в темноте они узнавали ее силуэт, ее фосфоресцирующее лицо и на ее певучий голос откликались. И стоило только ей позвать: „Василий, Василий!“, как Василий тотчас же бросал все суетные дела свои в длинных, извивающихся водорослях, подплывал к стеклянной стенке и уставлялся выпученными холодными глазками: „В чем дело? Я тут!“

Каждый день ранним, ранним утром, когда квартира еще спала, и вечером после работы она кормила свою золотую гвардию, и из-за двери слышалось: „Василий... Василий... Ап!.. Тарас... Тарас... Тарас... не зевай! Валентин... Валентин, брось свои хулиганские трюки!..“

И Свизляк все это учел.

Однажды зимним вечером, во время очередного кормления Любочка зачем-то внезапно открыла дверь в кухню, и от дверей, грохоча сапогами, отскочил пузан в габардиновой гимнастерке с широким военным ремнем.

— Вы, конечно, извините, — сказал управдом, — но поступили сигналы. У меня режимная улица, а у вас без пропуска живут каких-то два Василия, один Тарас и один Валентин.

На что уж Голубев-Монаткин — политически самоуверенный подпольный товарищ, еще в двадцатые годы незапятнанным прошедший через все дискуссии и чистки и лишь по какому-то дикому, конъюнктурному недоразумению вышедший в тираж, знавший все политические входы и выходы, имевший природное классовое чутье, ибо происходил из крестьян-бидняков Сасовского уезда, Рязанской губернии, но даже и он своим исконно природным чутьем понимал, что Свизляк — кулак и примазавшийся, колеблющийся элемент, который бы служил и лизал так же и при Керенском, и Врангеле, и батьке Махно, при английской королеве Елизавете или японском микадо Хирохито, если бы они могли дорваться до власти в России. И он старался не связываться со Свизляком, не то что боялся или трусил, а просто сторонился и с высоты своего подпольного прошлого как бы не замечал его нахального существования, не вступал с ним ни в какие дискуссии, а тем более кухонные обмены мнениями, оставляя даже часто без ответа его несвоевременные высказывания. Стоя вполоборота и слушая вполуха, выпятив вперед губы с миной: „Все это болтовня, глупости, политическое недомыслие“, — Голубев-Монаткин корректно плевал в его сторону, и растирал ногой, и уходил в свое глубокое, классово-партийное понимание событий и очередных задач.

Голубев-Монаткин

Крепенький, жилистый, чудовищно носатый старичок, все лицо — и щеки, и лоб, и даже, казалось, уши ушли в толстый хрящеватый нос. Можно было подумать, что давно, в самом раннем детстве, кто-то решительно взял его мягкое младенческое лицо в жменю и с досадой сжал. Но, присмотревшись поближе, можно было увидеть, что это — только поверхностное представление, что все именно так было задумано природой и все черты лица по плану стремились, симметрично стягивались к носу, как к своему средоточию, своему

высшему самовыражению, чтобы составить это надменное, самоуверенное, самолюбивое, ничего, кроме своего носа, не признающее лицо, лицо-нос, лицо-апломб.

Да и весь он, крутенький, ожесточенный, низкого роста, в бурках на повышенных каблучках, был похож на ходячий нос, на который напялили защитный картуз и пустили по улице, чтобы чихал и сердился, и всех учил, и, когда надо и не надо, злобно сжимал в кулачки свои короткие, крепкие ручки, сообщая всем, кто этого еще не знал, что он всегда принадлежал и сейчас принадлежит и будет принадлежать к тем, которые командуют, а не к тем, которыми командуют. И сознание этого было в том, как он смотрит на вас сверху вниз, как со значительной миной слушает, небрежно и брезгливо, как отвечает — кратко, отрывисто, не вдаваясь в объяснения и подробности, — или просто молчит: „Вы мне не по уровню“, — и уходит, не кивнув, не простившись, твердо отпечатывая шаги.

Всегда у него был такой вид, будто он знал что-то такое, чего никто, во всяком случае в этой квартире, среди этого жадного, лукавого, мелодичного, погрязшего в разврате мещанства, кухонного сброда, не знает и не может знать, будто он хранил какую-то важную государственную тайну, которой невозможно не только поделиться, но при знании этой тайны даже опасно стоять с кем-то рядом.

И хотя он уже давно не был у дел, не входил в кабинет, отделенный от мира, от сомнений и пересудов темным тамбуром и двойной, обшитой дерматином, клеенкой или кожей дверью, по ковру к служебному столу, к которому приставлен другой, длинный стол для заседаний, давно уже не ф о р м у л р о в а л, не давал указаний, не советовал, не приводил в чувство, в идейную зрелость, не подымал на кампании, на идеологическую борьбу, — это выражение превосходства, всезнания, как припающее, никак не хотело сходить с его лица. И похоже было, как будто он с этим выражением родился некогда в пятистенной деревенской избе, на широкой печи, и теперь оно, одубелое, окаменелое от времени и к

тому же еще оттененное обидой, невниманием, незаслуженной отставкой от дел, еще более обнажилось. Голубев-Монаткин и сейчас щепетильно следил за текущей политикой, за всеми передвижениями вверх и вниз, и получал по подписке не только „Правду“, но и „Советское искусство“, и „Культуру и жизнь“, ибо очень интересовался литературой и искусством, и не так новыми шедеврами, как новыми решениями: кто и как провинился, и ошибся, и получил по башке, с кого снимают стружку, а кто, наоборот, в фаворе, и что сказал писатель А. Фадеев или художник А. Герасимов.

Ту же „Культуру и жизнь“ приносил с собой и Свизляк, который как раз в те дни тоже очень интересовался литературой и искусством, и как бы они ни были отчуждены и даже враждебны друг другу, но, увидев в руках у Свизляка эту щуплую, на тонкой бумаге газету, Голубев-Монаткин одобрительно хмыкал и иногда, особенно во время разгара космополитизма, до того снисходил, что даже подмигнет Свизляку: „Ознакомились?“, — на что Свизляк, сердитый и ненавидящий Голубева-Монаткина за то, что этот гранит не поддавался его зубам, тоже откровенно подмигивал одним глазом: „Дают!“

Но вообще ни с кем в квартире Голубев-Монаткин не разговаривает и даже не здоровается. Рано утром, выпив несколько стаканов кофе с цикорием, который очень любит, он надевает свою старую зеленоватую бекешу с барашковым бортом и белую папаху и, ни на кого не глядя, уходит из дому неизвестно куда. Некоторые сообщали, что видели его в сквере дремавшим, с газеткой на коленях, другие говорили, что, наоборот, он непрерывно ходит-бродит, считая это цементом здоровья, третьи — будто видели его в библиотеке, где он что-то выписывал из старых желтых газет, а некоторые уверяли, что он уходит в Сандуновские бани и проводит там полдня на полке, а в перерывах играет в шашки и пьет морс.

Во всяком случае нет его до обеда, а ровно в два придет и опять, ни на кого не глядя, словно и не на что глядеть, умоет над кухонной раковиной руки и сядет за

стол, постукивая ножом, сообщая этим, что ждет обеда. А когда подавали суп, захватив тарелку лапой, урчал. Отобедав двумя блюдами с закуской и компотом, с той же газеткой ляжет на кушетку, укроет лицо от мух и захрапит так, что не слышно телефонного звонка.

— Мне надоело слушать твой свинячий храп, хоть бы ты сдох, — говорит ему супруга, толстая, рыхлая, сырая женщина, боевая подруга жизни.

— Как у тебя глотка не лопнет, — отвечает Голубев-Монаткин.

Слова он выговаривает медленно, ясно, веско, словно читает приговор.

И, опять сев за стол, он стуком ложечки об стакан сообщает, что ждет чая, потому что днем он пьет только чай. Высосет три стакана очень сладкого чая, да еще с вареньем, и опять, захватив ту же газетку, уйдет и вернется поздно, когда все спят. На столе его ждет холодный ужин, он его аккуратно съест и перед сном опять же почитает ту же газетку и ляжет спать, и ночью почему-то не храпит, а спит тихо, а может, и совсем не спит.

В 1920 году в Баку, в подвале ЧК, Голубев-Монаткин расстрелял восемнадцатилетнюю девушку. Она стояла у стены, и когда он поднял наган, она разодрала на груди платье и крикнула: „На, стреляй, гад!“ И вот уже тридцать лет является она по ночам и глядит ему прямо в глаза: „На, стреляй, гад!..“

Но, несмотря на это, Голубев-Монаткин никак и ни за что не мог и не хотел отвыкнуть от своей громкой прошлой жизни, и когда утром выходил из комнаты в коридор или на общую кухню, сердитый, напыщенный, то, казалось, удивлялся, что никто не уступал ему дорогу, не жался к стене, не улыбался, не льстил, не спрашивал, как самочувствие, ничего от него не хотел, и не ждал, и не просил. Хотя он-то не был в настроении слушать, вникать, давать спуску, ибо он не верил в другие средства убеждения и повинования, как только держать в кулаке, в ежовых рукавицах, в шорах, в шенкелях, без рассуждений, без всяких дискуссий, обсуждений,

симпозиумов. Без мягкотелости, слюнтяйства, мелкобуржуазной распушенности, фарисейства. И все это проникло, так пропитало все его существо, все его черты, голос, походку, въелось не только в его характер, но глубже, в кость, в кровь, в гены, в хромосомы, что казалось, будь у него дети, они сразу родились бы не только вот такими носатыми, хрящевидными, но и высокомерными, всезнающими выкорышами, только разве росточком с наперсток, и, даже не обучаясь ни в какой школе, не зная еще азбуки и таблицы умножения, уже судили бы обо всем с апломбом и учили всех идеиности.

Айсоры

В первой от входа, самой большой комнате, с широкой, некогда стеклянной дверью, даже не в комнате, а в зале с толстыми румяными амурами на стенках, с огромными венецианскими окнами, которые вдруг сразу озарялись зеленым сиянием троллейбусной вспышки, проживала большая, шумная и вздорная семья-муравейник: деды, бабки, зятья, деверья, племянники, двоюродные и троюродные братья и сестры, и все чернявые, курчавые, крикливые, очень похожие друг на друга.

И к ним еще приезжали из разных дальних и близких городов и просто приходили в гости из разных районов, и все такие же чернявые, курчавые, азартные, приставучие и настырные, и иногда казалось, что они тут оставались жить, мельтешили, меняясь паспортами, и не только участковый или дворник, но и соседи, и, пожалуй, они-то сами не могли разобрать, кто есть кто.

И все это жужжало, как шмелиное гнездо: то разбуженное вдруг взревет, то попрутитхнет, но чаще всего жужжит постоянно, ровно, и в этом жужжании — и хрип радиоточки, и треньканье цыганской гитары, и ленивое переругивание шальных, с лукавыми хитрыми глазен-

ками ребятишек, и постоянная работа мясорубки, которую они почему-то держали в комнате, и стук-постук — чего-то там они строгают, пилят и вечно ладят, — и еще какое-то непонятное, странное гудение, словно там действовал челнок самодельной ткацкой машины или, может, самогонный аппарат, и еще будто кого-то стригли машинкой, и он вскрикивал.

Спали в два и даже три этажа на нарах, и всегда кто-то храпел и стонал во сне, а остальные в это время соорились, пели, чавкали, а черная тарелка репродуктора „Рекорд“, не желая ничего этого знать, бубнила про свое.

Уже с самого раннего утра зимой, еще в полной темноте, когда люди только просыпаются, так уже рычал, дребезжал хриплый, разухабистый патефон, и уже беспрерывно крутился он весь день и пел жарким, зовущим голосом, звал на Гвадалквивир. Обезумевшая тупая игла, как гвоздь, кружилась и царапала заигранную и переигранную пластинку.

Говорили, они айсоры, а кто такие айсоры, что это за нация, племя, откуда они взялись и расселились по всем городам и городишкам России, от бульвара Фельдмана в Одессе до Золотого Рога во Владивостоке, и замахали пушистыми сапожными щетками, никто этого толком не знал, да вряд ли они сами это помнили.

Откуда они взялись, где их настоящая родина, ведут ли они свой род из Ассирии-Вавилонии или откуда-то поближе? Говорили они на странном, невысказанном наречии, удивительно перемешивая какие-то тарбарские слова с русскими словами и жаргонными словечками. Но счет деньгам всегда вели по-русски.

То они распространились по всем ближайшим уличным перекресткам, восседавая в самодельных будках среди разноцветных шнурков, ваксяных коробок и гирлянд белых стелек, и чистили обувь, быстро мелькая щетками; то, когда началась война и было не до глянца туфель, они рассыпались по всем рынкам и торговали с рук старой ветошью, военным пайковым хлебом, вод-

кой, сахарином, сульфидином, медалями „За отвагу“; то, когда снова пришли мирные дни, их можно было встретить у всех ближайших станций метро — зимой с первыми мимозами, весной с тюльпанами и ландышами: „Нарциз! Нарциз!“; а поздней осенью — с перчатками, варежками, шарфами: „Импорт! Экспорт!“, „Экспорт! Импорт!“

Они появлялись, шумные, прилипчивые, крамольные, непутевые, немедленно всюду, где был перекресток, толкучка, очаг дефицита и пахло свежим рублем, будь это мимозы, бюстгальтеры, карамельные петушки или игрушки „уйди-уйди“, и неважно, привозилось ли это самолетом или тут же кустарно изготовлялось, за углом, в потайном подвале.

И эта огромная комната была иногда как субтропическая оранжерея, а иногда — как оптовый склад, а бывало, и мастерская, когда на полу сидели все, от патриарха до младенца, и надували разноцветные воздушные шары, которые тут же продавались у ворот проходящему люду.

Это было то же самое, что иметь под боком золотую орду: орут на рассвете, и весь день, и ночью, иногда не утихая подряд целую неделю, если у них праздник, или чья-то удача, или такое настроение. А если свадьба, так это даже чувствовалось в проезжающих троллейбусах.

Однажды серолицая чахоточная дочь вышла замуж тоже за чахоточного, с которым познакомились в районном тубдиспансере.

Свадьба была шумной, дикой, и так как электричество было выключено за пережог лимита, то она происходила при свечах и коптилках.

Было много гостей-туберкулезников и выпито много водки в этот день на свадьбе, и еще на следующий день, и много дней подряд с утра до вечера играл патефон — они никак не могли закончить свадьбу.

И всю эту шальную ораву, в жестких и мелких, как барашек, кудряшках, качало из стороны в сторону, ка-

залось, и комната раскачивалась, и внутри все плясало, пило водку и закусывало винегретом, клепало, и хваталось, и тарабарничало, вспоминая обиды прошлые и нынешние и выдумывая будущие, цыганило, дралось, царапалось и мирилось, пело и пило согласно, пока снова не начинало царапаться до крови, до расплаты, не прощая ни одного слова, ни единого взгляда, ни одного намека.

Пьяное веселье замерло на несколько часов и вспыхнуло с новой силой. В это время самый маленький впервые надел огромные чоботы и пошел самостоятельно во двор, и через час его привел милиционер, он попался на краже бутылки водки в столовой.

Гости уходили и приходили, и приводили новых гостей, еще трезвых и уже пьяных, опьяневших на другой свадьбе или по дороге, в забегаловке, а может быть, их и приводили или они сами приходили из забегаловки на шум веселья. В коридоре и на лестнице валялись пьяные, и люди, ушедшие на рассвете на работу, переступали через них, как через бревна.

Невеста через неделю неожиданно слегла, ее увезли в больницу, и она умерла, к ужасу табора, который успел прописать жениха на своей жилплощади.

Когда возвратились с похорон, начались поминки, и они были такие же шумные, громкие, отчаянные и казались продолжением свадьбы.

А как отшумели, отгорели поминки, пошла драка между семьей и женихом, которого тут же стали выселять с площади. Патефон играл, жарким голосом призывая на Гвадалквивир, а вся семья наваливалась на жениха, и душила, и выталкивала на улицу, на мороз, а он не уходил и, избитый, в царапинах и кровоподтеках, все возвращался, открывал двери и говорил:

— А я прописан, и никто не имеет права...

Он говорил, что понес убытки и уйдет, если только ему вернут расходы на свечи и гроб, но это была только отговорка, он никуда не ушел, а подал в суд, и народный судья с двумя заседателями отсудили ему несколь-

ко квадратных метров, и теперь он жил в одной комнате с табором, отгородившись от него буфетом, и они все время ссорились и втайне сдвигали буфет с воображаемой границы.

— Я подвигаюсь, — говорил он, — хочу распространить свою территорию, а они при каждом отсутствии за двигают и задвигают, совсем нечем дышать.

Теперь днем и ночью кашель его слышен был через все стены и перегородки. Когда он приходил в кухню к своей кастрюльке, он отхаркивал в индивидуальную слючечную коробочку, и хозяйки отворачивались, поджимали губы, и им казалось, что палочки Коха бегают по стенам.

Он давно уже не работал по инвалидности и весь день на чердаке вытачивал каких-то матрешек и ванек-ванек и продавал их на Киевском рынке, и табор уже трижды приводил милицию, жалуясь на незаконный промысел и требуя выселить бывшего зятя с режимной улицы как спекулятивный элемент. Но у него все было в порядке по части инвалидности, и по части туберкулеза, и по всем другим линиям советского гражданина, и его оставили в покое к возмущению табора, который считал, что его нужно уничтожить навсегда и окончательно.

— Колеблющийся человек, — говорили они, — плохой, очень плохой.

Современная жизнь, с ее собраниями, политикой, напряжением идеологической борьбы, морально-политическим единством, их как будто совершенно не касалась, не задевала своим жестким крылом.

Они не только ничего не хотели об этом знать, но им и в голову не приходило всем этим интересоваться, все это происходило в каком-то другом измерении, для других людей, из другого теста.

Они, казалось, жили в каком-то далеком прошлом, в мире с колесницами, языческими свадьбами, кровной мстостью, или же в современной оперетке.

Террористка

Рядом с ордой жила тихая сердитая старушка с мертвыми глазами и усеченным, как конус, подбородком, не соприкасаясь с шумной, то взрывающейся скандалами, то фейерверком веселья таборной жизнью, глухая ко всем слухам, сплетням, кухонным интригам, не читая газет и журналов. Даже радио в ее комнате молчало.

Во всех комнатах, по всему длинному коридору радио целый день орало, хрипело, протяжно пело хором Пятницкого и плясало, топотало ансамблем песни и пляски или говорило государственным голосом Левитана. А если молчало радио, хрипел патефон, или кричали истерическими голосами и тузили друг друга, обзывали овцой и идиотом, или во всяком случае надували велосипедную шину или камеру футбольного мяча; а эта комната мертво молчала, и даже подслушивавшие ничего не могли услышать, а в замочную скважину ничего не было видно: с той стороны торчал ключ.

Уже и к участковому поступали анонимки, что в этой комнате слишком подозрительно тихо, старорежимно, несоответственно бурному текущему моменту, что аполитично и отвлеченно, как старосветская помещица, живет Розалия Марковна, и в этой подозрительной тишине, может статья, кроется что-то агентурное.

Но приходил участковый в тонких сапогах, при каштановой кобуре и, вежливо постучавшись к Розалии Марковне, осторожно входил в ее комнату, оглядываясь и все запоминая, задавал несколько отвлеченных историко-биографических вопросов и, получив от нее исчерпывающие ответы, выходил спокойно и даже как-то косо, сердито поглядывал на столпившихся у дверей анонимщиков, глядевших в его руки, не вынесет ли он оттуда бомбу или банку с ядом.

Жила Розалия Марковна, как ночной мотылек. Только в полночь, когда никого уже нет на кухне, когда остыли примуса и керосинки и все дремлет, неслышно

прошелестит на кухню и что-то там сварит, вскипятит в своей кастрюльке какое-то варево и быстро унесет в свою комнатку — и слава богу.

Правда, говорили, что не всегда была такой тихой и незаметной Розалия Марковна, что когда-то в давние времена была она суффражисткой, ходила в эсдеках или даже анархо-синдикалистах, была жесткой и нетерпимой, и бушевали в этом крохотном теле террористические бури, и прятала она у себя под кроватью бомбы, и даже раз метала бомбу под карету кровавого губернатора. Но уж в это решительно трудно было поверить — как она этими кроткими, сухими в веснушках ручками могла и прикоснуться к бомбе.

Розалия Марковна, наверно, всегда была худенькой женщиной, но теперь она высохла совсем в девочку-подростка, со сморщенным, как груша из компота, личиком, и молнии, некогда сверкавшие на том лице, совсем затянуло сетью морщинок, терпеливым покоем.

Я иногда приходил в ее мертвую комнатку и перебирал тяжелые картонные листы ее „боевого“, как она говорила, альбома. На старых, тусклых снимках я видел нежное, пастельное местечковое личико гимназистки, потом она стриженная, горькая, гордая курсисточка, потом властная, суровая, разрушительная, в кожанке и высоких шнурованных „румынках“, с маузером в деревянной кобуре.

Как она ораторствовала, удивляя градоначальников, станowych, городских, сколько речей произнесла, сколько протестов, поправок к резолюциям, сколько слов в порядке ведения собрания по мотивам голосования!

А теперь затихла, будто зашили ей рот, замолкла навсегда, как моль. Убедилась ли в тщете слов, испугалась ли, или навеки оглохло, онемело в ней что-то главное, что говорит, возмущается, бунтует и сражается за правду, за честь, за всех.

В ее комнатке было несколько фикусов, с большими, толстыми, лопатообразными листьями, которые она мыла мылом. И в этой захлавленной комнатке они

казались живыми пришельцами из другого, давно забытого, а некогда существовавшего мира, который был до всего этого — до террора, до комиссарства, до коммунальной Москвы, там, далеко, в тихом зеленом мире палисадников, желтых подсолнухов, утреннего крика пестухов.

Утром она поливала фикусы из лейки, и в этой лейке тоже было что-то такое доброе, знакомое, успокаивающее, из того, прошлого мира, где были еще грабли и пила, пахнущая свежими опилками, старые, почерневшие сани и огромный, лежащий посреди двора зернистый мельничный камень, и было солнце, радость, ожидание чего-то прекрасного, счастливого. И кажется, что, когда она так ходит вокруг вазонов и поливает их из лейки, она вспоминает все это — свое детство, свою юность, свои мечты и надежды и не слышит крика и гама кухни, одуряющего хрипа радио, уходит все дальше и дальше в воспоминания, смутно таящиеся в генах, в той разумной клетке, из которой произошло это взрывчатое, настырное, в кожанке и высоких „румынках“, с маузером и теперь высохшее в такое сухонькое, жалкое, бледное, как росток сельдерея.

Она возвращалась к той жизни, которая была еще до того, как занялась бунтами, и платформами, фракциями, фикциями вместе со своим мужем Рафаилом Альбертовичем, который угодил туда, куда все угодили — все подруги, все товарищи по партии, по оппозиции, по алгебре революции. А она неизвестно как и почему осталась на поверхности, то ли забытая, потерянная на дороге где-то между двумя акциями, то ли не сработал какой винтик, какой-то ленивый, нерасторопный разгильдяй заткнул ее карточку не в ту ячейку. Или вовремя Розалия Марковна исчезла, переехала, растворилась, а может, и бежала с этапа и перевоплотилась, утихла в божью коровку, а потом уже было не до нее, потом забирали, умертвляли тех, кто ее искал, и уже никто ее даже не помнил. И осталась Розалия Марковна одна на всем свете, устраненная из политической атмосферы.

Лишь заглянув в эти глубоко врезавшиеся под лоб круглые глазки и встретившись с пронзительными зрачками, можно было уловить искру того давнего, горевшего неумолимым, нестерпимым, бесноватым огнем, а ныне как бы покрытого печальным пеплом равнодушия и усталости.

Лишь в ее суетливой угловатой фигурке, в быстроте и резкости движений, в нервной хриплости голоса еще сохранилось что-то от той старой Розалии Марковны, боевика, террористки; да еще была короткая стрижка и приверженность к мужского покроя курткам.

Рассказывали, что после ареста мужа некоторое время она была фармацевтом, и даже очень хорошим, и могла составить целебные средства из чепухи, но в одну из чисток, тех многочисленных и шумных чисток, ее вычистили как чуждый, неблагонадежный элемент. И она так испугалась, что после, когда прошла кампания чистки, вдруг обнаружила, что позабыла все рецепты, фармакопея ушла, как вода сквозь сито, и остались только обломки, только осколки, какие-то формулы, какие-то отрывочные латинские термины, которые уже никак не составлялись в нечто разумное, целебное.

Постепенно Розалия Марковна научилась вышивать, и шелком вышивала по подушечкам всякие узорчики, и за этим занятием успокоилась, забылась. И теперь весь ее безумный пыл переустройства общества, и перевоспитания, и улучшения человечества путем террора и диктатуры ушел в кроткое, неслышное вышивание цветными нитками мулине по шелку кошечек и кроликов.

Ах, Розалия Марковна, Розалия Марковна! Что с вами? Кто поверит, кто поймет, как это получилось, как это вообще возможно?! Где ваш бунт, ваш дьявольский протест, ваша жертвенность, иудейская настырность и кипучесть, бросавшие гневное праведное слово русскому самодержцу?

Вы бледнеете от одного косого взгляда Свизляка, вы уже прекрасно заранее знаете, что значит этот взгляд бдительности и кто является вслед за ним.

Да, иногда вы еще и сейчас приходите во дворик Музея Революции, в этот зеленый скверик у прекрасного соразмерностью своей фронтона Английского клуба, и собираетесь тихой, незаметной грустной кучкой, все такие же маленькие, усохшие, крошечные старушки в стареньких, еще с цветочками, шляпках, и тихо, чуть ли не немо переговариваетесь, сообщаясь почти телепатией. А жизнь — вот она грохочет, яркая, грубая, сегодняшняя, беспощадная, несется мимо, смеясь, в мохеровых шарфах и замшевых ботинках, проезжает в черных „Волгах“, и не хочет, и не желает знать ваши химеры, ваши недоумения. Но еще придет время, день и час, когда жадно прислушаются к вашим воспоминаниям, к вашему раскаянию, к вашей исповеди и задумаются над своей молодой жизнью.

Бонда Давидович

Представитель художественной богемы, длинноволосый старый лабух Бонда Давидович Цулукидзе, чудный человек, игравший со своей музыкальной артелью на похоронах, был кроликом в жизни, тигром на работе. Уже все уходило на службу, уже дети отправились в школу, уже на кухне прошел первый шквал утренних стычек и откипели утренние чайники, отшипели сковородки, и в квартире наступил тот час спокойного солнца, когда все в очередях, и только тогда Бонда Давидович выходил на кухню, с удовольствием умывался, отфыркивался, тряся седой гривой над краном, пофыркивая, визжал в брызгах ледяной воды. На конфорке шкварилась его сковородка, всегда одно и то же, изо дня в день, из года в год, всю жизнь — картошка на маргарине. И, позавтракав, Бонда Давидович стучался ко мне, молитвенно складывая ручки и, кивнув на телефон, говорил:

— Позвольте, одну гамму.

И начинались длительные, энергичные, напористые переговоры с музыкальной командой.

— Ты можешь делать кого-чего, — кричал он в телефон, подражать кого-то при наличии ударных инструментов?

Он выслушивал ответ.

— Костя-тромбонист? Нет, он много пьет, и у него не хватает дыхания!

Он снова слушал ответ.

— А кто дает темп? Мы или жмурики?

Разговор о жмуриках шел каждый день, и я тоже понимал, что если впереди жмурик — это дороже, если же ведут лабухи, то похороны идут со скоростью 50 километров в час и такса дешевле.

Отговорив, Бонда Давидович иногда сообщал мне:

— Сегодня иду в оперу. Ведь у меня совершенный слух. Какое удовольствие услышать, как сфальшивит флейта! Ведь вы этого не понимаете.

Бонда Давидович не участвовал ни в революциях, ни в бунтах и вообще жил вне времени и пространства. Ему было все равно — была Великая Октябрьская революция или нет, прошли ли нэп, коллективизация, индустриализация и репрессии 1937 года. Даже Отечественная война задела его только крылом: 16 октября сорок первого года он был все-таки взят на земляные рубежи под Нарой. Но 16 октября ушло, и он снова вернулся к кларнету, и жизнь его теперь отличалась от прежней только тем, что за игру на похоронах он получал не деньгами, а сахаром или крупой, или в крайнем случае хлебными или мясными талонами, на которые по знакомству получал красную икру. А похорон было очень много, больше, чем когда-либо за всю его долгую жизнь.

Бонда Давидович никогда не читал газет, разве только если в „Советском искусстве“ раз в году напишут о халтуре и встретятся знакомые фамилии. Но и тогда он читал не газету, а вырезку из нее, обтрепанную, и грязную, и гнусную от многочисленных рук и карманов, в которых она побывала. Бонда Давидович ничего не знал и знать не хотел о всяких постановлениях ЦК и Совнаркома, о борьбе идеологий, а в кружке по изучению теку-

щей политики, куда его все-таки загоняли, он из года в год, вот уже двадцать лет, успевал дойти только до выборов в Первую Государственную думу, а что было дальше, не знал. И когда однажды была кампания по вовлечению в партию работников искусств и Бонде Давидовичу тоже предложили написать заявление, он его покорно написал: „Прошу принять меня в Российскую социал-демократическую партию большевиков“.

Бонда Давидович был весь погружен в реквием, и вся жизнь, жизнь Москвы казалась ему единым и безостановочным конвейером смертей, великим крестным путем на Ваганьковское, или Введенское, или, в последнее время, — на Востряковское кладбище, одинаковым для всех, для министров и инвалидов, исходом, во время которого плакали трубы и раздирали сердца тех, кто даже не знал покойника, и на минуту, на мгновение, всякому, как бы он ни был груб, счастлив и легкомыслен, напоминали конец всего. А потом были поминки или, если не было поминок — родственнички не тратились на поминки, — то они сами, лабухи, заходили в одну из прикладбищенских забегаловок и выпивали косушку с пивом, закусывая воблой, если она была, или просто с сушками. И вновь светило солнце, и кружил ветер, возвращаясь на круги своя, и все начиналось сначала.

Никто к нему никогда в гости не приходил, и писем он ни от кого не получал. За все время только раз, тотчас же после конца войны, почтальон постучался и принес Бонде Давидовичу удивительный, узкий и длинный твердоглянцевый пакет с чужеземной, с изображением льва, маркой. И Бонда Давидович дрожащими руками принял письмо, пощупал, посмотрел его на свет, даже как будто и понюхал и потом дня три не выходил из комнаты, ни с кем не говорил по телефону, затих у себя, как будто умер.

Но вскоре его куда-то вызвали, приходил специальный человек, в новой шляпе, с новым желтым портфельчиком.

Свизляк говорил, что Бонда Давидович получил наследство от Ротшильда.

И другие...

В коридоре, за фанерной перегородкой, в темной, без окна камерке, как в пенале, жило и плакало, смеялось и учило уроки по арифметике и географии семейство тети Саши, уборщицы Гастронома, а в праздники, когда в пенале появлялся проходящий муж тети Саши, играли на гармошке, пили вино и самогон, закусывали холодцом из телячьих ножек, отпускаемых мясным отделом Гастронома со скидкой своим сотрудникам.

Мальчишки, несмотря на эту свою неустроенную жизнь в пенале, не чувствовали себя ущемленными, и в коридоре, и на лестнице не подлизывались к остальным жильцам, чувствовали себя не только полноправными, а были самыми шумными и дерзкими, никому не давали спуска, и, пока я там жил, ушли в ремесленное, ходили в черных шинелях и больших черных ремесленных картузах, стали вдруг тихие, серьезные и степенные и приходили уже не шалые от драки, а усталые, с темными, в масле, руками. И никто не успел заметить, как они стали токарями и мастерами своего дела, и старший женился и привел в пенал молодую жену, и скоро она тут же, на нарах, неожиданно ночью родила сына, и он закричал, запищал на весь коридор. А младший ушел в армию, и когда приезжал в отпуск офицером, то и тогда ночевал на нарах в пенале.

А уже в самом конце длинного, темного коридора, там, где, казалось, завершается история новейших времен, в закутке под лестницей на чердак, в замкнутом пространстве, проживала одинокая, кривая, надтреснутая старуха с желтовато-седыми волосами — смотрительница туалета со Столешникова переулка. Как шлейф, тянулся за ней аромат ее заведения, и после нее, казалось, пахнут стены, книги, и будто жутко. Она приходила со своей работы поздней ночью, когда глох шум города, и даже от ее следов несло аммиаком. И она одна на кухне, долго, чуть не до рассвета, варила себе суп из рыбных костей, и этот тошнотворный чад проникал

сквозь щели, замочные скважины, и люди просыпались, а кто не просыпался, тому снились кошмары.

У всех на кухне были отдельные столики, у одних побольше, у других поменьше, и они стояли впритык, так что когда хозяйки рубили мясо или шинковали капусту, то осколки летели на соседние столики. Только у одной этой старухи не было столика, а была только полочка на стене у самых дверей, и, стоя у этой полочки, она тихо делала свое дело. И сковородка, и кастрюлька, и тазик старухи не были спрятаны, как у других, в шкафчик под большим замком, потому что никакого шкафчика у нее не было, а висели тут же, над полочкой, всегда тщательно вымытые, выскобленные и даже сияющие. Но все остальные соседки отворачивались от них и старались подальше отставить свою посуду.

И когда она заболела и долго лежала одна в конуре, неизвестно чем питаясь, однажды пришла целая делегация с перевязанной цветной ленточкой картонкой торта — какой-то предместкома этих туалетных учреждений и две женщины, одна такая же точно старуха, копия нашей, а другая совсем молоденькая, в завитых кудряшках, и долго стучались в крохотную дверцу. И странно было слышать обращение предместкома: „Товарищ Сорока! Это к вам от коллектива, товарищ Сорока“.

А в ответ — захлебывающийся и куда-то далеко, на тот свет закатившийся кашель и затем хрипло не то проклятье, не то мольба о прощении, не то просьба какая-то к ведомству.

— Товарищ Кухтенкова, — обратился предместкома к пришедшей с ним старухе, — что-то я не понимаю, что она просит.

— Она не просит, она умирает, — спокойно отвечала старуха.

— Тогда надо принимать меры! — крикнул он.

— Какие меры? — так же спокойно, устало отвечала старуха.

А молоденькая заплакала, и кудряшки ее затряслись.

Но старуха Сорока вдруг появилась в дверях, взяла сувенир и снова закрылась у себя.

Еще на первом этаже, прямо подо мной, жила старая отставная актриса, бывшая опереточная дива.

Ночью, всегда только ночью, в самые глухие часы, слышно было, как она поет, репетирует легкомысленные арии надтреснутым дрожащим голосом, и хотелось плакать.

В ночной глухой, обморочной тишине это пение распространялось, как вода, — тонкое, жалкое, с повторными руладами, с натужным взвизгиванием, с лающими срывами.

К чему она готовилась? Зачем? Или в ночном этом миреже к ней приходила ее молодость, ее работа, ее любовь?

Однажды у меня испортился телефон, и я отправился к ней, чтобы позвонить в бюро повреждений.

Дверь открыл мне мальчик, и почему-то он был в каракулевой шапке пирожком и шубе с шалью.

Я сказал:

— Мальчик, можно позвонить?

И он писклявым, капризным голосом обиделся:

— Я не мальчик.

— Простите, — сказал я и разглядел старого лилипута.

— Ничего, — огрызнулся он.

Лилипут с желтым, сморщенным в сушеный финик лицом, несмотря на свой лимитный рост, не понимаю, как это ему удавалось, взглянул на меня как бы сверху вниз, невнимательно и высокомерно.

— Только поскорее, мне некогда.

На стене над аппаратом висел список телефонов:

„Склифосовский“.

„Психиатрическая Кащенко“.

„Медпивка“.

„Пожар“.

„Главрепертком“.

„Дулев“.

Кто был этот Дулев? Зачем попал он в список срочнейших телефонов? Когда к нему обращались, и чем он мог помочь?

Пока я набирал бюро повреждений и объяснялся, лилипут стоял в сторонке, в углу, в своей шапке пирожком и шубе с шалью, и глядел на меня взглядом презиращущим и не признающим моего существования.

Да, лилипут Петр Петрович вскоре умер от инфаркта.

У дверей квартиры стоял гробик, как на младенца.

И было тихо.

Когда умирают люди, пусть это даже лилипут, и в коммунальной квартире на миг все задумываются о тщете, суете жизни, и бывают очень хорошими и чистыми. В этот день на нашей кухне говорили вежливо и грустно.

ОВИДИЙ

Остается только представить дворника Овидия, кривоногого мужчину с каторжно бритой головой и бельмом на глазу.

Круглое, маслянистое, хитрое лицо его еще издали издавало запах жульничества, и чем ближе он подходил, тем сильнее охватывало вас беспокойство. А когда он стоял рядом, то казалось, все ваши карманы открыты и незащитны. Но если он входил в комнату, то уже замки и ключи не имели никакого значения, вяли и обессиливались, а он каким-то тринадцатым чувством видел, и понимал, и ощущал деньги, или облигации, или драгоценности, где бы они ни были — в шкатулках, в двойном дне, зашитые за подкладку или даже в тайничке, залитые бетоном.

От бельма величиной с горошину глаз был какой-то козлиный, неленый, и непонятно было, видит он или нет. Но когда Овидий стоял у ворот, мирно и невинно пропуская мимо себя и глядя на вас, то бельмо это бес-

покоило больше всего, казалось, он видит и зловеще за-
поминает именно этим бельмом. И оно беспощадно в
своей слепоте.

И звали-то его странным именем, неизвестно как за-
летевшим в русскую или татарскую деревню (неко-
торые говорили, что он казанский татарин). Или, мо-
жет, в младенчестве, при крещении, когда опускали в
купель, его нарекли совсем не так, а он сам переименовал
по капризу, по случаю или по необходимости? Или это
была его кличка в том мире, в той компании, в которой
он жил, пока не появился у нас во дворе? Никто точно
этого не знал, да, собственно, и не думали об этом.

Овидий так Овидий, так и звали его жильцы, так ок-
ликали его соседние дворники, и бстии, и прощелыги
ближайшей закуской-пивной, так он был записан в
домовой книге, и так величал его сам участковый упол-
номоченный, товарищ Веригин, не задумываясь над ге-
незисом этого странного для московского дворника име-
ни, над генеалогией одного из своих помощников и са-
мых рьяных осведомителей, у которого днем и ночью
можно было узнать все, что касается населения этого
дома, их родственников и знакомых.

Овидий не только убирал тротуары зимой от снега,
летом от сора, поливая их из шланга, не только ходил с
домовой книгой под мышкой, разносил жировки и вся-
кие повестки на субботники и воскресники, не только
знал, кто женится, а кто, наоборот, разводится и даже
почему, но осведомлен был, кто какие курит папиросы
и какое пьет вино, предпочитает ли „московскую“, или
портвейн, или спирт в пузырьке, которым снабжает
знакомый фармацевт, и чем занимается в свободное от
службы время, играет ли в карты на деньги, по мелкой
или по крупной, или просто так, в подкидного, или ба-
луется шашками, как пригодишника, и, главное, кто ка-
кие делал высказывания. На самом ли деле это было,
или Овидий сам все придумывал для фасона, для карье-
ры, так как получал тридцать рублей дополнительно „за
наблюдение и подозрение“? Нет, не в этих тридцати руб-
лях было дело. За тридцатку он лишний раз не натянул

бы и валенки, чтобы выйти посмотреть во двор, что, и где, и как.

Все дело было в должности, за которую полагалась тридцатка, в должности, которая давала ему положение, власть, зависимость от него людей и такие проценты, такие довески к этой тридцатке, которые не снились ни одному ростовщику. И еще главное: безнаказанность.

У Овидия были свои собственные фирменные дела. Сначала, тотчас же после войны, в холодные зимы он приторговывал дровишками, таскал вязаночки сухих досочек, которые горели жарким огнем, а потом, когда стали рушить печки-буржуйки и обстраиваться, ремонтировать, он мог достать олифы и цинковых белил, или оконные стекла, или гвозди. Можно было у него раздобыть и связку воблы, и белые тыквенные семечки, которые привозили ему мешками из деревни. А потом появились и новые товары. Впервые безразмерные носки я увидел и купил именно у Овидия.

Говорят, Овидий даже ссужал деньги под обеспечение — обручальное кольцо, часы или самовар, и за такие проценты, что они быстро перегоняли ссуду, и человек давно расплатился с долгом, а проценты все висели на нем, и часы, или обручальное кольцо, или самовар до поры до времени хранились или насовсем исчезали в каморке Овидия.

В этой каморке, раньше кладовой, не было окна, но Овидий прорубил и застеклил маленькое окошко, как бы в бюро пропусков, и скорее всего не для света — он прекрасно обходился и электрической лампочкой, присоединенной к чужому счетчику, — а скорее для наблюдения. И если Овидий не ходил по двору с метлой и совком, что случалось вообще ужасно как редко, или не торчал с приятелем у ворот, играя в железку, то глядел в это окошко, даже питаясь, с ложкой в руке, даже читая газетку. Во всяком случае, редко кто проходил мимо этого окошка, чтобы не видеть торчащего в нем Овидия, а так как прямо у входа горел яркий дворовый фонарь,

то и зимним вечером, и ночью все проходящие были как на экране кино.

Если же Овидия не было ни в окошке, ни во дворе, то его можно было найти в пивнухе, где он чистил воблу или ел раков, запивая пенистым пивом, которым угощали его или жильцы дома, которым что-то от него надо было, или жильцы совсем другого дома или даже другого района, которые намеревались прописаться в этом доме, или просто какой-то неизвестный гражданин или подросток, который тоже не зря тратил свои трешки на пиво и раков для Овидия.

Овидий все знал и все видел, и хорошо, что он все это знал устно и память его была забита бесчисленным множеством других дел и делишек. Я с ужасом думаю, что было бы, если бы у него была привычка к перу и бумаге. Но слава Создателю, он дает человеку не все сразу. У Овидия было такое отвращение к перу и писанине, что, если даже надо было только обмакнуть ручку в чернильницу и расписаться, он бледнел, как перед бомбежкой, и трясущейся рукой царапал что-то невообразимое, и в одной своей собственной фамилии делал столько ошибок и своевольных перестановок букв, что даже участковый Веригин, тоже не профессор чистописания и не филолог, морщился и отворачивался, и махал рукой. А Овидий, натрудившись над изображением своей фамилии, прислонял к чернильнице ручку осторожно, словно чудом не разорвав и плюя в его руках гранату.

Часть вторая

БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Это было время коммерческих ресторанов, Сталинских премий, лакировочных романов-близнецов, судов чести, которые в историю вошли как суды бесчестья, когда бездарность была синонимом благонадежности, бессилие крушило силу, и вперед вырывались самые низменные, самые бесчестные, самые коварные, на престол поднимались мхи, и зима царила в стране моей.

Те смутные, темные, ледяные дни страха, мертвые дни моей жизни, в расцвете моих молодых сил, в тридцатипятилетнем возрасте.

В том году было много достижений и в сельском хозяйстве, и в общественном питании, и в соцреализме, и в борьбе с вейсманизмом-морганизмом, и в борьбе с космополитизмом и хвостизмом, и в национальной политике.

И шли собрания, долгие, бурные ночные запутанные собрания, когда никто точно не знал, в чем дело, чего от него хотят и что он должен делать, думать и говорить, и как голосовать, господи боже мой!

И никто еще не предполагал и во сне не видал, во что это выльется и чем это может и должно неминуемо кончиться.

Ничего не произошло. Не было мора, нашествия крыс или саранчи, никто не умер от страшной, неизвестной, загадочной болезни, не было ни пожара, ни землетрясения, ни наводнения ни в этом городе, ни в каком другом, ни во всем государстве.

И все-таки вдруг, среди ясного, светлого, безмятежного дня прошла эта сумасшедшая искра и пробила все души, все учреждения, все редакции, все министерства, артели, школы, детские сады, и все сразу наэлектризовалось, и стало душно и страшно, и требовало жертв, постоянного жертвоприношения, ненасытного жертвоприношения.

Психозы подозрительности сменялись временами относительного затишья и даже какого-то ублюдочного милосердия, прощения, и обычно в самый шторм, на девятой волне, начиналась новая кампания исправления ошибок и перегибов. Выходило солнце, люди вдруг полутрезвыми глазами оглядывали друг друга, стыдясь недавно сказанных слов, содрогаясь от того, что позволили сделать при их молчании, и чувствовали себя людьми, даже те, у которых страх выел душу, заполнил ее всю, подмял под себя и занял место, где от рождения были гордость, самолюбие, честь, вера, совесть. Но даже в эти Большие перемены, как в затишье перед грозой, уже чувствовалось приближение нового, еще более отчаянного, грубого, слепого и беспощадного приступа подозрительности, когда, как от камня, брошенного в воду, все шире и шире расходились круги, захватывая в водоворот, засасывая в смертельную воронку все больше и больше людей невинных ни слухом, ни духом, никогда не обмолвившихся ни одним словом ни наяву, ни во сне.

Это было, как смена времен года, как годовые кольца на срезе дерева, как циклы шизофрении, и к этому начинали привыкать. Жизнь проходила от собрания к собранию, от кампании к кампании, и каждая последующая была тотальнее, всеобъемлющее, беспощаднее и нелепее, чем все предыдущие, вместе взятые. И все время нагнетали атмосферу виновности, всеобщей и каждого в отдельности виноватости, которую ничем никогда не искупить. Надо все время чувствовать себя виноватым, и виноватым, и виноватым, и покорно принимать все наказания, все проработки, все приговоры.

И постепенно это ощущение постоянной, неисчерпа-

емой, иступленной виноватости и страх перед чем-то высшим стал вторым я, натурой, характером. Проснувшись, ты уже чувствовал себя виноватым в чем-то, чего ты еще не знал и не ведал.

Кто-то не выполнил плана, где-то случился недород, пропажа зерна, крушение, обвал, гнойник, двурушничество... Читая об этом, ты чувствовал, будто это ты просмотрел, проглядел, прозевал, допустил и тоже лил воду на мельницу. И был под постоянным напряжением, в постоянной бдительности, в постоянной готовности искупить эту виноватость, заслужить доверие. Но доверяя, ни полного, ни неполного, все равно никогда не было и не могло быть, и никогда ты не чувствовал себя в порядке, в безопасном благополучии, всегда в любую минуту, днем и ночью, с тобой могла приключиться самая большая, страшная и уже непоправимая, необратимая беда. И ты жил, вздрагивая при каждом косом взгляде, ожидая напасти при каждом повороте, зигзаге, случае.

Никто не знает, зачем это, все втянуты в эту атмосферу, задыхаются в ее ужасной предгрозовой духоте и думают, что так надо, и всегда есть несколько быстро и ловко акклиматизировавшихся, быстрее всех вырвавшихся вперед и наверх, которым это именно и надо, и выгодно, и они уже научились извлекать из этого пользу, первыми откликаться, первыми кричать: „Позор!“ — и они уже барабанщики, горнисты, пенкосниматели.

Завтра или послезавтра, при очередной кампании, при новом пожаре, вздергивать будут их, но они еще этого не знают и не хотят знать, и не предчувствуют, и не думают, и не хотят об этом думать, и сегодня изо всех сил стараются потуже, поаккуратнее, попринципиальнее затянуть петлю на других.

Каждый раз, внезапно, как цунами, появлялось какое-то соображение, например, трактовка образа Кутузова в „Войне и мире“, или приоритет русской науки, или вопросы языкознания, или что-то другое. Почему именно сейчас, в марте или августе, и именно в этом

году, и именно в этот день появлялись эти соображения? Чем это объяснялось — экономикой, международной ситуацией, пятнами на солнце, страшным сном или призраком только одного человека?

И не было недостатка в академиках-холуях, в подставных академиках, избранных в разное время согласно должности, профессорах и доцентах и кандидатах наук, которые раздували кадило, курили фимиами, как клопы сосали Гегеля и Плеханова, Аристотеля и Карла Каутского, и комментировали каждое слово Его, каждую запятую, и если она поставлена была неправильно, случайно, то даже в ошибке этой находили скрытый гениальный смысл. И все это тотчас становилось не только великим открытием, русским приоритетом, но и государственным законом и статьей Уголовного кодекса.

И какое бы это отдаленное отношение ни имело к событиям жизни текущего дня, к интересам и заботам государства и его жителей, к их кровным интересам жизни, семейства, любви, квартирной тесноты, воспитания детей, это немедленно становилось самым главным и значительным, и решающим событием государства, затмевающим все дела и события, заглушая и отодвигая на десятый план вопросы хлеба, школы, семьи, заполняя страницы газет и журналов, научных трактатов и диссертаций, тех пылящихся в книгохранилищах диссертаций в красивых твердых папках с золотым тиснением, которые кандидаты списывали друг у друга вместе со всеми цитатами, ошибками и искажениями.

Это прорабатывалось на всех собраниях, заседаниях, кафедрах, сессиях, и инакомыслящие, а иногда и верномыслящие, шли прямо из аудиторий, лабораторий на пересылку, в этап, в края дальние и ужасные, в Магадан, в Воркуту, а жены в ссылку, а дети в приюты. Разорялись и предавались анафеме целые научные школы, изымались навеки из библиотек и по списку сжигались книги и научные трактаты за целые столетия, рукописи исчезали в архивах, сжигались по актам, и никто и никогда их уже не мог найти. Научные споры начинались в академических аудиториях, с холуями и

приживалами, продолжались со следователем, а заканчивались с вертухаями в лагерях.

Я все узнал на собственной шкуре, я сам сидел на тех собраниях, высиживал их от начала до конца, и все слушал, впитывал в себя, обмирая от страха, что сейчас назовут и мою фамилию, и когда рассуждал в кулуарах, с удивлением слышал свой вязкий голос, словно это говорил сидящий во мне карлик. Но никому не было дела до меня, пока я никому не мешал, ни у кого не стоял на дороге, не был бревном, даже соринкой в глазу, и обо мне те, что выступали, те паны, что дрались так, что чубы трещали, забыли. На меня пока выпала индульгенция, пока я еще лежал не в простреливаемом пространстве.

Но в тот зимний день все проценты моей годности иссякли, и я не в силах был набрать их вновь.

Глава первая

День начался странно, дико.

Разбудил меня телефонный звонок, и высокий, звинченный, обессиленный женский голос спросил:

— Это дом малютки? Как самочувствие ребенка Ключмель?..

Тусклый, как бы фиолетовый свет процеживался сквозь замерзшее окно. Наледь снежная была в палец толщиной.

Крашенные некогда масляной краской, склизкие, сырые стены опущены инеем. Вода в стакане на столе замерзла, и купленная накануне веточка мимозы, слабенькая, пушистая, тоже замерзла и, словно подрумяненная, сникла.

Отчего так прелестны эти легкие светло-желтые веточки? Отчего вызывают такую нежность, такую жалость, радость?

Да, они из будущего года, они первые из той весны, которая еще только грядет, пробивается и несет нам новую веру, бесконечную и неиссякаемую, что вдруг снова

будет молодость, будет то великолепное, несказанное, несбывшееся, пророчески обещанное нам еще в младенчестве.

Не успел я задремать, снова телефонный звонок и измученный плачущий голос.

— Я стояла в очереди целых два часа, пришла домой, разворачиваю, а мне дали одни кости.

Сил не было объяснять, что к чему, да и видно было, что она не поверит, и я устало сказал:

— Хорошо, приходите, обменяем.

— Вы прикажете, да, вы прикажете? — кричала женщина в телефон. — Я с ночи стояла.

— Прикажу, — сказал я.

И как бы донесся до меня, ясно проник в комнату этот предрассветный, осторожный, таящийся шелест создающейся в подворотне очереди, словно не за бараньими ножками, а за кокаином: чернильным карандашом номера на ладони, на каменной, морщинистой, и на розовой, младенчески нежной, где еще даже не проступили, не обозначились роковые линии судьбы. И жужжание тугой, как пружина, очереди, еще в темноте подворотни уцепившихся друг за друга людей, как звенья цепи, самой отчаянной, нерасторжимой на свете цепи продовольственной очереди, и вот так, уцепившись друг за друга, вышедшей на шумный свет улицы и уже официально, во главе с церемониальным сержантом, шествующей словно в замедленной съемке; змеится, течет вдоль стены этот перепутавшийся клубок, суздальские обличья, серые, серые ватники, туалет-де-нор, огромные кирзовые бабьи сапоги, вперехлест авоськи, клеенчатые, дерматиновые сумки. Как будто в комнату ворвался галдеж, пот, суматоха и бушевание мук всех очередей, толпящихся в этой утренней мгле за рыбой, за квасом, за штанами.

Я поглядел в окно. В сером безжизненном сумраке зимнего рассвета быстро, почти бегом, шли по тротуарам темные фигуры, и у всех были хозяйственные сумки, некоторые несли на руках спящих детей или воло-

чили их за собой, закутанных в пальтишки, в пуховые платки, обутых в валенки, и в эту рань некоторые хныкали, а другие молчали равнодушно, и это было еще страшнее.

Одинокие черные фигурки перебегали еще пустынную улицу, издали освещенные приближающимися фарами, и вот он вынырнул из темноты — огромный крытый фургон с белой от свежего снега крышей; где-то за городом, где скотобойни и склады, шел снег, пролетел, исчез. И перебегали новые фигурки, и снова приближались фары, теперь уже их было сразу несколько, а потом вдруг словно прорвалась плотина, они пришли огненным стадом, нетерпеливым, грохочущим, заполнившим всю улицу, и свет фар беспокойно пробежал по толку темной комнаты, как волны бесконечной реки.

Словно сквозь сон бубнило радио что-то о ветвистой пшенице, о ветвистой пшенице, которая так никогда и не вырастет, потом захрипело, захлебнулось, и вдруг сразу со всех сторон, во всех комнатах заиграло и заговорило бодряцким голосом: „Раз-два! Раз-два!“ Будто там, откуда оно вещало, было вечное солнце, райские кущи.

Но что-то было наигранное, напрасное, быстро умирающее в этом голосе затейника, приказывающего во всех комнатах младенцам, и старушкам, и сумасшедшим: „Раз-два! Раз-два!“ Что-то бесконечно неуверенное, что вы его послушаетесь и мигом станете идиотски веселым.

Снова резко и сильно зазвонил телефон, легкомысленный голос сказал:

— Откройте форточку, приготовьтесь к физзарядке, расставьте ноги, глубже вдохните.

— Кто говорит? — спросил я сонно, глупо, хрипло.

— Ваш доброжелатель, который хочет, чтобы вы исправили фигуру, чтобы у вас были плечи крутые, с шишечками по бокам...

И вдруг прервали, и ясный, грубый, из другой оперы голос сообщил:

— Докладывает 1556.

Я, словно обжегся, бросил трубку.

Что-то было в этих звонках зловеще-нелепое и напомидало слышанный в подмосковном санатории рассказ старого большевика, как брали его когда-то в 1937 году. Все началось со звонков: „Это у вас глухонемой ребенок?“, „Тетя Лютя приехала?..“.

Через несколько дней его взяли уже повторно, ночью, прямо из палаты санатория, за день до выписки. Пришла сестра-хозяйка, тихонько, на цыпочках, и разбудила его, он оделся, и все проснулись и видели в окно, как он вышел, и за ним два человека в штатских пальто и ушанках, все сели в „Победу“. Машина развернулась, и они уехали по аллее, мимо заснеженных деревьев, навсегда.

Густая серая тоска сочилась беспрерывно и во сне заполняла всего. Опять снились суматошные, нелепые сны, и все время дрожал и путался в душе страх, то со стрельбой и гранатами я пробивался по улицам, забитым немецкими мотоциклистами на тяжелых зеленых машинах, то вдруг неожиданно останавливал участковый в новой фуражке, молча глядя прямо в глаза, то продирался сквозь душные, с запахом войлока и паутины, чердачные потемки, и было трудно дышать, и я проснулся, чтобы открыть форточку, но в комнате было холодно, морозно.

Дома на противоположной стороне улицы всплывали, как клякса на промокашке, и вся жизнь казалась тоскливым негативом.

И думалось, сколько же сил надо иметь, чтобы опять встать и начать все сначала.

И еще муторно было от саднящего чувства беды. Сквозь непрошедший сон сразу не вспоминалось, что такое плохое случилось накануне. Но когда совсем очнулся, понял: „А, звонки!“ Страшила меня неизвестность, в которой я жил все последнее время, неясное сознание вины несовершенной.

Фитиль копилки плавал в подсолнечном масле в ко-

робочке из-под ваксы; электричество после двенадцати ночи из-за пережога лимита выключала комиссия содействия домоуправлению.

Я зажег коптилку и будто впервые увидел свою комнату, закопченный, в саже, потолок, сиротливо свисавшую на длинном шнуре стосвечовую голую лампочку, выцветшие газеты на столе вместо скатерти, сковородку и жестяной чайник, пальто и шинель на гвоздях, будто кто-то стоял у стены и ждал меня.

Как и все, я не выбирал этого жилья, не пришел сюда потому, что мне нравится эта улица, ее тишина, ее зелень и спокойствие. Это была самая шумная, грохочущая, жадная улица, напоминающая аэродинамическую трубу, где проверяют моторы самолетов, от гула которых некуда деться, а в этой трубе и спишь, и ешь постную картошку, читаешь газеты и романы, ссорисься и целуешься, и болеешь гриппом, и тоскуешь... Я думаю, я склонен думать, что из всех миллионов комнат старой Москвы от Филей до Абельмановской заставы не было более несуразной, дикой и неудобной, похожей на каменный карман, с узким окошком на самую шумную в городе площадь, как раз у поворота транспорта, так что все шедшие по Садовой машины, если им нужно было повернуть на Арбат, именно здесь с рычанием и воем разворачивались.

А ночью, когда нѣмного стихал грохот непрерывного потока и только одинокие машины шли с воем „скорой помощи“, под самое окно к водопроводной колонке приезжали на водопой со всего района эти огромные, неуклюжие поливальные цистерны, выстраивались в очередь с невыключенными моторами, и фыркали, и сифонили, ревела в шлангах вода, и пока машины заправлялись, шоферы и дворники беседовали о несправедливости, о злобе начальников, о цене на гречневую крупу на черном рынке, о своих зазнобах, о закуске. А под 1 мая и 7 ноября именно здесь сводный военный духовой оркестр МВО репетировал „Священную войну“, ревели трубы, гудели барабаны, и стекла дрожали и вибрировали.

Дикий слепой случай, как и во всем в жизни, решил и жилищный вопрос.

В холодную военную весну я пришел сюда с разрешением на временную прописку, я был в летнем комбинезоне, в папаше с красной ленточкой и со старым пистолетом ТТ в самодельной кобуре, сработанной партизанскими кожевенниками в лагере под Бобруйском.

Управдомша встретила меня со строгостью особиста.

Это была женщина с торсом Венеры и лицом новобранца, в ватнике и кирзовых сапогах, с рыжим перманентом и покрашенными губами, полудиверсант-полулоретка.

Она трижды перечитала бумажку, заглянула на обратную сторону, потом посмотрела на меня и сказала:

— Значит, так, фуксом хотите?

Я смолчал.

Она ведь видела водяные знаки этой бумажки.

Дело в том, что некий старый холостяк, бывший фининспектор, выгодно женившись на отдельной квартире и все равно терявший площадь, согласился уступить мне свою старую нежилую комнату, оставив один на один с соседями, давно зарившимися на эту площадь, с дворником, который тоже целился на нее, с домоуправшей-взяточницей, с Моссоветом, с милицией, с паспортным столом, со всеми законами и указами и с самим Верховным Советом. И всякими правдами и неправдами, многочисленными отношениями, ходатайствами, телефонными звонками сверху вниз и снизу вверх, облепленный заявлениями, доносами, судебными постановлениями, я постепенно переделывал прописку временную на постоянную.

Но это уже было после.

А тогда замерзший, почти ледяной, заматерелый дом встретил нас молчанием. Мы шли длинным пустым коридором, кто-то за дверьми в комнатах возился. Оказалось, это шуршали мыши.

Наконец появилось что-то высокое, тощее, несчастное, в мохнатом халате и в пуховом платке крест-на-

крест, в чувьяках с загнутыми носками, что-то похожее на помесь Дон-Кихота и Обломова. Оно поглядело на нас и неожиданным фальцетом резко сказала:

— А почему, позвольте осведомиться, не работает ватерклозет?

Я развел руками, оправдомша рассмеялась.

— Товарищ Цулукидзе, и не стыдно вам во время войны приставать с такими мелочами?

— Позвольте, позвольте, — сказала помесь Дон-Кихота с Обломовым, — но при чем тут война?

— А при том, что не отпущены средства, — уже вскричала оправдомша.

— Но ватерклозет. — Он приложил руки к груди.

— Нечего лить воду на мельницу, — оборвала оправдомша, — пойдемте, товарищ фронтовик. — И она двинулась вперед в своих кирзовых сапогах, словно это она только что вернулась из немецкого тыла.

— Живут тут всякие, — сказала оправдомша. — Я бы их вообще выселила из столицы. Какая от них польза!

Мы прошли в пустую кухню с огромной, как волейбольная площадка, плитой. Домоуправша открыла плечом дверь в крохотный, темный затхлый коридор, потом еще одну дверь, как в стенной шкаф. И мы вошли в узкую, вытянутую кишкой комнату, серую, потерянную, с каменным холодом и плесенью всех военных зим.

В комнате стояла никелированная семейная кровать с пробитым матрацем и выскочившими пружинами, некрашеный самодельный топорный посудный шкафчик с щербатыми, набитыми пылью чашками, кривая этажерка со старыми книгами и брошюрами по налоговым вопросам и с пауками, которые неизвестно чем живы были в этой мертвой, оплаканной комнате.

У меня было ощущение, будто я вошел в ледяной морг, где лежал труп времени — того, прожитого, мне незнакомого и чуждого и навсегда ушедшего времени, у которого, однако, были свои юность и молодость, свое счастье, прекрасные солнечные утра и тихие вечера, и

ночи, и боль, и расставанья, и неутрачивающая вера в бессмертие.

И я почувствовал это время — с его мышами, с его тенями, тоской и необратимостью. Не пыль, а прах лежал на всем, толстый слой серого, ужасного праха истлевших бумаг, вещей, летних сумеречных бабочек, может быть, ногтей и эпидермы живших тут некогда людей.

Чужие каменные стены, говорящие о неизвестных жизнях, прожитых в них. А моя только начинается в этих замерзших, отсыревших каменных стенах, в этот жуткий, ледяной военный день, на пустой узкой улице, где нет машин и нет почти пешеходов-мужчин, под вой сирены воздушной тревоги, под шепчущее радио, не выключенное с тех пор, как еще до войны ушел хозяин. Страшно себе представить, что все эти годы, каждый день, с самого раннего утра в пустой комнате начинало говорить радио, передавало сводку Информбюро, и пело частушки, и играло фуги Баха, и брнчало балалайками Осипова, и ревело сиренами воздушной тревоги, и бабахало салютами во славу орловских, харьковских, гомельских дивизий, и каждое утро, и в полночь, наговорившись, нахрипевшись, играло курантами.

Была оттепель, трамвай, трезвоня и разбрызгивая лужи снеговой воды, высекая искры из рельсов, летел вниз с Плющихи к Бородинскому мосту. У Киевского вокзала с передней площадки неожиданно вошел инвалид в ватнике и почерневшей от времени солдатской цигейковой шапке, с вырезанной из жести звездочкой, стал в дверях, упрямо оглядел пассажиров и, сняв шапку, вдруг истерически запел:

Ба-альшую эпоху затеял нам Маркс...

Дальше я не слышал, трамвай, уняв ход, медленно заскрежетал на закруглении у Киевского рынка, и я на ходу прыгнул, направляясь к рядам, где стояли пригородные бабы и старики с вязанками колотых дров и щепок.

Я выменял буханку полученного по аттестату окаменевшего и уже заплесневелого хлеба на вязанку дров и пешком, с вязанкой на спине, переулками направился в свой новый дом, все усмехаясь: „Ба-альшую эпоху затеял нам Маркс...“

Каждое утро я теперь просыпался в тоске и отчаянии пропащей, зря проходящей жизни, когда все повторяется и повторяется и кажется давно исчерпанным.

И тогда наступало странное, совсем потустороннее ощущение несуществования.

Я посмотрел в окно, там стоял снежный тополь, и на какую-то секунду, на волшебный миг пролетело и коснулось и вольно дохнуло на меня давнее, праздничное детское чувство зимнего рассвета, снежного чуда, чистого белого праздника.

Наверно, и это утро было для кого-то чудесным, споконным, единственным, может быть, самым прекрасным в жизни, и даже это сумрачное, ржавое небо казалось счастьем.

Но не мог я себе этого представить, и мне казалось, что всему миру сейчас темно и худо. И этот слепой, мертворожденный день не может никому принести ничего хорошего.

И было еще ясное и резкое утреннее понимание, что опять все повторится, и ни сегодня, ни завтра и никогда ничто не изменится, несмотря на все ожидания и вечную глупую и не остывающую надежду и иллюзии. И не зачем жить.

Но жить надо было.

Я обратился к этажерке.

На запыленных полках Толстой в дешевом огоньковском издании, однотомники Лермонтова и Гоголя, толстые томики Бабеля и Андрея Платонова. Были еще там Бунин и Ходасевич, привезенные с Маньчжурской кампании, из Харбина, Хемингуэй, взятый и не отданный библиотеке, и еще дневник Жюлья Ренара, таким же об-

разом изъятый из библиотечного фонда. Отдельно стояли книги, которые я читал изо дня в день, не уставая перечитывать, с утра настраиваясь, как на камертон. Это были „Голод“ и „Пан“ Гамсуна, сказки Андерсена и избранный том Чехова — „Дом с мезонином“, „Ариадна“, „В овраге“, и в последнее время к ним еще прибавилась „Жизнь Арсеньева“. Они были не только камертоном, они были как воздух, как надежда, как смысл жизни, они были примером того, что что-то можно сделать, если хотеть, и для этого стоило жить.

И, наконец, на нижней полке — синие тома Сталина, тонкие в белой обложке массовые брошюры Политиздата с докладами Молотова, Маленкова, Кагановича для семинара партпросвещения. Серые эти брошюрки были проработаны, проштудированы, строки подчеркнуты красным и синим карандашом, и цитаты переписаны в конспекты.

Я взял томик Гамсуна — „Пан“.

„Я сижу здесь, в горах, а море и воздух гудят...

Вы, люди, звери и птицы! Я поднимаю стакан за одинокую ночь в лесу, — в лесу!.. За зеленую листву и за желтую листву!“

Ритм свободный, раскованный, зазвучал в моих ушах.

И я вспомнил свои горы.

Мертвая замерзшая Мугань с окаменевшими от арб колеями и окаменевшими следами ночью пробсжавшего сагайдака — глубокими и легкими, и со следами верблюда, его вялого корабельного шага, следами, в которых замерз легкий, панцирный, сам по себе трескающийся, как фарфоровые блюда, зеленый ледок; еле различимые следы зайца. А на горизонте — лиловые горы.

Старенький „Форд“ на высоких колесах, с поднятым брезентовым верхом, с кипящим, как чайник, радиатором, пыхтя, плюясь дымом, как горный козел перепрыгивая с бугра на бугор, вылетел в закрытую с трех сто-

рон горами долину и покатился по старинной, обсаженной шелковицами аллее, мимо селений с глинобитными домиками, мимо ореховых и абрикосовых рощ.

Жизнь, казалось, остановилась тут много веков или тысячелетий назад. Навстречу медленно двигались огромные, черные, сильные буйволы. Они шли с таким усилием, словно тащили за собой эти горы. Их погонял молодой парень, покрикивая: „Йиок, йиок!“

Увидев машину, он остановил волов, и они тяжело стояли, опустив головы, — могучие, черные, крутолобые, исподлобья глядя на нас, и пена падала с их пепельных губ.

В долине было сухо, солнечно, догорали алым огнем виноградники, лозы устало склонялись к земле, ручьем текли желтые сухие листья чинар, низко стлался дым костров. А в горах лес уже стоял темный, каменный. И чем выше, тем суровее становилась природа. Теперь мы видели только сухой, будто вырубленный из скалы карагач, а еще выше уже и леса не было, вокруг поднимались бурые вершины с красными жилами железняка, и заброшенные сакли горных селений, и за ними закатное солнце. Ни единого цветка, ни единой травинки не видно было на ребрах гор, застывших в своем железном одиночестве, в своей первобытной, первозданной дикости, под пустынным небом.

Одинокие удары молотка отдавались в горах пулеметным эхом, стучал и стучал молоток, откалывая тяжелые красно-бурые куски железной руды, которые я подбирал и прятал в рюкзак.

В далеком том городке, где растут маргаритки и настурции, я никогда не задумывался над тем, откуда берется железо.

А потом выпал первый снег, в белое покрасил горы. В этом холодном туманном рассвете, на фоне гор, серо проступали бедные сакли, из труб которых валил сладкий кизячный дым; блеяли овцы и скучно лаяли собаки, выходили старики и старухи, тащили горшки, корыта, выбегали дети и прыгали через ручей, пахло свежим,

только испеченным хлебом и козьим молоком, на дороге мерещились туманные фигуры, слышался скрип дальней арбы. Как было непохоже и одновременно похоже всеми звуками, всеми запахами, всем тем человеческим, домашним, семейным это далекое чужое горное утро на то, которое я знал и любил там, в той земле, где нет никаких гор. Как стеснилось, сжалось сердце, и вспомнилась мать, родной дом, сестры.

В тишине и покое белого утра слышны были глухие удары со стороны гор. Старик прикладывал к глазам ладонь, всматриваясь вдаль, чтобы понять, что там происходит — будто конь святого Али тяжело скакал по горам.

Я прохожу мимо старика, он смотрит на меня внимательно и отчужденно.

— Доброе утро! — говорю я и кланяюсь. Старик не шевелится, он величественно молчит, разглядывая меня.

— Доброе утро, дед, — говорю я, думая, что он не расслышал меня.

— Сулейман! — кричит он. Из сакли выбегает тонкий, смуглый, кудрявый мальчик. — Сулейман! — он пальцем показывает на меня, и мальчик бойко по-русски спрашивает меня: — Что надо?

Вдали прогрохотал то ли гром, то ли взрыв.

Старик прислушался и печально, недоуменно покачал головой. И казалось ему, что пришел конец света. И разверзнется земля, и исчезнут в ней горы вместе с саклями, с овцами, с кизячным дымом, со всем, что было до сих пор и к чему он привык с самых ранних лет своей памяти.

— А? Зачем? Зачем? — спросил он с удивительной для такого старика страстью.

Он видел джейрана, от взрывов пугливо убегающего в горы, птиц, тревожно машущих большими темными крыльями, и ящериц, выползающих из расщелин скал. Он видел то, чего мы не видели, чувствовал то, чего мы не чувствовали, и ему было жаль нарушенной жизни.

Однажды пошел дождь. Он лил день и ночь беспрерывно, он лил всю неделю, и нельзя было выйти из сакли. Казалось, разгневанный Бог заливает взрывы в горах, людскую жажду, посмевавшую нарушить тысячелетний горный покой.

Старик выходил на улицу, смотрел на небо и с дьявольской улыбкой возвращался в саклю и молчал, и казалось, что он знает что-то такое, чего никто из нас не знает.

Иногда он смотрел на нас и говорил: „Ай-ай-ай“. Словно жалел нас, словно насмеялся над нашей глупостью и наивностью.

Но потом, ночью, все проснулись от необычной, стоявшей в горах тишины. Не слышно было уже привычного беспрерывного шума дождя, и тишина была тяжелой, застывшей, как эти окружавшие нас горы.

Мы вышли из сакли. Небо было чистое, яркое. Крупные звезды светили над горами.

Разведчики погрузили на маленького коренастого ослика теодолит, мешки с динамитом и разную поклажу и двинулись вслед за осликом по горной тропинке вверх к облакам.

Сумрачные облака качались рядом, подходили ближе и чуть приостанавливались, словно приглашая садиться, и, свободно качаясь, уходили.

Взошло солнце, облака засветились розовым, голубым, лиловым. И все вдруг сдвинулось с места, потекло. Пастухи погнались по склонам гор баранту, и сквозь прорывы облаков стали мелькать зеленые долины, открылись дальние села, сады, и дороги, и поезда, и дым поездов...

— Спасите! — истерически закричали в соседней комнате, и вслед за тем залаяла собака.

Я постучал в перегородку, она была как мембрана и чутко воспринимала, передавала и даже усиливала все звуки.

— Товарищ Свизляк! — закричал я, и эхо откликну-

лось в соседней комнате гулко, как на площади во время парада, когда командующий объезжает войска.

— Товарищ Свизляк, вы бы потише немного радио.

— А я у себя в комнате, как хочу, так и регулирую.

Теперь парадное эхо стояло уже в моей комнате.

— Но слышно-то ведь во всей квартире.

— Ну и что? От этого не болеют! — кричал Свизляк.

— А я не обязан выслушивать все инсценировки, — кричал я.

— Вот как! А что, вам не нравится?

— Просто не хочу слушать.

— Вот как, — повторил Свизляк, — это уже интересно.

— Все вам интересно.

— Мне, может, и нет, но кое-кому — да.

В тысячах тысяч таких же коммунальных квартир, в таких же тесных комнатках просыпались такие же, как я, холостые и семейные; и прошедшие войну солдаты, чудом выскочившие из нее целыми, полные сил, и раненые, контуженные, которым тяжело было в эту снежную мразь, ужасно было в это темное, зимнее утро, и точно так же мордатые дезертиры, ловкачи, бронированные и не бронированные, в свое время эвакуированные и не эвакуированные, которые сейчас, только проснувшись, уже звонили по телефону, набирали нужные им номера, стараясь поскорее урвать кусок побольше и послаще, пока другие не перехватили; и люди, которых сегодня будут прорабатывать, исключать на собраниях, на тысячах тысяч собраний, и те, кто их будет пытаться, кто будет председательствовать, писать резолюции и кто просто будет голосовать за исключение, не желая за это голосовать; и затравленные, забитые, со страхом ожидающие очередной кампании, и те, кто в это время на коне и про которых говорили: „Он в порядке“, — все сейчас просыпались и для всех это серое утро было разным, и друг друга они не понимали и понять не могли и не хотели.

Сунув ноги в старые, стоптанные, еще партизанские унты, голый до пояса, я вышел в холодную, с замерзшими брызгами на цементном полу кухню умыться над раковиной. Обычно никто не оглядывался, стояли у своих индивидуальных, у своих золотых и бриллиантовых столиков, чистили картошку, рубили капусту, лепили котлеты. Не прощали они, нет, не прощали, что я имел карточку НР — и как бы про себя ворчали: „Подумаешь, научный работник“.

Я слышал и не слышал...

Но в это утро все было до испуга по-другому. Никто не стоял у столиков, и не шумел ни один примус, не горела ни одна керосинка, не дымился ни один из странных допотопных приборов, на которых варили, пекли, подогревали, подрумянивали.

Кухня полна была женщин, старых и молодых, пришли с первого этажа, и все были тепло одеты, закутаны в платки, подпоясаны.

Сначала я подумал, что где-то давали свежую рыбу или уток, или, может быть, даже воблу, а может, китайские шерстяные кофточки.

И хотя здесь были все квартирные партии, все враждующие группировки, никто на этот раз не ругался, не шипел, все вместе чего-то ждали, оживленные, смеющиеся, какие-то размягченные, какие-то даже приятно подобревшие, словно наступила всеобщая Пасха — Христос воскрес! — в коммунальной кухне. Они на меня взглянули и весело сказали: „Доброе утро“, — чего я уже решительно никогда не слышал и не ожидал услышать до самой смерти. И я, наверное, странно взглянул на них и так растерянно, и испуганно, и жалко ответил: „Доброе утро“, — что они коллективно кокетливо рассмеялись. Я не знал, разыгрывают они меня или это мне снится, или, может быть, самодеятельный спектакль какой, или вообще все пошло кувырком, а я ничего еще не знаю, все на свете проспал. Но скоро все выяснилось.

— У кого билеты? — стали спрашивать нетерпеливые.

— У Ворончихиной билеты.

В это время ворвалась в кухню Ворончихина, черная, жужжащая, будто шершень, заправленная в полубочек, с горящими глазами.

— Девочки!

— А какие места? — стали спрашивать женщины.

— Партер, — сказала Ворончихина.

— Тарзан?

— Тарзан.

И все довольно засмеялись и, толкаясь, вывалились из кухни и, громко разговаривая, шумно спустились с лестницы.

Я снова взялся за Гамсуна.

„Летние ночи, и тихая вода, и бесконечно тихий лес! Ни крика, ни звука шагов с дороги. Сердце мое было словно налито темным вином“.

Я хорошо знал, что если утром ничего не сочинилось, не записалось, то уже после весь день будет пустым, ничтожным, словно уронил на дороге этот день, словно он упал в колодезь. Все время было это беспомощное ощущение зря потерянного, зря проходящего дня.

Я никогда не давал себе спуска, пощады, никогда не снимал напряжения, а потом это уже само не снималось и стало характером.

Что это было — тщеславие, честолюбие, или нервная взвинченность, или естественная потребность труда, или ответственность, жажда правды, справедливости, ненависть к подлости? Скорее всего, это было все вместе — и честолюбие, и нервность, и потребность труда, и неистребимая жажда правды. А кроме того — единственное спасение было в работе. Когда оставался один на один с собой, даже в этом бедламе, в этом обмороке чада, в волнах страха приходили воспоминания, и то, что я видел и слышал только вчера или сегодня, сплавлялось с тем, что видел и слышал еще в самом раннем детстве, и все это было похоже на сон, само собой разворачивалось, выстраивалось мозаикой, и, словно кто-то нашептывал на ухо, словно сама собой раскручива-

лась магнитная лента, оставалось только записывать за этим шепотом.

Тогда и этот слепой серый день, и тоску, и боль, и обиду, и саму безнадежность перетрешь, пересилишь и, как в тигле, переплавишь в себе в слова, в крик.

Это налетало, как вихрь. И бесконечный и нескончаемый, на свободном и вольном дыхании, спокойно и могуче разворачивался период многоцветный, многозвучный и гулкий, со своим дальним и ближним эхом, вовлекая в себя поток жизни и сплавливая красоту и безобразие, паузу и скороговорку, младенчество и старость, глупость и мудрость, прошлое и будущее.

И начисто исчезает приниженность, придавленность, и все возможно, все подвластно.

„Легкие шаги, человеческое дыхание, веселый привет: „Добрый вечер“.

Я отвечаю, бросаюсь на дорогу и обнимаю оба ее колена и простенькое платье.

— Добрый вечер, Эдварда...“

Но жизнь Свизляка все время впутывалась в жизнь лейтенанта Глана и Эдварды.

У Свизляка были две большие комнаты с сверкающе натертыми паркетными полами, была мебель в белых накрахмаленных чехлах, на которые никто никогда не садился. И все это было похоже на мемориальный музей, по которому передвигались осторожно, в случае крайней надобности, в войлочных туфлях, например, если надо было играть гаммы на фортепиано, или полить герань, или стереть пыль с портретов — мужчины с поповскими волосами, со щеками как флюсы, и жирной женщины. И почему-то казалось, что только они и жили в этой комнате и, когда никого не было, судачили между собой, хотя в их разговор все время вмешивался радиолектор.

Завтракали и ужинали Свизляки в темном, крохотном, пахнущем нафталином коридорчике, заставленном шкафом со старыми книгами, на котором стояли опле-

тенные бутылки с керосином. И сейчас я слышал чавканье всей семьи и одновременно чтение газеты, потому что даже для самого себя Свизляк читал вслух, отдельно, с выражением, с величайшим уважением ко всем высоким Словам и Учреждениям, которые он даже и проносил с большой буквы.

Слышу в коридорчике его шаги, тяжелые, надменные, самоуважающие, и вот он стукнул в дверь. Я молчу, притворился спящим. Он постучал посильнее. Я приоткрыл дверь, он в щелку зыркнул, так и отхватил сразу полкомнаты, потом заглянул мне прямо в глаза, до самой души.

— Ничего не знаете?

— Нет, а что?

— Это потому, что вы радио не слушаете.

Он ухмыльнулся.

— А что случилось?

— Поинтересуйтесь, — он покачал головой, повернулся и ушел в своей длинноволосой собачьей куртке.

Я гляжу на эту громадную, как шкаф, спину, на эти широкие галифе, вдетые в унты, как в тяжелые медвежьи лапы, и в воздухе слышу запах псины. На губах у меня горечь.

Я включил радио. Черная плоская тарелка репродуктора зашипела, захрипела, словно откашлялась, и сообщила:

— Крупные небесные камни падают раз в две-три тысячи лет. Внутри они сохраняют холод далекого межпланетного пространства...

Я выдернул вилку.

Читать я уже не мог.

Я смотрю в окно. Напротив строят новый генеральский дом. Одну секцию уже сдали, вторая в лесах.

Ровно в девять утра выходит генерал, застегивая на ходу шинель, садится в черную машину и уезжает. Тогда другой шофер задним ходом подкатывает к подъезду кофейную машину, и как раз в это время выходит из

подъезда человек в драповом пальто и пыжиковой шапке, закуривает папиросу, садится в машину и уезжает.

Вслед за тем выбегают из подъезда две сестры, быстро на ходу пудрятся и разбегаются в разные стороны. Я слышу лишь стук каблучков по дощатому строительному тротуару.

Потом появляются рабочие на лесах, они советуются, перекуривают и начинают работать. Потом приходит начальство. Работа приостанавливается, и теперь курят все вместе — рабочие и начальство.

Слышно, как пришел почтальон, застучал крышками почтовых ящиков.

Я вышел.

Широкая дверь вся была усеяна ящиками и казалась бронированной, и на всех ящиках висели замки.

Опять почтальон перепутал, и мой почтовый ящик был пуст, а в дырочках ящика Свизляка белела моя „Правда“. Ящик был старый, покоробленный, еще довоенный, а может, и дореволюционный, но свежеекрашенный, запаянный где надо и даже с какими-то цветочками по синему полю. И сделан из такой толстой жести, что казался стальным и несгораемым. И закрыт он был не на замочек, а на такой замок, словно в него опускали не письма и газеты, а казначейские билеты. Когда Свизляк приходил, перед тем как открыть ящик, он осматривал его со всех сторон, как сейф, — не взорвали ли?

И, как обычно, принимаешься карандашом подталкивать к щели сложенную вчетверо газету, захватываешь ее вилкой, уродуешь, рвешь и тащишь, и хозяйки, по обыкновению, с интересом наблюдают за операцией. Им приятны мои муки и еще больше, что это ящик Свизляка. Наконец я все-таки вытащил изорванную в лохмотья газету, скользнул по серым, однообразным полосам, похожим на вчерашние, позавчерашние, и прошлогодние, и позাপрошлогодние, и в самом конце номера, где всегда самое главное, страшное и обнадеживающее, как ножом полоснуло: — Хроника. А р е с т г р у п п ы в р а ч с ь - в р е д и т е л е й.

Я стал жадно читать, и сразу меня прихватило за горло. Я читал и читал, и то все понимал, то будто заволакивало туманом, и с чувством отворачения и остановившегося ужаса снова прочитывал и не верил, и снова читал и не мог отложить газету, что-то во мне оборвалось.

Серый, скорбный, линиялый свет безнадежно сочился сквозь крохотное окно, которое и не было никогда окном, не было задумано тем далеким архитектором, кто вдохновенно некогда рисовал на красивой картинке барский особняк, а было просто дырой в глухой стене, прорубленной кем-то из поселившихся тут до меня, так же случайно и дико, по слепой воле, и застекливших эту дыру.

Это был один из тех коротких, серых, жутких дней, какие бывают в декабре — январе, почти не день, а так — клочок дневного света, словно солнцу, небу надоело светить, радоваться и ликовать, и само время на миг смежило глаза, предоставляя людям думать, что они продолжают жить.

Глава вторая

На катке было обычное утреннее общество, все тот же Валерий Валерьянович, директор цветочного магазина, сивый, лукавый старичок в вязаной шапочке и в белых, шнурованных до колен ботинках, на фигурных коньках, капризно и жеманно поднимая то одну, то другую ногу, вырисовывал известные кренделя и фасоны, а за ним высокий, худой, как свечка, с маленькой головкой нарцисса, зубной техник, а затем и еще старичок, который уже стал ссыхаться, уменьшаться, и все они составляли кружок, и, наблюдая их ледяное олимпийство, я совсем успокоился.

Рухнул дом Романовых, дом Гогенцоллернов, исчезли партии и классы, пыль осталась от Гитлера, а этот нейтральный легкомысленный кружок танцоров оказался гранитнее, незыблее.

Вот так и получается, проходят революции и войны, восстания и чистки, а все заседает в старом составе урологическое общество и стоматологическое общество, и так же собираются филателисты и нумизматы, меняя монеты, карандаши и спичечные этикетки.

Я натянул шерстяные носки, надел жесткие прокатные ботинки с коньками, крепко зашнуровал и потом еще перевязал, перебинтовал белой тесьмой, и встал на ноги, и почувствовал какую-то дополнительную железную, стальную режущую силу.

Рядом на скамеечке крохотная девчужка в ярко-желтой, как одуванчик, шапочке, оранжевом шарфе и высоких, туго шнурованных белых ботиночках с серебряными фигурными коньками. Она сидит, как и все, устало вытянув ноги и прикрыв глаза, и лицо у нее тоже серьезное, отдыхающее.

— Сколько тебе лет?

— Четыре, — отвечает она, не шелохнувшись из своего покоя.

Четыре! Неужели так может быть?

Даже страшно, даже жутко подумать, сколько ей жить, и жить, и жить, и сколько увидеть.

— Порядок! — вдруг говорит она, и вскакивает на конечки, и, маленькая, тоненькая, в шапочке-одуванчике, идет к морозной двери на лед.

Вниз по обледенелой лестнице она не спускается, а перескакивает, как кузнечик, и вот уже коньки ее звенят на льду.

Она сразу же начинает кружиться и входит в ритм фигуры, и движения ее легки и естественны, словно распускается цветок.

И я люблю ее, эту незнакомую девчужку. Я даже не завидую ей, я ее просто люблю.

Когда я вышел из темной раздевалки, распахнулись серые, разорванные, низкие зимние тучи, и засиял золотом снег, и я ослеп от солнца и радости.

И мимо заснеженная аллея, и красные снегири на кустах, я выскочил на ледяной простор набережной, вдали

Воробьевы горы и алое ледяное солнце, и сразу все отбросило, отлетело, будто унесли ветром темное утро, и чад, и гвалт где-то жившей сейчас квартиры на Арбате, и ушла в небытие Великая эпоха, словно то приснилось и вернулось детство, веселая Костельная гора, и на коньках вниз, вниз, крутись волчком, лети в снежном вихре, и летят, разрываясь, звезды, и все подвластно, все возможно там, впереди, под пологом ночи, под звездами, на которых живут ангелы.

Девушка, мелькнувшая на повороте в черно-белом свитере, похожа была на ласточку. Она оглянулась. Я ее нагнал, поехал сзади, разглядывая бедра, ноги, обогнал, заглянул в лицо, долго шел с ней рядом нога в ногу, слыша скрип беговых коньков о лед, заговорили неожиданно, она свернула в тихую аллею, и мы пошли одни, спустились на зеркальный лед Царицынского пруда, с заснеженными ивами на крутых берегах, и на полном дыхании сделали несколько кругов, и ветер, и солнце, и воля выдули все темное, тоскливое, и снова была жизнь, юность, надежда, и все были красивы, веселы, молоды. Как все просто и хорошо, если вокруг только снег.

Только я вышел со света и сверкания катка на снежную аллею и, неловко ставя ноги в коньках, пошел, как на шпильках, по скрипящей замерзшей дорожке, я увидел — в конце аллеи стояли, выделяясь на свежее выпавшем снегу, двое в темных бобриковых пальто, и сразу понял, что это такое, всем существом, измученными нервами, всей сразу вскипевшей кровью, понял, что ОНИ МОИ, и с этой секунды мы связаны нитью, крепче которой нет на свете. И тут моя судьба, темная пещера, какяк, амба.

И этот день, и яркое, с утра красное зимнее солнце, и розовые полосы на снегу, и белейшие березы, и легкий, пушистый искрящийся снежок, и звуки сочные — все окрасилось в этот серый, мутный, тошнотворный цвет страха и ожидания, цвет одиночества.

Я сразу узнал их стопроцентно, зная уже по темным бобриковым пальто и темным суконным ботам, или по этой особой озабоченности их стояния, и даже по тому, что они не глядели на меня, а усиленно разговаривали между собой, этакие веселые приятели в солнечный зимний день на свежем воздухе.

И только пережитый, только освещавший меня вольный, распахнутый на все стороны солнечный мир снега, и неба, и ветра, которым я еще весь был пронизан, разгорячен, этот яростный мир вдруг сузился в крохотный, с подтаявшим, темным, затоптанным снегом пятачок, на котором я стоял на коньках, не зная, куда идти — вперед в раздевалку или бежать назад в оставшийся за спиной мир, снежный, и они как бы заметили мою нерешительность, с интересом наблюдая за мной. Я будто вошел в глубину вогнутого зеркала, живой научный мир затих и притаился, а я раздвоился, и шел и видел самого себя, и тот, которого я видел со стороны, шел прямо, твердо, неукоснительно на коньках, словно на ходулях, а тот, который был я, чувствовал, как подкашиваются ноги.

Грязно-коричневые, совершенно одинаковые, или, как говорят дипломаты, идентичные, до последней пуговицы, до последней строчки бобриковые пальто и шапки фальшивого котика — близнецы до последней пушинки, снятые с одного конвейера боты, даже, по-моему, одного размера, хотя они были разной комплекции и ноги у них должны были быть разные, а оттого и лица их, на самом деле совершенно разные, у одного пухлое, равнодушное, бледное, как разваренный картофель, а у другого остренькое, болтливое, подвижное, тоже казались одинаковыми.

Они не сошли с дорожки и, разговаривая, не смотрели на меня. И, пройдя прямо впритык, я почувствовал горькую, обветшалую сырость их фальшивых шапок, ток их напряженного внимания как бы коснулся меня и крепче связал с ними. Вдруг меня словно ударило. Это был уловленный сбоку внимательный, именно на меня,

целиком на меня направленный взгляд, словно мимоходом кольнул маленький черный глаз вороны.

Перед тем как войти в раздевалку, я оглянулся. Один из них стоял, расставив ноги, и глазел на облака, а другой пошел в телефонную будку и стал поспешно набирать номер.

Он говорил что-то быстро и суетливо, одновременно открыто, не таясь, глядя сквозь стекла на меня, медленно разглядывая и как будто с натуры описывая тому, в телефон, мою внешность. И вдруг мне показалось или померещилось, я по губам различил, что он ясно назвал мою фамилию, назвал по слогам, и мне стало душно.

Темная раздевалка казалась мышеловкой, гардеробщики, казалось, уже все знали и были с теми заодно, что-то подозрительно долго искали пальто, путали номера, вроде издали косились и следили, как я снимал коньки.

Что это, начало или конец? Только самое начало, только появился в прорези мушки, или уже все готово, все собрано, прошито скоросшивателем и приложена справочка, где все сформулировано и наверху росчерк, иероглиф „взять“, и это уже только проверка на месте, чтобы поаккуратнее, попроще, почище взять, чтобы не уехал в командировку, не ушел в гости, на свадьбу.

Как темно было в раздевалке, как ужасно темно, неуютно, и, пока я ходил к окошkam, в одном получал пальто, в другом обувь, потом на низенькой скамейке снимал коньки, я все время думал о них.

За много лет боязни, страха, ожидания прекрасно наловчился их узнавать, не так, может быть, и глазами, а сразу всеми пятью чувствами одновременно, и среди тысячи людей немедленно различал, находил, чуял именно их, по силуэту, по лицам серым, невыразительным, словно обреченным на эту серость, по глазам, как бы отводящим от вас взгляд, но на самом деле глядящим именно на вас.

Они возникали вдруг у подъезда, будто ожидали свидания с любимой, или оказывались рядом в трамвае с газеткой в руках, и глаза их, читавшие о событиях в Ин-

донеции, поверх тех суматошных событий, видели только вас; или в ресторане за соседним столиком с бутылкой нарзана и пачкой „Примы“, кейфующие и отчужденные. Были ли они для тебя или для других, все равно ты узнавал их и боялся.

В последнее время я узнавал их даже там, где их не было, в бане или в театре, или вдруг в лесу на даче, они принимали разное обличье, прикидываясь почтальоном, официантом, носильщиком на вокзале, и взгляд их, странный и неожиданный, пронзительный, пугал до дрожи, и трудно было дышать и жить.

Я медленно расшнуровывал ботинки, медленно и щепетильно вытирал коньки, потом несуетливо стянул свитер, медленно завернул в газету, спрятал в портфель, посидел немного на скамейке, отдыхая.

Все мое существо, все, что есть Я, ждало их ежедневно и ежечасно, не забывало про них никогда, неожиданный стук в дверь, и всегда первая мысль — о них. „Кто там?“ — и отвечают: „Телеграмма“, или „Мосгаз“, или жалкий виноватый писк: „Извините, нет ли у вас спичек?“

Когда ты только и думаешь об этом, когда ты столько раз это видел, как же тебе не ждать этого и для себя. И это срослось с тобой и стало сном и явью, осью твоей жизни, вокруг которой вертелось все остальное. Только ты все время отмахивался, закрывал глаза, отсекал от себя, стараясь не думать и не верить в это. Просто все время глупо и ничтожно обманывал себя.

Но срок пришел, отсрочка, как ни была она бесконечна, кончилась.

Когда я вышел из раздевалки, черных близнецов не было, солнце сверкало на снегу, и слышалось капанье с крыш, и я рассмеялся, сердце переполнилось радостью и облегчением, я шел снежной аллеей свободно и весело.

Но выйдя из-под арки, из-под той массивной серой бетонной арки, которая парадной римской колоннадой стоит одна, без дворца, сиротливая и замерзшая в снегах, я увидел, что черные приятели были уже тут, они стояли, разговаривая друг с другом на солнышке.

К остановке подходил трамвай. Вожатый зачем-то дико трезвонил, и только когда вагон надвинулся и я увидел за стеклом в тулупе человека, я понял, что это я стою слишком близко к рельсам, и отодвинулся, трамвай обдал меня звонкой снежной пылью. Первый вагон прошел мимо, и я вошел с задней площадки и протянул деньги кондуктору в нитяных перчатках с отрезанными кончиками на красных грубых пальцах.

И когда трамвай уже почти тронулся, близнецы побежали вдвоем, рядом, как цирковая пара, и на ходу вскочили с задней площадки последнего вагона.

Трамвай, грохоча, въехал на мост, и вибрация цепного моста передалась вагону, и дрожь прошла по мне, и стало гулко и светло от белого сверкающего простора реки.

Цирковая пара близнецов стояла на задней площадке в своих фальшивых шапках и мирно беседовала.

Я сошел у метро „Парк культуры и отдыха“ и, не оглядываясь, почувствовал, что они тоже сошли, и, так и не оглядываясь, я медленно, словно ничего не подозревая, пошел к троллейбусной остановке у бывших Провиантских складов, все время спиной, затылком, плечами чувствуя, что за мной идут.

Крепкое, маленькое, твердое, как бы замерзшее красное зимнее солнышко пробивалось сквозь вихревые снежные тучи, но тучи побеждали солнце, обволакивали черным дымом и скоро совсем закрыли. И тогда снег повалил тяжелыми мокрыми хлопьями. Погода менялась, и, казалось, ветер дул с разных сторон, и от этого на душе становилось тревожно, нехорошо.

Я остановился у забора и под снегом стал прилежно читать афиши, все афиши подряд: „Великий государь“, „Иван Сусанин“, „Садко“, „Хождение по мукам“, „Хитроумная влюбленная“, „Четыре жениха“.

Начитавшись афиш, я подошел к газетному стенду и привычно и скучно скользнул по серым полосам, без единого клипе, сверху донизу туго набитым унылым набором.

Говорили, что Сталин однажды по какому-то поводу выразил неудовольствие газетными фотографиями и сказал, что лучше бы вместо картинок дали текст, и редакции поувольняли фоторепортеров, и цинкографии стояли без дела. Так же, как однажды державной рукой поставил он в рукописи над „е“ две точки, две давно исчезнувшие точки, и центральная газета тотчас же вышла с передовой, в заголовке которой было специальное слово с буквой „ё“, и по всей статье точки были рассыпаны, как мак, и все газеты изощрялись и придумывали слова с буквой „ё“, чтобы видели, как исполняются его указания, его капризы.

И опять я натолкнулся на „хронику“. И снова стал я читать, и читать, и перечитывать. И тот откуда-то сбоку глядел на меня и не мог дождаться.

— Как делишки, бегемот? — сказал веселый голос.

Я знал ее давно. Сначала она хотела быть киноактрисой, потом художницей, потом переводчицей и успокоилась, став рстущером в модном ателье.

— Хочу сделать костюм с серым каракулем, — сразу же затараторила она, — узкую уютную юбочку с двумя складками, не будет под пальто смотреться, но мне наплевать. А на груди абстрактную брошку с древнеармянской вязью. Звучит? — она сощурила глаза. — Мне идут более убитые цвета. Сейчас модно малина, разбавленная молоком, или цвета гнилой вишни...

— Наташа, слушай, что я тебе скажу, — прервал я ее. — За мной ходят, понимаешь?

— Кто ходит?

Она стремительно взглянула вдоль улицы.

— Не оглядывайся, главное, не оглядывайся.

— А что случилось? В чем дело?

— Не знаю, вот сейчас я обнаружил, что за мной ходят два типа...

— А кто они такие? — спросила она с наивностью растения.

Я усмехнулся.

— Знаешь что, пойдём со мной, может быть, они отстанут? — продолжала она.

— Нет, они не заблудятся.

— Ну, тогда поезжай, я тебе позвоню, узнаю, как ты доехал, — сказала она, как мать маленькому мальчику.

— Не надо, телефон уже, наверно, слушают.

— Кто слушает?

— Кому надо.

Она покачала головой.

— Что же теперь будет?

— Не знаю.

— Но ведь это кошмар. Я не представляю себе, чтобы я могла с этим жить, я бы сошла с ума.

— Наверно, это тяжело сначала, а потом привыкаешь, потом как ни в чем не бывало.

— Откуда ты знаешь?

— Рассказывал, кто это уже имел, потом даже скупал без этого, представляешь, чего-то не хватает, как-то пусто.

— Байки, — она засмеялась. — Нет, я не хочу, не хочу и не хочу. Смотри, он смотрит нагло прямо сюда, бессовестный.

— Это его служба.

— Не хотела бы быть на его месте.

— Работа не хуже и не лучше всякой другой, — вяло сказал я.

— Нет, это уж извини.

— Правда, работа хуже не придумаешь, каторжная.

— Может быть, к кому-нибудь обратиться, чтобы они перестали это делать? — сказала она.

— К кому?

— Я не знаю, но наверно, кто-то есть там наверху, кто этим занимается. Нельзя же так жить, когда за тобой ходят. И это ведь может плохо кончиться.

— Боюсь, это уже плохо кончилось.

— А что ты сделал?

— Если бы я знал.

— Но это ведь не может быть так, ни с того ни с сего.

— Может быть.

— Но ведь не за всеми же ходят.

— За всеми, — вдруг решил я.

Она открыла рот.

— Теперь уже за всеми, — убежденно сказал я.

В это время к остановке у Провиантских складов подкатил троллейбус.

— Ну, я поехал.

— Позвони мне, я буду ждать, — закричала она.

Я кивнул и вскочил в троллейбус, почувствовав, как за мной тотчас же закрылась дверь.

Троллейбус тронулся и тут же остановился, и один из черных близнецов, непонятно как и откуда появившийся, уже влезал в неожиданно открывшуюся перед ним переднюю дверь.

Я отвернулся и стал смотреть в заднее стекло, и вдруг увидел, словно на экране, как из-за угла появился второй близнец и на расстоянии спокойно пошел за Наташей в метро.

Значит, теперь это будет вот так, именно так. Стоит мне только поздороваться или заговорить с кем-то, тотчас черный раздвоится, от него отделится тень и пойдет за тем по следам, как за зайцем. Все вокруг станут зайцами. Полным-полно зайцев.

Он стоял там, впереди, среди пассажиров, держась за ремень и покачиваясь в такт быстрому ходу троллейбуса, просто один из пассажиров, едущий по своим делам, в поликлинику, или по вызову военкомата, или в гости выпить.

Потом ему стало скучно, и он вынул из кармана газетку и принялся ее читать.

Я искоса разглядывал его. У него было бледное, мучнистое лицо, изможденное волнениями и интригами его секретной напряженной работы.

— Остановка Киевский райком, следующая Смоленская, Гастроном № 2, вино и закуска, — объявил кондуктор-затейник.

Троллейбус остановился, я быстро протолкнулся и

неожиданно сошел с задней площадки. Машина тронулась. Я был один. Один, как в безвоздушном пространстве.

Троллейбус уходил, увозя его с газеткой. Он был теперь за стеклом, как рыбка в аквариуме. Но неожиданно он рванул газетку вниз, и заметался, и забился вперед, что он там такое сказал водителю, только троллейбус на полном ходу затормозил и остановился на перекрестке, и машина, следующая за ним, со скрежетом застопорила, раздвинулись двери, и из троллейбуса выскочил, просто вывалился, м о й и, не оглядываясь, перебежал между машинами через улицу на ту сторону, и уже оттуда с тротуара взглянул на меня через поток машин. И вдруг охладел и, как ни в чем не бывало, стал прогуливаться вдоль тротуара.

Я пошел вперед.

И опять все ушло, словно в глубь вогнутого зеркала, и там, в потустороннем, отстраненном мире, стояли холодные, пустые дома под снегом, летели машины, бежали люди-карлики, как шахматные фигурки, равнодушные, чужеродные, безучастные.

Он шел где-то там по другой стороне улицы и через поток машин глядел на меня.

Надо пройти свои ворота, пройти, как будто их и не знаешь, и там куда-то деться, куда-то исчезнуть, запутать следы.

Но когда я подошел к крашенным суриком воротам, я, словно кто-то грубо толкнул меня в спину, покорно вошел в свой двор.

Мы не научились бежать, не научились скрываться, не было этого в нашей крови, мы были в своем государстве и очень верили, слишком долго верили.

Глава третья

Я с силой захлопнул дверь, и будто взрывной волной меня бросило, прижало к стене, контузило, все перемешалось, и стало трудно дышать.

Жизнь моя, разрезанная пополам, ушла как бы в глубь бинокля и стояла там вдали, чужая.

Смутно, серо, зыбко сеялся поздний свет. Я тихонько, вдоль стены, не дыша, на цыпочках пробрался к окну.

Как заведенные игрушки, катились мимо заснеженные троллейбусы, куда-то шли люди с авоськами, с портфелями или просто так, заложив руки за спину, и все это в полном безмолвии, как в кинокартине с выключенным звуком, как в вакууме, и не имело смысла и непонятно было, зачем.

Неистребимая тоска, в которую я уходил с головой, растворялся в ней, как будто на лицо наложили салфетку, пропитанную хлороформом.

Вот так же стоял я со стесненным сердцем, прижавшись в угол разрушенной хаты, там, на Полтавщине, за станцией Яреськи, глядя в выбитое окно. И рыча брала взгорье танкетка с белым крестом на башке, цыкали серые мотоциклисты с черными автоматами на груди. Потом совсем близко мимо прошли зеленые шинели, а я стоял босой, без шапки, и я был — весь — сила, весь — сопротивление, весь — напряжение. Я знал — на земле могут остаться только я или они, вместе нам не ужиться, я готов был умереть, и я заранее сказал себе: „Я убит“, — и уже ничего не боялся. И вышел из кольца. А теперь мимо катили троллейбусы, фургон „Мороженое“, шли бабы с бидонами, и я был весь слабость, весь — страх.

Если бы я был виноват, если бы было за что, во мне жило бы сопротивление, я бы старался исхитриться, удрать, исчезнуть, я бы боролся, я бы укрепился на своей мысли, на своей вере, а теперь я был как муха в паутине.

На что я мог надеяться сейчас? Я даже не видел своего палача, может быть, он жил где-то рядом на улице, ежедневно утром проходил мимо моего окна и курил папиросу. Может быть, я сидел рядом с ним в кино и

смеялся или плакал вместе с ним, а он будет меня мучить и пытаться, и сломает позвоночник, во имя чего, я не знаю, и он не знает, просто потому, что надо кому-то по плану сломать позвоночник, иначе все распустятся, разбалуются.

И никто никогда об этом не узнает. Вот что было страшно, безнадежно.

Я один в этой комнате, один на один с этими серыми, масляными стенами, с этой голой на длинном шнура электрической лампочкой, и еще молчащий черный телефон. Он молчит, как заколдованный, он уже знает, что со мной стряслось, наши телефоны знают все заранее, а может быть, его уже выключили, друзья, если узнают, что случилось, скорее сунут палец в огонь, чем начнут набирать мой номер.

И внезапно телефон ожил, зазвонил. Он звонил необычно резко и настойчиво, истерично и вдруг замолк. А я глядел на него, и у меня кружилась голова.

Как хорошо еще было жить вчера, позавчера, и как не ценил, никогда не ценил жизнь, все был недоволен и угрюмо бродил по улицам, и считал себя самым несчастным, смотрел на лица гуляющих под ручку, на ожидающих такси, на смеющихся. Все были счастливы, все куда-то спешили, у всех была цель.

Что один ты такой неприкаянный, несуразный, несчастный, родившийся с этим вечным беспокойством, вечной необходимостью что-то несмеленно делать, истратить, испепелить свои силы, вечным ожиданием чего-то другого, лучшего.

Редкие, считанные дни жизни был ты спокоен.

Почему всегда думаешь — вот проживу сегодняшний день, пройдут неприятности, боль, забота, и завтра будет лучше. Нсужели только обманываешь себя?

В сущности, до сих пор все несчастья, болезни были кажущиеся, надуманные, призрачные, какой-то оптический обман, волны страха, а вот теперь впервые беда настоящая.

И, может быть, впервые я так ясно увидел, что жизнь проходит, ускользает, текущая непрерывно, неостановимая, даже какая-то бессознательная. Вот эта минута, этот миг бытия — серое небо, мелькающий, сверкающий снежок, и на противоположном тротуаре две женщины в шляпках и резиновых ботах стоят и разговаривают — этот миг пройдет и никогда не повторится. И казалось, страх, как сырое тесто, облепивший меня, стал таять, рассеиваться и перед этим вечным, понятным был смешным, карликовым, нелепым. Но это только на миг.

Вдруг я его увидел. Он спокойно прошел в своей котиковой шапке к воротам и стал впритык, тихо, незаметно, не напористо. Немного постоял, потом вытащил из кармана пачку папирос, щелчком выбил одну, пачку спрятал, а папиросу стал медленно вертеть в пальцах. Потом достал спички, отвернулся к воротам, прикрылся воротником, зажег спичку и прикурил, и отсюда видно было — пошел дымок. Он спрятал спички и стоял у ворот и курил, дым пуская осторожно куда-то в сторону, чуть ли не в рукав.

Кто он такой, как его зовут? Почему-то казалось невозможным, что его зовут просто, обычно, Юра или Боря, или Витя, и что, кроме вот этой основной жизни, у него есть своя, частная, и еще сегодня он придет к себе домой, где у него отец и мать старики, которые даже не знают, где он работает, а может быть, есть и жена и даже дети, которые идут в класс с тетрадями, и придут друзья, и еще вечером он с ними выпьет и забьет партию в козла.

— У вас горит плитка? — визгливо закричали из-за дверей.

— Какая плитка?

Это была Зоя Фортунатовна, маникюрша в тюрбане из полотенца, и будто ею выстрелили прямо из сумасшедшего дома, такие у нее безумные глаза.

— Смотрите, как вертится счетчик.

Она схватила меня за руку и потянула к счетчику. Он гудел и временами визжал, словно просил пощады.

— А-а! Это, наверно, Пищики включились!

И она убежала в своем тюрбане.

Сначала я разорвал телефонную книжку, потом вынул из ящика и стал рвать письма, фотографии.

Это уже было раз, тогда, на Чистых прудах, в 1937-м.

В тот яркий июньский день, горячий, обжигающий, когда комната была залита солнцем, в обещающий счастье день, я сжигал в черной голландке дневник трех матросов срочной службы, альбом, сшитый из гранок газетного срыва, где было смешное и опасное описание кубрика, непочтительный портрет старшины, и стихи, и эпиграммы, и карикатуры друг на друга, и все на свете, и фотографии трех мушкетеров в моряцких фланельках, клеше и бульдожьих башмаках, снятых вместе и отдельно, и анфас, и в профиль, и с девочками-подружками, кудрявые головки, головки-перманент, ситцевые платица...

А потом война, азарт и энтузиазм, и боль, и невыдуманные страдания, и как-то все позабылось, рассеилось, истлело.

И вот все это с новой, непостижимой, ожесточенной силой началось в тот осенний октябрьский день, когда вдруг выскочило словечко к о с м о п о л и т и начались собрания, те долгие, ночные, прокуренные собрания, похожие на сон, на горячечный бред, после которых не хотелось и незачем было жить.

Небольшой круглый, обшитый старинными панелями, с дубовыми потолочными балками зал был жарко, слепяще освещен яркой люстрой. И я сверху, с сумрачных хоров, где всегда пересиживал собрания, муку, страх, недоуменно глядел в это душное многолюдство, на обилие седых и лысых голов, и на трибуне в это время, качаясь, стоял, с бледным, как клоунская маска, искаженно-больным лицом, кривобокий человек и, заикаясь, но все еще громко, но все еще красиво, по-польски грассируя, пытаюсь сохранить достоинство, пытаюсь удержать в себе веру в свое существование, в свое

право защищаться, рассуждать, и, распаяясь, по старой привычке еще даже несколько высокомерно, несколько с преимуществом ума, с наглой, как многим казалось, принципиальностью, сказал: — Ленин нас учил... — И из президиума человек с голубой молодой сединой, медленно наливаясь кровью, закричал: — Не кощунствуйте, пигмей!

И собрание ответило одобрительным гулом.

И не было ничего — ни детства, ни чести, ни луны, ни самопожертвования, и я почувствовал такую беззащитность и бессмысленность всей своей дальнейшей жизни. (Я еще не знал и не мог знать тогда, что в другое время, в другой день и час то же собрание, почти в том же составе, за вычетом умерших от инфаркта, инсульта, пьянства и рака, будет аплодировать и весело и беззаботно смеяться остроумию этого же кривоногого человека, начисто позабыв, что оно с ним делало, а он им простит.

И придет день, в этом же зале, под той же люстрой в траурной кисее и при закрытых простынями зеркалах, произнесут печальные и высокие слова, какой это был замечательный человек. А он гордой крупной головой, возвышаясь в красном гробу, установленном на длинном столе президиума, костяным лиловым, отрешенным лицом как бы скажет: „Ах, это не имеет никакого значения“.)

В ту грязную декабрьскую, оттепельную ночь страшно было идти в свою комнату, страшно оставаться одному, и, не заходя домой, я ушел на Курский вокзал. На следующее утро в Белгороде в вагоне было по-зимнему светло от снега, а на рассвете третьего дня уже мертво и тускло сверкал Сиваш, в Джанкое было по-апрельски тепло, туманно, сыро, и сердце медленно отходило, а в Симферополе солнце, осенние желтые деревья, яркие краски гор и дыханье курорта. В курортном управлении я купил горящую путевку.

На перевале был черный туман, машина петляла среди призраков, и к вечеру Ялта засверкала ожерельем

бульварных огней, шел теплый обильный дождь. Штормящее темное море заливало бульвар, и было чувство потопа, конца света. И мне стало вдруг все безразлично.

Санаторий имени Орджоникидзе, построенный в стиле эпохи излишеств, похож был на мраморный дворец.

В зимнем нетопленном здании пахло казармой, грубыми одеялами, наглядной агитацией кумачовых лозунгов и физиотерапией. Долго я не мог найти дежурной сестры, а когда наконец нашел сестру в затрапезе, она удивленно поглядела на меня, отобрала путевку и молча выдала какие-то талончики.

Я поднялся по широкой парадной лестнице и потом шел длинным, глухим коридором и не понимал, зачем я здесь, зачем эти мраморные колонны и гипсовые лепки, изображающие шахтеров и толстых жниц с серпами.

По коридорам дохло бродили и курили, и маялись зимние санаторники, из красного уголка шел стук козлятников, кое-где сидели на кроватях в пальто, выпивали и после пели песни. И так стало мне дико и чуждо, что казалось, я попал в скучный, фальшивый кинофильм.

Санаторий в это время года полон был вертухаев из Воркуты, Норильска. Утром, приняв предписанные лечебные процедуры, „испанский воротник“ или Шарко, они потом весь день сидели в накуренном красном уголке, забивали козла или состязались в шашки, а некоторые по палатам составляли пульку, делая лишь перерыв на обед и ужин.

Стахановцы, отдыхающие по бесплатным соцстраховским путевкам, колхозники из Таджикистана и Узбекистана, щеголявшие в тубетейках и ярко-желтых сапогах с галошами, бедолаги-тубики, пятисотницы, последовательницы Марии Демченко, весь день маялись по бульвару, ездили в экскурсии на Ай-Петри, в Алупку, во дворец Воронцова, на Ласточкино гнездо и в Никитский ботанический сад, где им показывали мамонтово дерево; а эти почти не выходили из санатория и, заказав у эвакуатора обратный билет, успокаивались

до отъезда. По вечерам они смотрели в санатории кино „Падение Берлина“ по Чиаурели и Павленко или „Свинарка и пастух“, а по некоторым дням были трофейные фильмы. Однажды я смотрел вместе со всеми картину о жизни и сумасшествии Шуберта, и в зале мне казалось, что это я схожу с ума.

В палате со мной жили майор и два капитана, и еще один штатский, который был вместе с ними и оттуда же, откуда они. И ночью я боялся заснуть, как бы во сне вслух не сказать, не закричать что-то про все, про то, что я думал и знал, и несколько ночей не спал и слышал, как майор и капитаны храпят, а гражданин свистит во сне, как они поочередно просыпались и курили, и снова засыпали, храпя, и как черноморский ветер мягко стучал в окно.

Я пришел к главному врачу. У нее были заплаканные глаза. Я слышал, что выселяли из Ялты ее мужа-грека, в это время выселяли греков, армян и караимов. Заикаясь и стыдясь, я сказал, что не сплю из-за храпа соседей, и женщина, внимательно поглядев на меня красными бессонными глазами, сказала, что я могу ночевать в ее кабинете. С тех пор я спал на кожаном диване главврача, говорил и кричал во сне, мне, глупому, молодому, снились собрания и что меня прорабатывают, и все от меня отказались и при встрече отворачиваются. И я хотел, чтобы еще что-то случилось, чтобы еще больше наговорили, наклепали, топтали до конца, довели, и в этом неистовстве погибшей жизни я черпал силы сопротивления и говорил всем: „Что вы уже сделали со мной, а я все крепче и не сдаюсь, нет, не сдаюсь...“

И идут дни за днями, сменяется день ночью и ночь днем, мертвые, бесплодные, в слухах и ожидании, изо дня в день, из ночи в ночь в ожидании не м и н у е м о г о.

Второй раз в жизни я готовился к этому. Я прощался.

И как тогда, в 1937-м, я думал, что если это не слу-

чится, уйти на Волгу, в грузчики, Нижний Новгород. Почему-то представлялась именно Волга и именно Нижний Новгород, а не Горький. Так теперь, уничтожая бумаги, я думал, если только ночью не придут, уйти из квартиры, уехать, затеряться, жить со своими мыслями, с тем, что понял, и когда-нибудь написать об этом.

Глава четвертая

Я лег на кровать, и тот, стоявший на улице, сквозь стены смотрел на меня.

И все время было ощущение, что это сон. Ведь сколько раз мне снился этот сон, именно этот сон, и каждый раз я просыпался, и все было хорошо. Может, и теперь это сон, и просто я не могу проснуться.

Однажды этот мягкий вкрадчивый человек из отдела кадров мимоходом сказал мне загадочную фразу: „Тщательнее выбирайте своих ближайших друзей“. И теперь я стал вспоминать всех своих знакомых и товарищей, и даже тех, которых видел только один раз в жизни, мельком, где-то на улице, в случайной кучке, вспомнил и того, в кепке с наушниками, со странным ноздреватым носом. Вот этот с ноздреватым носом сразу показался подозрительным.

И я поспешно и тревожно вспоминал, что я говорил и как он слушал, молчал или улыбался, и что скрывалось за этой улыбкой. И я каялся, и обливался потом, и проклинал себя, и давал клятву ничего больше не говорить. Господи, господи, боже мой, зачем, кому это нужно было. Если бы я его не встретил, не говорил, как все было бы сейчас хорошо.

Где-то там, в общей или, может быть, специальной картотеке лежала, мирно спала твоя карточка, никому не мешала жить, не толкалась, не выскакивала, не горевала, и вдруг ее, именно ее, спящую, кроткую, забытую, нащупали, вытащили, и уже по ней нашли на стеллажах или в шкафу дело, старое, разбухшее, и на того, кто раскрыл серую папку, глянуло твое лицо, и тот,

скользнув по нему, углубился и стал листать, читать твою жизнь, исковерканную грамматическими ошибками, отраженную и гримасничающую в этом анонимном кривом зеркале, самом современном аттракционе самой великой из величайших эпох человечества. А ты ничего не знал, даже не чувствовал, бегал на свидания, сидел за столиком ресторана и ел рыбу в кляре, и читал сказки Андерсена, и жил той элементарной, той мизерной, той еще до поры до времени разрешенной жизнью, и был доволен, и иногда даже счастлив и убаюкан молодостью, здоровьем, надеждой.

Иногда ночью или даже днем вдруг на шумной, веселой улице ощущение надвигающегося несчастья приближалось, будто повисало на груди и дышало в лицо. Что это было? Мираж? Страх? Игра нервов? Или телепатия волнами доносила то роковое, которое как раз в эту минуту свершалось где-то там, в кабинете, высоком и чистом, как зал крематория.

В сущности, я ожидал этого всегда, но когда оно пришло, я никак не мог поверить, что это случилось со мной, именно со мной.

Человек может ко всему привыкнуть, человек — машина, которая на ходу быстро, искренне перестраивается, выворачивается наизнанку, но к этому не может привыкнуть, как к смерти, зная, что она есть, она неминуема, что она настигнет всех, не может себя представить мертвым в гробу, и мысль об этом встречает равнодушно, со странной легкостью неприкасаемого.

— Разрешите звякнуть, — без стука появился пьяный краснолицый молодой мясник из Гастронома, входящий муж тети Саши.

Он долго, тщательно, с пьяным усердием набирает какой-то невыносимо длинный номер, потом обращает ся ко мне:

— Не справитесь? — И заплетающимся языком общается: — 00-20-00. Дырчатый телефон, не за что зацепиться.

Я набираю номер, но гудков нет. Выдумал ли он этот телефон или перепутал?

— Вы НР? Научный работник, да? — спрашивает он. — А откуда мысли берете, из фантазии или из головы? — Он над чем-то думает и добавляет: — Вы как пишете — подстраиваетесь или так думаете?

Потом, глядя мне прямо в глаза, говорит:

— Моя работа тоже на мыслях идет, на мыслях-шариках.

Я молчу.

— Я умею очень культурно, интеллигентно подойти, — секретно сообщает он. — Правда, я высшего образования не имею, мать хотела отдать, но... Я немецким языком обладаю, поэтому и пропал, из-за немки пропал, колечко шамкнул, только успел золотой зуб вставить и проклял германика.

И вдруг ни с того ни с сего говорит:

— А пока в голове есть, я еще буду жить, я завтра к Косте на пикник иду. Понятно?

Он идет к двери:

— Извиняюсь, тысячу пардон, ауфвидерзейн, гуд бай, мерси большое...

Зачем он приходил?

Я приподнялся и из-за занавеса поглядел в окно. М о й все стоял у ворот. Он глядел на всех входящих и выходящих со двора, и некоторые ловили этот фиксирующий взгляд и убыстряли шаг, и, пройдя, оглядывались. Другие ничего не замечали, как слепые, входили со своими авоськами и портфелями, со своими шмотками и иллюзиями, а один даже остановился и попросил у него прикурить. Он внимательно взглянул на прохожего чудака, как бы сфотографировал с головы до ног, потом спокойно, беспечно вынул спички и дал тому коробок, и тот зажег спичку, прикурил, вернул коробок и, кивнув, пошел по улице, попыхивая папиросой, не ведая, к кому прикоснулся.

Как Овидий его почувствовал, — непонятно, существовала ли между этими людьми передача мыслей на расстоянии, или единственный глаз Овидия был так

наметан, натренирован, что он сразу все улавливал и понимал, но Овидий усиленно прохаживался мимо ворот с широкой деревянной лопатой, убирая снег вокруг его стоянки, а потом просто вышел безоружный и тоже стал у ворот рядом, поглядывая в его сторону тем глазом, на котором нет бельма. Но, очевидно, мой был из другого, высшего ведомства, недоступного дворникам. Он отворачивался и глядел совсем в другую сторону или просто прохаживался до угла и возвращался, не глядя на Овидия. Но удивительнее было всего, что Овидий все это терпел и понимал в самом высшем и ответственном понимании, в любом другом случае он грубо спросил бы: „Зачем стоишь? Документы!“, а тут он просто исчез, испарился. Раз он не нужен, он лишний, значит, т а к н а д о.

И никто и не подумал спросить: „А кто вы такой?“ Все уже инстинктивно, по чутью, уже чуть ли не по врожденному инстинкту понимали, кто это, и откуда, и зачем. Похоже, это уже не только было всосано с молоком матери, но начало уже передаваться в генах, какая-то там произошла перемена, какое-то нарушение или перегруппировка, переброска в извечной цепи нуклеодов, может, самая крохотная, самая микроскопическая, но уже очень живучая и сильно действующая на весь организм.

Если он пришел, и стоит, и смотрит, значит, т а к н а д о.

Они просто уже привыкли к тому, что кто-то стоит у ворот, все равно всегда кто-то торчит у ворот чужой, пока не касающийся к их делам, и слава богу, что не касается, ну и пусть стоит, пусть себе на здоровье мокнет под дождем и снегом, если т а к н а д о. Это не их, граждан, дело, которые идут по своим сугубо личным семейным заботам, на работу или с работы, или в кино, или пивную, на свадьбу или на кладбище. И они даже взглядом не хотят впутываться, вступать в это дело и замечать, что кто-то стоит и кого-то ждет, и не зря ждет.

И все-таки, как о н и этого ни хотят, он словно в мо-

ментальной фотографии, словно в той пятиминутке, что некогда была на ярмарках, отпечатывается, тусклый и как бы смытый в своей котиковой шапке и ботах, но, не показывая вида, они проходят мимо независимо, замороченно и гордо, потом не выдержат и все-таки оглянутся, и уже тяжело, с одышкой, словно до того брали гору, поднимутся по железной лестнице и, войдя в комнату, сразу же кинутся к окну и, прижимаясь к стене, маскируясь, поглядят на того, у ворот, изучат хорошенько и, делая свои наблюдения, прикинут, к кому это относится, и уже только потом займутся своими домашними делами, поджарят на маргарине котлетку, или начнут готовиться к занятиям партпросвещения по „Краткому курсу“, или слушают по радио хор Пятницкого, чувствуя себя неудобно, и, время от времени прижимаясь к стене, поглядят в окошко и понаблюдают, что к чему.

С некоторых пор я чувствовал, как они проходили рядом, по краю. То это был чей-то внезапный, острый взгляд из толпы, на углу улицы, взгляд, направленный именно на меня, а когда я беспокойно оглядывался и искал, тот таял, и можно было подумать, что это мне показалось; иногда тот уже ждал меня в подъезде, когда я приходил в гости, а может, он ждал другого; когда я подымал телефонную трубку, я почти слышал его дыхание.

Когда это началось? С каких пор я попал в их бинокль? И за что?

Меня привели в маленький, тихий домик на окраине, на крыльце бродили куры, в сенях пахло дынями, молоком, медом. Полы в хате были чисто выскоблены.

За столом сидел похожий на ребенка батальонный комиссар в хорошо отглаженной гимнастерке, с двумя новенькими шпалами в петлицах и новой звездочкой на рукаве.

— Почему не в форме? — спросил он меня.

Он посмотрел на меня через стол, словно сквозь пуленепробиваемое стекло. Он смотрел на меня из того,

другого, давно отошедшего от меня тихого мира, где еще не было бомбежек, и черных пожаров, и встающих из огня скелетов ангаров, и мычащих на дороге недоенных коров, и гигантских раздутых трупов коней, он смотрел на меня из спокойного деревенского утра, в котором кричали петухи, цвели колокольчики и жужжали пчелы.

— Расскажите, как вы попали в окружение?

— Вместе с армией.

— Расскажите обстоятельства, как вы лично попали в кольцо?

— Я лично не попадал, я попал вместе с армией.

— Кто подтвердит? — Он смотрел мне прямо в глаза.

— Я шел один.

— А чем питались, манной небесной? — батальонный комиссар усмехнулся.

Из боковой двери тихо вошел офицерик и принес на подносе стакан чая в серебряном подстаканнике и вафли на блюдечке. Он пододвинул к себе стакан чая и позвенел ложечкой. Потом вынул из ящика какую-то коробочку, достал таблетку, положил ее на язык и запил из стакана чаем. Проглотив таблетку, он прислушался к себе, и так он сидел несколько минут и прислушивался. И все это он проделывал, будто он был тут один.

— А партбилет где закопали? — спросил он.

— Я его не закапывал.

— Сжег?

Я вынул партбилет, красную мокрую книжечку. Он взглянул на фотографию, потом на меня, небрежно перелистал, осведомившись, уплачены ли взносы.

— Номер партбилета? — спросил он.

Я сказал.

— В каком году вступили в партию?

Я ответил и на этот вопрос.

— Где получали партбилет?

— В Киевском райкоме Москвы.

— На какой улице райком?

- На Смоленской—Сенной.
- Номер дома?
- Номера не знаю.
- Где вход в райком?
- С Глазовского переулка.
- Кто секретарь райкома?
- Не знаю, они менялись.
- Он снова перелистал книжечку.
- С какой суммы платили членские взносы?
- Я назвал сумму от и до.
- Почему тут стоит двадцать копеек?
- Это я тогда получал стипендию.
- Он положил партбилет возле себя.
- А почему вы не застрелились? — Он спокойно посмотрел на меня. — Коммунисты не сдаются в плен, — пояснил он.
- Я не был в плену.
- Советский человек приберегает последний патрон для себя.
- Я смолчал.
- Был контакт с немцами?
- Один раз задерживали.
- Где, когда?
- На прошлой неделе; мы проходили деревню.
- Какую деревню?
- Названия не помню, на Полтавщине за станцией Ярьськи. Мы проходили деревню...
- Кто это мы?
- Я и еще несколько человек, какой-то авиатехник.
- Откуда знаете, что он авиатехник?
- Так он сказал сам, и у него была летная форма, летная фуражка.
- Продолжайте.
- Так вот, был я, этот авиатехник, какая-то девушка и еще один боец. Мы проходили село. Я не хотел заходить в это село, мы стояли у крайней хаты, и я сказал: „Не надо“, — но авиатехник сказал: „Там нет нем-

цев, разве вы не видите? В селе никого нет, мы разживемся хлебом, салом, попьем молочка“. И мы пошли. А в это время из одной хаты вышли немцы. Мы хотели пройти мимо и сделали вид, что не видим их, что нам все равно, есть они или нет, но от хаты закричали: „Але фир! Все четыре!“ — и один из немцев махнул автоматом. Мы подошли. Они стали нас обыскивать, сначала авиатехника, потом девушку, потом меня. В правом кармане у меня лежал завернутый в тряпку партбилет. Но человек, обыскивая, правой рукой залезает к вам в левый карман, и когда он залез и стал шарить в левом кармане, я в это время расстегнул кацавейку, и он стал искать уже в пиджаке, а в правый карман так и не полез и не нашел партбилета.

— И они вас не расстреляли?

— Нет.

— А почему они вас не расстреляли?

Я пожал плечами.

— Не знаете?

Он внимательно поглядел в мое лицо. Я молчал.

— За вас ответило ваше молчание.

Я ничего не сказал.

— И вы хотите, чтобы я поверил вашей байке?

— Я говорю правду.

Он прицельно глядел в мои глаза, и я долго, и невыносимо, и бесконечно отвечал ему взглядом на взгляд, отражаясь в светлых зрачках. Наконец он устал или что-то решил про себя, и ему уже не надо было докапываться до чего-то там в моих глазах. И он стал перелистывать лежащие на столе серые, с фиолетовой машинописью страницы, будто там что-то было про меня.

— Какое задание получили?

— Они нас отпустили.

— Шифр, явка, связь? — быстро сказал он. — И не запирайтесь, лучше будет.

Я молчал.

— Как ушли из плена?

— Я не был в плену.

— Это мы уже слышали. Какое задание получили?

— Я вам сказал — я не был в плену.

— Мы все равно про вас тут все знаем.

— Знайте что хотите, но я говорю правду.

— Вот тут все равно все известно, — он перелистал страницы, лежащие перед ним.

— Так зачем же вы спрашиваете?

— Закон, — сказал он, — юриспруденция. — Он подвинул ко мне чистый лист бумаги, чернильницу. — Напишите объяснение, подробно.

Я написал все, как было, как мы стояли на окраине села, как мы пошли по улице, как нас задержали, и обыскивали, и отпустили. Пока я писал, он молчал, потом он прочитал с отвращением и пошел куда-то с бумагой.

Я сидел и смотрел в окно. Какой-то боец верхом подъехал к крыльцу. Он соскочил с коня и пошел в дом. Конь стоял у окна и смотрел в комнату на меня. Глаза у коня были грустные и замученные. Казалось, он понимает все, что происходит, он с сожалением беспомощно смотрел на меня. И мне стало себя жалко.

Перейдя у Дарницы Днепр, я миновал Сулу, и шел, и дошел до Ворсклы, но в Полтаве уже были немцы, тогда я повернул на Богодухов, к Харькову, но в дороге узнал, что Харьков оставлен, и пошел на Изюм, на Купянск, я сам себе сказал: „Дойду до Сальских степей, до Караганды, до границ Афганистана, но с ними не останусь“.

Батальонный долго не возвращался, к крыльцу подъехал еще один верховой, быстро соскочил и взбежал на крыльцо. Через минуту из дверей стали выбегать майор, потом капитан, несколько бойцов с пачками бумаг и бутылками чернил, подъехала повозка, и на нее погрузили пишущую машинку и венские стулья.

А моего батальонного все не было.

По улице проскочил, не останавливаясь, камуфлированный броневичок, и на его броне лежали два автоматчика.

Стало совсем тихо. В доме ни шороха. Я почувствовал: что-то не то. Я встал и вышел в боковую дверь, куда батальонный ушел с моими бумагами. Там никого не было, валялись обрывки газет, сено. Дверь на заднее крыльцо была раскрыта. На огороде стояли чучела.

Я вернулся, взял свой партбилет и вышел на крыльцо, и пошел по дороге, среди брошенных повозок, безпризорных лошадей с седлами и без седел. Крестьяне-старики уводили коней в свои дворы.

Внутри было чувство щемящей грусти.

— На мышей не жалуетесь?

У дверей стояла женщина с крохотной красной мышеловкой, такой крохотной, что в нее бы ловить жуков.

— Мыша есть? Ловим, травим.

И она мне тоже показалась подосланной старухой. Я глядел на миниатюрную, какую-то трагедийную мышеловку и чувствовал себя в калкане.

Эта комната всегда казалась мне западней, куда меня загнали и откуда уже нет выхода. Но каждый раз после собраний я уползал в эту ненавистную с масляными стенами узкую комнату, в эту чадную нору, набитую прусаками и клопами. Все-таки это была единственная нора во всем городе, а может, сейчас и во всем мире, где я оставался один, один на один с самим собой, со своей гложущей тоской, с удивлением к дикости и бессмыслице того, что делали со мною, и с болью. И тут как-то отлеживался.

Предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить, было всегда, иногда оно как-то погасало, таяло, словно забывалось в карусели жизни, но на самом деле оно не исчезало никогда, оно только дремало, и снова наступал день и час, и оно овладевало тобой с новой силой, и снова ты ждал и ловил каждый взгляд и оглядывался на улице, заходил за угол и ждал, кто пройдет за тобой. И когда садился в такси, привычно глядел в заднее стекло, нет ли хвоста, и когда приходил в кафе или в ресторан и садился за столик и вдруг ловил на себе взгляд или замечал слушающее ухо, ста-

рался вспомнить, был ли тот уже здесь, когда ты пришел, или появился после тебя. Да, иногда это угасало, тихо таяло, но чтобы совсем исчезло, этого не было ни разу, оно жило, слегка покрытое пеплом, где-то в самой глубине, в тебе. Это был — ты.

Все время как-то беспокойно, отчего-то тревожно, чувствуешь вину без вины виноватого и ждешь наказания. Наказание неминуемо. Рано или поздно оно придет. Каждое утро — только отсрочка.

А теперь это случилось. Теперь уже не надо было, да и не было охоты волноваться, все потускнело и исчезло перед этим огромным.

Уже не было сил бояться, не было сил для страха, не было сил терпеть боль, стало все равно. Пусть все идет как идет, а мне все равно, по крайней мере уже не надо бояться.

Он стоял тут под окном, ходил на ходулях, заглядывал в окно, и некуда было деться, некуда спрятаться.

Глава пятая

Я взглянул в зеркало, и лицо показалось мне чужим, отдаленным, из какой-то другой жизни. Может быть, всегда так бывает, когда долго глядишь на свое лицо, оно кажется чужим. Вот этот нос, эти брови, эти глаза, эти уши, это — ты? Это ты и есть? Который вечно разговаривает сам с собой, кричащий в себе, думающий в себе, каждый день, каждое утро все перелопачивающий в себе, заново продумывающий свою жизнь, строящий новые планы и варианты, и все остроумничающий в себе, все протестующий в себе. Сколько их, не произнесенных речей, парирования, не услышанных никогда криков возмущения и боли и тайных мыслей, никем не признанных и похороненных, забытых навсегда!

Уговариваешь сам себя, жалеешь себя и мучаешься наедине с собой и все ждешь, и ждешь, и ждешь чего-то, все терпишь в этой надежде. В конце концов все

стерпел. Ты и не заметил, как изменилось твое лицо, прозевал все изменения, привык к ним, примирился, и все тебе кажется, что ты тот же, что ты это ты.

Неужели это я, тот, который гонял обруч по крутой Верхней улице: „Даешь Варшаву, берешь Берлин!“, бежал с расхристанными книгами по длинной Гетманской улице в Пятую единую трудовую школу, тот, который сидел под зеленой лампой и осторожно переводил переводные картинки, там в старом, веселом и грустном доме на Златопольской улице.

Я и есть тот самый мальчик, который шел в пыльных, крикливых, безумных рядах и, поднимая дымящий керосиновый факел, орал: „Долой, долой монархов, раввинов и попов!“ — и которому все было нипочем, трын-трава, пропади пропадом: „Мы старый мир разрушим, мы новый мир построим“.

С наслаждением простаивал дни в шумных прокуренных очередях у бурых, заплеванных стен Киево-Печерской биржи труда подростков, страстно мечтаю стать слесарем-лекальщиком.

И это я приехал с Брянского вокзала и на подножке звенящего, дребезжащего трамвая по Бородинскому мосту, узким тесным коридором Арбата, через толкучку Охотного ряда выехал на Театральную, к белокаменному Большому театру, и вдруг мне показалось, что я уже тут был, что я, собственно говоря, всегда тут жил, все так было знакомо.

Потом это я, утопая, шел через болото Трубеж под немецкими мертвыми люстрами, и это я стоял перед собранием, а собрание выло.

Все это я. Я гляжу в зеркало и вечно узнаю и не узнаю себя. Сколько же жизней у человека, одна или тысяча, и тот маленький, кроткий мальчик в матроске, и тот юноша в галифе и сапогах кажутся совсем чужими, посторонними. Они бегут, дергаются, кричат, машут руками, словно участвуют в старом-старом фильме.

Охотный ряд со своими лабазами, с висящими на крюках красными мясными тушами, индейками и гуся-

ми в перьях и блинным чадом, книжные развалы у Китай-городской стены до дома Наркомтяжпрома на Ногина.

Звон переполненных трамваев, сирены красных пожарных автомобилей, цоканье пролетов, бестолковые крики пирожниц, мороженщиков, квасников, визг мальчишек с ирисками на лотках — от всего этого кружилась голова. И все время смятенное и тревожное ожидание нового, еще никогда не бывалого.

Москва была вся в траншеях. Кислый запах разрытой земли, неоцинкованных, ржавых, холодных на вид труб — все это я вдыхал с жадностью.

Я подолгу стоял у обшитых свежим желтым тесом вышек, странно и чуждо выросших посреди города, во дворах и на площадях, с жаждой, с завистью, с радостью наблюдал парней и девчат в широкополых шляпах, брезентовых робах и измазанных глиной резиновых сапогах, оттуда, из-под земли, поднимавшихся на свет улицы, что-то таинственное, важное делавших там, под землей, а теперь вышедших на свет и гордо, независимо, не сливаясь с обыкновенной толпой и чувствуя себя рыцарями без страха и упрека, идущих по солнечной улице, непохожих на других.

Я тоже хотел работать под землей, в смутном свете оплетенных проволокой лампочек; тоже хотел лежать на спине и, держа над головой отбойный молоток, врубаться в землю, в камень, в глину, идти через пливуны и выходить наружу в широкополой шляпе, в робе, в измазанных глиной мокрых резиновых сапогах.

Сверкала, шумела, звенела трамвайным звоном узкая, подымающаяся в гору вечерняя Тверская, и ярко, ново, волшебным сиянием неоновые трубки, полные светящегося газа, хлопали двери празднично освещенных ресторанов, парикмахерских, магазинов, кричали газетчики: „Вечерняя, Вечерняя...“ Тучей валила возбужденная толпа.

Захваченный этим шумом, ярким движением, глубоко вдыхал я насыщенный электричеством воздух мно-

голюдной улицы, с перебегающими, переливающимися оранжевыми и зелеными буквами, и, казалось, громче, резче в вечерних сумерках звенели трамваи, сигналили машины и плыли освещенные над городом облака.

Ах, боже мой! Вокруг празднично-ликующе, свежо и ярко сверкала, переливалась огнями Москва, светилась тысячами тысяч окон, уютных, трогательных. А я хотел в тундру, в Каракумы, на Северный полюс, чтобы мне было трудно, невыносимо трудно, на что потребовались бы все мои силы, вся моя неутолимая жажда жизни.

Сверху от Страстной по Тверской улице шла с факелами вечерняя демонстрация. Это был день МЮДа. Тогда еще не было того железного порядка демонстраций, когда Красная площадь на осадном положении и в центре вводится комендантский час; колонна с красными флагами шла свободно, лилась, как река, по улицам, и к ней можно было присоединиться и идти в рядах под плакатом „Долой Чемберлена!“, и выйти на Красную площадь, к самой трибуне Мавзолея, и слушать речи.

Впереди шли рабочие ребята, фабзайцы с „АМО“ и „Серпа и молота“ в раскрытых косоворотках и кепках, рабочие-подростки тридцатых годов, те, что пойдут на рабфаки, те, что встали у красного знамени в самые юные, чувствительные и бескорыстные годы.

Я пошел за ними, и я стоял у Мавзолея, освещенный огнями факелов, и слушал речи. И когда кончились речи и погасли факелы, над Красной площадью взошел узенький серп стрелецкой луны, я остался один. Была уже ночь.

Я вышел на Большой Каменный мост. Миллионы освещенных окон были вокруг — вблизи и вдали — словно звездное небо опустилось на город. Под мостом глухо шумела темная вода, и я слышал стук своего сердца.

И жажда учиться, и жажда работать под землей, и уехать на край света раздирали меня, и я не знал, куда податься.

Словно сквозь ватную стену услышал я звонок телефона.

— Это я, Аркадий, — закричали в трубку. — Ну как, дышишь?

Я ничего не ответил.

— Понятно, — сказал он.

Мы оба помолчали.

— Есть новости?

Я снова ничего не ответил.

— Понятно, — повторил он.

Мы еще немного помолчали.

— Хорошие или плохие? — осторожно спросил он.

Я молчал.

— Понятно, — сказал он.

Электрическая тишина линии давила на нас тысячетонной силой. В трубке, казалось, дышал кто-то третий, будто жевал бутерброд с осетровой спинкой.

— Ну, адью, — сказал он и повесил трубку. Я услышал короткие гудки. Я слушал, и слушал, и плакал.

Казалось, вся тоска, испытанная в жизни, собралась в этой тоске и весь ужас в этом ужасе, безнадежность дней и ночей в этой беспредельной, уже невыносимой и нестерпимой безнадежности.

И вдруг мне захотелось молиться, нет, не Богу, которого я не знал и не помнил и который никогда не являлся ни во сне, ни наяву, над которым с детства смеялся, а тому высшему, всевидящему, всепрощающему, той правде любви, которая должна же быть на свете, помолиться страстно, бешено, плача, рыдая.

Зачем же надо было гореть, спешить, дрожать от восторга, верить, любить, чтобы в какой-то дикий, бесприютный и беспросветный, в этот холодный сиротский день загнало тебя в этот каменный мешок.

Был дождь. На Сокольническом кругу под рогожами и мешками, сгорбившись, сидели на высоких козлах извозчики.

Один из них лихо натягивает вожжи, выпрямляется, и тогда падает рогожа, и выплывает мрачная фигура:

— Прокатим, гражданин подросточек...

По деревянным мосткам со стуком проходили одинокие прохожие. У водопроводных колонок гремела ведрами очередь. У забегаловок зажглись желтые фонари. Пробежал мальчик с книгами, перевязанными бечевкой, ученик третьей смены, и, оглядываясь, долго следил за извозчиком. Где он теперь, этот мальчик из третьей смены?

Теперь тот дождь кажется туманной сеткой времени, сквозь которую видится вечер, смутные фонари, освещенные окна домов, где сидят семьи за вечерним столом и откуда никто никуда не уезжает.

Как бы издалека доносится грохот колес по булыжнику, крики газетчиков, оглушительные сигналы редких машин и длинный жалостный рассказ извозчика в огромном, надвинутом на глаза картузе о коллективизации в деревне.

Выехали на большую широкую улицу. Ярко сквозь дождь горели витрины торгсина с желтыми манекенами в шляпах набекрень, провожавшими нас своими восковыми лицами. Цокали извозчики, звенели и дребезжали переполненные трамваи, тучей под зонтиками шли пешеходы, и над всем этим плыл пар, красноватый вечерний туман, и слышен был распространившийся гул — колокольный звон церквей, и гудки новых серебряных репродукторов, и духовая музыка, все, что так радостно и гулко отзывается в молодом сердце, вызывает ответное чувство удесятеренной радости и жажды. А я уезжал.

Поезд отошел от Ярославского вокзала.

Под мостом прошли освещенные трамваи, огни стали реже и какие-то тусклые, окраинные, заброшенные, а потом и они исчезли, и осталось вдали лишь освещенное небо.

В глубине темных полей — то бегущие к поезду, то убегаящие от него огоньки деревень. И кажется, что зажглись они ради тебя, и трудно себе представить, что будут гореть и без тебя, просто сами по себе и ради себя, веселые и печальные огоньки деревень.

С грохотом пронесся встречный маршрут, и с этим грохотом как бы отрывается от сердца все, что было, и постепенно переносишься в новую жизнь.

Была осенняя, промозглая, пропадающая мгла. Летели навстречу темные поля, перелески, дальние желтые, как одуванчики, огни провинции, и, похоже было, я уезжал назад, к своему детству.

Болотные замерзшие кочки, жалкие грустные кочки, прогалины, те же бревенчатые мокрые черные деревушки, избы с низкими окошками, в которые глядел еще протопоп Аввакум, и те же названия: Нижняя Палома, Нея, Свеча... Вот так корова стояла здесь и тысячу лет назад и о том же мычала.

Какое им всем дело, этим черным избушкам, этим людям у черных глиняных горшков с деревянной ложкой, до твоих фантазий? Видишь — тот же удивленный, с большими рачьими глазами человек, не понимающий, чего ты хочешь и зачем ты здесь, глядит на тебя в окно. Он знай хлебает своей деревянной ложкой и хлебает...

И поднималось сильное, горячее чувство — осветить эти избы с черными от дождя соломенными крышами, эти темные, будто упавшие с неба в болото, забытые всем миром селения, превратить их в города, привести этих людей в зипунах, в лаптях к новой жизни...

Мой стоял теперь не у ворот, а у края тротуара и глядел на новый многоэтажный дом на противоположной стороне улицы, на его большие окна и балконы. Думал ли он, кто там живет, или ему просто нравился этот новый дом, эти богатые балконы, эти роскошные, кружевные бапенки украшений, и он знал, что там живут генералы и министры, и с уважением думал о них, и даже в мыслях не завидовал и не воображал получить комнату в таком доме. Насмотревшись на это новое чудо и насладившись высшей жизнью, он перевел взгляд на наши окна.

Знал ли он, где мое окно, мучительно ли было ему ждать, и терпеть, и маяться тут, у ворот, в скуке ожи-

дания. И любил ли он свое назначение, дорожил ли им и считал себя выше, значительнее всех других людей на том основании, что он следит за ними, а не они за ним? Или, может, ему обрыдла уже его власть, и он только и думал перейти на другую, тихую, не нахальную работу, где не надо мерзнуть на ветру, в безвестности, в ожидании нагоняя от грубого начальства.

Вдруг он повернул голову вправо и плюнул три раза, привычка у него была такая, или он что-то задумал про себя. Странно, этим он стал как-то ближе, совсем свой.

Еще сегодня утром я его не знал и он обо мне ничего не ведал, теперь не было для меня во всем мире более важного человека, чем он.

Вся моя жизнь, все, что я мог еще сделать, увидеть, испытать, вся моя любовь, паника, страх, болезни, восторги, открытия были в его власти.

Я вспомнил еще одну дорогу.

Ночная дикая грязь, гром и молнии, казалось, война со всеми ее катюшами поднялась в небо, и там идет арт-подготовка. Аэродром с редко стоящими самолетами был пустынен, и слышно было, как режут потоки воды по бетонным полосам.

Всю эту ночь и весь следующий день лил дождь, и небо было наглухо и, казалось, навеки сплошь задраено тучами. Ни один самолет не поднялся. Все аппараты стояли на поле. И кто спал, кто играл в кости, кто писал последнее письмо, а кто просто лежал и предавался воспоминаниям, и казалось, не будет никакого полета, никакой опасности. И вдруг во второй половине дня как-то незаметно, тихо дождь прекратился, небо посветлело, посерело.

Тучи еще висели над аэродромом, над ангаром и службами и над поселком, но там, на западе, открылось небо, чистое, синее, и солнце огромное, красное закатывалось за горизонт. И это ясное небо казалось твоей жизнью, которая могла бы быть, если бы не было этого полета.

Но нельзя сказать: нет, не хочу, смотрите, разве вы не видите, какое синее, обещающее небо, какой розовый, радостный закат, какой может быть жизнь. Я хочу жить.

Сонное заблудившееся царство аэродромной службы проснулось, ожило, замельтешило.

На длинных взлетных полосах загудели моторы, прямо по полю неслась заправочная цистерна.

Перед самым отлетом техник из аэродромного склада боезапасов выдал мне ПППШ, новенький, еще в смазке, с одним круглым, как у ППД, диском, и еще несколько черных рогулек и патроны, которые ссыпал в зеленый холщовый мешочек. Техник помог мне зарядить диск, я вытер смазку паклей, вставил диск в автомат и тут же, у ангара, проверил бой. Машина работала исправно.

— Как бог, — сказал техник.

Я повесил автомат на грудь и пошел к самолету.

У „дугласа“ стояла небольшая толпа, все были в брезентовых дождевых плащах с зелеными рюкзаками, некоторые держали в руках какие-то желтые деревянные ящички вроде адских машин.

Техник-лейтенант стал выдавать парашюты, прикрепил их каждому на спину и объяснил, как дергать кольцо. Парашют, как тяжелый рюкзак, лег на мою спину. Горбясь, все стали в очередь к трапу.

У трапа стоял офицер со списком и у каждого, входящего в „дуглас“, спрашивал фамилию, проверяя по списку. Все фамилии были польские. Я понял, что это были диверсанты в Польшу. Я в очереди был последним, и офицер, спросив фамилию, принял меня тоже за поляка и ободряюще сказал:

— На родину?

В самолете было темно и холодно, и одурающе пахло бензином. Я пробрался между зелеными патронными ящиками, ворохом связанной одежды — ватников, шинелей, сапог — и сел на зеленую железную скамью. У турельного пулемета стоял стрелок в синем авиационном комбинезоне и заправлял в пулемет ленту.

Из кабины вышел высокий летчик и спросил:

— Все?

Кто-то снаружи от люка сказал:

— В порядке.

Мы улетали за Минск, а фронт был у Орла, только вчера взяли Орел.

Летели над темной землей без единого огонька, города и села, и железные дороги, как Атлантида, утонули на дне океана. Стрелок стоял у турельного пулемета, следил за небом, и казалось, он призван сбивать звезды. Только подлетая к фронту, увидели первые огни, линия фронта двигалась по земле зигзагообразно огненной пилой. Нас заметили, и оранжевые трассы расцвели во круг, и в самолете стало светло...

И тут вдруг меня окатило потом. Пистолет! Я не сдал его тогда, сразу в мае 1945 года, в сверкающем, ликующем мае, когда все было можно, все было позволено и, казалось, вечно, всегда все будет можно и все будет позволено.

И шли и дни, и месяцы, я вспоминал и забывал, а может быть, жалко было его сдавать. А потом уже было поздно, уже вокруг была стена. Уже никак нельзя было прийти и сказать: „Вот!“ — и протянуть пистолет. То же самое, что протянуть бомбу с догорающим фитилем и сказать: „Пожалуйста!“ И шли дни и месяцы, а потом и годы, теперь только можно было его разобрать на части и выкинуть. А куда выкинуть? В мусорный ящик на задний двор? За случайный забор? Самое подходящее место — колодец, но на сто верст кругом не было колодца. И вот — доигрался! Я достал бельевую корзину и стал выкидывать книги, газеты, старые носки, тряпье, мотки проволоки, на дне лежала сморщенная кобура. „ТТ“ показался очень тяжелым, от него пахло кожей, старым лежалым железом, ужасной угрозой.

И в это время тройной стук в дверь и голос:

— Милиция.

И будто упали стены, и стоял я голый перед всем светом. И даже не успел подумать, как же это все быстро узнали, в ту же минуту, в ту же секунду уже оказались на пороге.

Как шар, загнанный в лузу, забитый намертво колом, стоял я в углу, не шелохнувшись.

Стук повторился.

Я накрыл пистолет газетой и, словно лунатик по краю крыши, двинулся к двери, и не своей, как бы замерзшей чужой рукой снял крючок.

На пороге стоял милицейский капитан в новой фуражке и щегольской синей шинели, как-то особенно выглаженный, особенно аккуратный, какой-то даже опереточный, словно из кинокартины студии Юношеских и детских фильмов, и в комнате запахло „Ландышем“, а за ним гражданский тип в мальчиковой кепочке на макушке, в мальчиковых ботинках.

— Здравствуйте, — капитан улыбнулся, и от этой улыбки еще шире волнами распространился в комнате запах „Ландыша“, а тот, что был за ним, как только вошли, выдвинулся, вынырнул из-за широкой, мощной спины капитана, из-за пижонского торса, в мальчиковой пестрой кепчонке, незначительный такой, вреденький, и сделал странное круговое вращение головой, словно сразу вобрал в себя комнату со всеми ее углами, а потом поглядел на меня и вобрал и меня с головы до ног, со всеми потрохами и недозволенными мыслями и ужасающими интеллигентскими сомнениями.

— Проверка документов, — сказал капитан, — паспорт, пожалуйста.

Я пошел к пиджаку, висящему на стуле, и достал паспорт. Все было как во сне.

Капитан аккуратно перелистал паспорт и заглянул на какую-то интересующую его страницу. Но она была чистая и непорочная.

Кепочка небрежно оглядывала потолок.

— А кто тут еще живет? — сказал капитан, не выпуская паспорт из рук.

— Я один.

— А кто еще прописан? — спросила кепочка.

— Он же говорит, что один, — сказал капитан.

Кепочка небрежно оглядывала стены, и вдруг взгляд его задержался на столе с горбившейся на нем газетой „Известия“ и таившимся под ней ТТ. И казалось, от одного этого взгляда ТТ сейчас даст спуск, начнет стрелять в стены, в живот, в ноги, куда попало, пока не разрядит всю обойму. Я осторожно повел за взглядом и понял, что он, не отрываясь, глядит не на газету, а на крохотный, только недавно по комиссионному случаю приобретенный немецкий приемничек „Харнифон“, ловивший весь мир на длинных, средних и коротких волнах.

— Трофейный? — спросила мальчиговая кепочка.

— Немецкий.

— И на всю катушку берет?

Я смолчал. Может быть, из-за приемника, из-за этого чудо-„Харнифона“ они явились, хотя я и пользовался им осторожно; сугубо под вой радиоточки, передававшей „Запрягите, хлопцы, коней“, приблизивши к шкале ухо, пытаюсь сквозь троекратную забиваловку и сквозь вой, трескотню и пиликанье, зверское бормотание на всех языках, сквозь веселящий газ, джазовое безумие мира, и снова, поверх, покрываемые троекратной забиваловкой, выловить информацию, ту раздражающую и все-таки ловимую русскую далекую речь, которая сразу по тону, по тембру, по вибрированию, по придыханию отличалась от однообразного, дистиллированного голоса наших дикторов. Может, это ночное пиликанье, этот шорох и достиг ушей Свизляка, и он написал куда следует, а куда следует, он знал.

— Игрушка зарегистрирована? — спросила кепочка.

— Еще не успел, я ведь только вчера приобрел.

— Вчера? — удивилась кепочка и покачала головой.

— Надо закон исполнять, — сказал капитан и усмехнулся, прямо одурманивая „Ландышем“.

— Правильно, правильно, — согласился я.

— Законы для этого и пишутся, чтобы их граждане

исполняли, не вольничали, — все так же улыбаясь, сообщил капитан. — Ну, извините за беспокойство.

Он взял под козырек, и кепочка тоже неожиданно приложила два пальца к виску, и они вышли в коридорчик, я услышал стук в соседнюю дверь.

— Милиция.

Почему они явились именно сейчас, это случайно, или они связаны с тем, который ждет меня на улице? Что они хотели проверить, дома ли я? Все шито белыми нитками, нельзя же так грубо работать. А может быть, это действительно случайно, может быть, это совпадение? И я усложняю. Но почему именно сейчас? Почему такое роковое совпадение? Или мне это так везет? Нет, это, наверно, случайно, ведь они вошли в другие комнаты, они и там громко спрашивали документы, но как-то лениво, нехотя, каким-то нарочным голосом.

Я смотрю на телефон, мне кажется, кто-то в нем поселился и смотрит на меня, и слушает мои мысли.

Звонок, еще и еще, и еще, и еще. Комната как бы вся наполнилась звоном, звенели чашки, и звенела электрическая лампочка, еще и еще... Кто-то там упорный и упрямый, настырный, еще и еще, и еще...

Я поднял трубку.

— Да-а-а!

Никто не ответил. Я прислушался. Гудело пространство.

Проверяют, дома ли я. Но куда я могу деться? Что, просочиться сквозь стену, растаять в воздухе, прыгнуть с крыши на крышу или убить себя?

Я выглянул в окно. М о й стоял у ворот и курил. Выкурив папиросу, он бросил ее щелчком в урну и пошел к краю тротуара, переждал поток машин и, когда последняя прошла, шагнул на мостовую и стал спокойно переходить улицу. На той стороне он опять стал на краю тротуара и стал смотреть на наш дом, на окна, на какой-то миг наши глаза будто встретились, он утер рукавом нос, потом подтянул штаны, повернулся и спокойно пошел к телефонной будке.

В будке медленно набрал номер, обождал, пока ему ответят, и потом что-то долго, спокойно и серьезно говорил. Выкладывал ли он начальству свои наблюдения, умозаключения или, может, тете рассказывал о своих детях, какие отметки получили, он что-то послушал и повесил трубку. Потом он немного постоял в будке, не предпринимая никаких действий, затем набрал еще какой-то номер и на этот раз, заговорив, сразу же стал смеяться и все время, пока разговаривал, смеялся. Рассказывали ли они друг другу анекдоты, или вспоминали что-то свое, очень веселое, или просто трепались, а может, он рассказывал обо мне, и это было так забавно, что его разбирал смех. Но вот он, отсмеявшись, повесил трубку и выпел из будки. Он вынул пачку папирос, закурил на ветру, с горячей папиросой перешел улицу на эту сторону, и снова пошел к воротам, и терпеливо и безразлично глядел на прохожих, а они на него не глядели.

Садовая грохотала и содрогалась от движения машин, и в живом потоке то и дело проносился засыпанный снегом грузовичок с черным крепом на кумаче по борту. Он пролетал с серебряным глазированным гребом и неживыми цветами венков, а вокруг на стульчиках, расставленных, как в зале заседаний, сидели скорбящие, глазели на окружающее, разговаривали и смеялись. И сразу же впритык, без границы жизни и смерти, автоцистерна — „Живая рыба“.

Что-то именно сегодня столько похорон, или это каждый день, или сегодня я особенно чувствителен к ним? Здесь, по Садовой, через Смоленскую проходит великий московский похоронный путь к Зубовской, а там правый поворот на Пироговку, мимо особняков, мимо медицинских корпусов к краснокирпичным стенам Новодевичьего, в тупик.

Грузовичок с черным крепом на борту весь день мелькает в общем потоке, и уже кажется, это одни и те же похороны кружатся, кружатся по городу в этот темный, желтый день.

Поздно зимой поднимается солнце из-за Соколиной горы, и встаешь еще в темноте, и алые дымы медленно плывут к замерзшему, застывшему изумрудному небу с утренними бесцветными звездами, и идешь по окаменевшей тропе от соцгорода к заводу, и далеко слышен скрип шагов.

Нет ни улицы, ни дороги, лишь одинокие, странно разбросанные в снежном поле краснокирпичные дома.

Я перехожу по тонкому шатающемуся мостику через темную, угольную, парящую на морозе Абушку на Нижнюю Колонию.

Я уже привык и к этой длинной, в разъезженных колеях, несуразной улице темных, низких, длинных барачков с мокрыми серыми рубероидными крышами, скорее лагерной, чем городской или поселковой, к их казарменному запаху хлорки, гремящему на веревках белью, синим угарным дымам печурок.

Я иду мимо длинного темного барака — бани, откуда, свистя, вырывается пар и голые выбегают из парной и ныряют в сугроб, угарно тянет золой и березовыми венниками.

Потом желтый, аккуратный барак госбанка с массивными решетками на окнах, на крыльце вахтер в тулупе и валенках, с винтовкой и фонарем „летучая мышь“. На высоких двухколесных драндулетах по двое подъезжают инкассаторы в брезентовых плащах поверх полушубков, с пистолетами на ремне, и пока один, соскочив, стоит у драндулета, другой вытаскивает из-под сиденья брезентовые мешки с деньгами.

Потом столовая, с неизменным красным винегретом в буфете, пшеничными битками и гнущимися оловянными ложками, на которых отштамповано: „Украдено на фабрике-кухне имени Бабеля“.

И дальше школа в крашенном известкой бараке. Дети в пальтишках и полушубочках сидят в длинных, узких, холодных классах с самодельными черными партами, окна занесены снегом, и электричество горит с са-

мого утра. Учитель стоит у доски в ушанке и в перчатках.

В тесной каморке почты было накурено, кисло пахло кожухами, мокрыми ватными халатами казахов, штемпельной краской, горячим сургучом. За перегородкой беспрерывно стрекотал аппарат Морзе.

Я получил небольшую, мягкую, суровыми нитками зашитую в холст посылочку. Она была какая-то домашняя, уютная. Я взглянул на обратный адрес, и больно защемило сердце от этого знакомого старательного почерка фиолетовым карандашом.

Я нес эту нежную домашнюю посылочку мимо желтых котлованов, гор красного кирпича.

— Кореш, — окликали меня, — от папы-мамы?

Рядом тянулись грабарки с замерзшей, клочковатой глиной, шли пегие, бурые костлявые клячи. Грохотали бетономешалки, и в тумане по желобам лился теплый раствор, пахнущий парным молоком. Жужжали деррики, пронося на длинных стрелах по воздуху стальные фермы. Со всех сторон вспыхивали синие молнии автогена.

Я шел с мягкой домашней посылочкой. Что бы это могло быть? Прихожу в барак. Разрезаю нитки, разворачиваю мой старенький, в рубчик, цвета маренго, с паточкой сзади, костюм, который, уезжая, оставил там. Как странно пахнет прошлой жизнью, нашим шкафом, маминым клетчатый платком и почему-то шалфеем.

Я равнодушно вдыхаю запах посылочки. Ну, к чему мне сейчас этот в рубчик, маренго, костюм с паточкой сзади?

Я смотрю в низкое, хмурое, заплаканное окошко из зеленого стекла, на темную, пустынную улицу, на дождь, на грязь, невеселое, низкое, серое небо. Неужели там, дома, сейчас в нашем саду шумит дождь, и знакомые люди проходят по улице под зонтиками, в глубоких галошах, и входят в дом, и говорят: „Здравствуйте, как живете?“

И как-то странно, что я здесь, и эта деревянная кле-тушка с треногим, залитым чернилами столом — мой

кабинет. И слышно, что делается во всем бараке, как стрекочет машинка и кто-то диктует и рубит: „Абзац, абзац, абзац!“, и в прихожей сдают объявление, и технический секретарь бубнит, подсчитывая слова.

Темное небо время от времени освещалось багровым сполохом, таинственным светом...

Теперь остался только этот желтый сумрак, гудение улицы, дребезжание стекол. Господи, как же это все-таки случилось, что загнало тебя в эту камеру и от всего света, от всех, кого ты любил и кто тебя любил, в последний срок остался только этот Свизляк, верблюд, и еще Голубев-Монаткин с головой дыни, и эта адская курчавая семья, и дворник Овидий с бельмом на глазу.

Глава шестая

Я лежал на кровати, и упорно казалось, что все это не со мной, а с кем-то другим. Я опять отделился от самого себя и стоял где-то в стороне и наблюдал за тем, кто был я, как он лежит на кровати, в этой комнате, сотрясающейся от гула и грохота движения, и ждет, ждет, что за ним придут, и даже когда того заберут и поведут, я, тот, который наблюдаю, буду цел и буду только следить за тем, которого повели.

И все время казалось, что кто-то подслушивает у дверей. Я встал, тихо подошел к двери, осторожно снял крючок и со всей силой бешено ударил в дверь. Она раскрылась и хлопнула, как выстрел, но в коридоре никого не было. Я снова лег на кровать, и снова казалось, что кто-то подслушивает.

Я чувствовал, как текло, проходило, двигалось само время, словно заработал будильник, отсчитывая секунды, или это стучало сердце.

Я услышал потерянное время, те тысячи дней, тысячи, тысячи часов и минут, которые текли, сыпались, как песок в песочных часах, медленно, но неумолимо, бес-

прерывно, и продолжают сыпаться, и придет день, и все пересыплется до последней песчинки.

Я лежал на чужом матраце, из которого еще при жизни старого владельца вылезли со всех сторон пружины, и думал о своей жизни и о том, как неудачно все сложилось именно у меня, а может, это так со всеми, но только каждый думает, что это только с ним.

И все ищешь ошибки в жизни, где и когда именно ты сам допустил ошибку. Делаешь расчет, как бы все могло сложиться, если бы вот тогда-то и тогда-то поступил бы иначе и поехал не туда, куда поехал, а совсем в другое место, если бы в самом начале жизни на твоём пути встретился человек, который все знает, и в самом начале пути научил тебя закалке и читать лучшие книги, и дорожить временем, и не терять на чепуху, на безделье, на бедлам ни минуты, и ценить то, что действительно ценно, этот мифический, небывалый, добрый и великий человек, учитель, который на самом деле никогда и никому в жизни еще не попадался, и каждый доходил до всего сам, и делал все ошибки, и к концу понимал, что профорсил или промотал жизнь.

А может, на самом деле ты совсем не виноват, и как бы ты сам ни распорядился, все равно лежал бы вот так, уткнувшись в подушку и безвольно думая о своей жизни, когда вся жизнь кажется цепью сплошных ошибок, и неудач, и несуразностей, и унижений.

Зазвонил телефон.

— Здравствуй, малыш, какие у тебя планы на вечер?

— Не знаю, — сказал я.

— А кто знает? — спросила она.

— Во всяком случае, не я.

— Дорогой мой, я вижу, вы не в настроении, примите какое-нибудь лекарство, отдохните, я вам через два часа позвоню.

И частые гудки отбоя.

Теперь я стал думать о девушках, которые у меня были.

Душный, черный вечер, какие только бывают на Апшероне, и была кривая, узкая, как ручеек, раскаленная дневным солнцем, иссушенная нордом азиатская улочка, тупик, который никуда не вел, и он так и назывался Глухой переулок.

Окно этой узкой, каменной, темной комнаты было настежь открыто, но это все равно, что оно было открыто в накаленную печь, в которой пекли чурек.

И на той стороне глухого переулочка окно тоже было открыто и одуряюще пахло жареным луком и сладкими вафлями. И совсем рядом, как в зеркале, мелькали бесстыжие тени в длинных рубахах, и тайная жизнь дома словно была выворочена наизнанку.

Она была низкого росточка, веселая, румяная, пышная. Мы с ней только днем познакомились в чахлом скверике на парапете. Она была замужем. Я был грустный, прыщавый юнец, в расхристанном апаше и галифе, заправленных в брезентовые сапоги. Вдруг она подняла руки, и обняла меня за шею, и поцеловала сладкими, липкими губами, и почти неслышным шепотом, почти одним дыханием, сказала наяву слово: „Хочешь?“ — как осколочная бомба, контузившее меня.

И острое, глубокое, всеобъемлющее, почти болезненное, почти обморочное содрогание, и это было бесконечное и навсегда.

И подушки лежали на полу, и простыни были влажные от пота, и никелированная чужая ветхая семейная кровать скрипела и визжала, и чужое зеркало мутно отражало две тени.

И это было только начало, самое раннее начало тех мук, и радостей, и опустошающей печали...

Я потерял ощущение времени. Зимний день тянулся бесконечно. Я засыпал, и мне что-то снилось, может, я стонал во сне, я, наверно, стонал, потому что каждый раз, просыпаясь, как бы слышал оттуда, из той неведомой потерянной страны, что-то вроде эха только раздав-

шегоса стона. И за окном было серо, зимне, я прислушивался и вспоминал, где я...

...Сквозь грохот улицы, дребезжание стекол, привычные знакомые шумы квартиры, гудение водопроводных труб, хлопанье дверей я вдруг уловил шаги, скрипящие, осторожные, шаги в маленьком коридорчике в направлении комнаты. Значит, вот как это бывает — тихо, просто, грубо, и нет спасения.

Я не слышал, как они открыли дверь. Они появились в комнате неслышно и неожиданно, из стены.

Я лежу на постели, а они стоят надо мной: сухие, поджарые, почему-то в зеленых пограничных фуражках, и я говорю им не голосом, не звуком, а мыслью говорю: „Так вот как это бывает“. А они молчат, они ждут... Один из них вежливо взглянул на меня и усмехнулся.

Я уже понимаю, что это сон. И, как бывает в повторяющемся сне, который давно и долго мучает тебя, молишь, чтобы это на самом деле был сон, и на этот раз сон, и все кончилось бы благополучно. И тут, в тот час же я узнал, что это снова игра сна.

Я перехожу из круга в круг.

Я приезжаю на извозчике на вокзал, знакомый старый желто-кирпичный вокзал — „первый класс“, „второй класс“ и черная багажная касса, и почему-то одновременно он новый, современный, из бетона и стекла с цветными витражами. И пахнет в нем уютно, самоваром, дубовыми скамьями, грузовыми дубликатами, детством, и тут же деловая, в лозунгах наглядной агитации комната партбюро, и там почему-то сидит школьный товарищ, по-детски круглолицый, но в ополченской темно-серой гимнастерке с узким пояском и серых обмотках. А я в длинной, до пят, юношеской кавалерийской шинели, и мы оба идем рядом, рассуждаем о теории отражения и ищем извозчика.

А потом я стоял у стола президиума, покрытого красным кумачом, с зеленоватым графином воды, и меня прорабатывали. Помещение было знакомое. Высокая, обшитая деревянными панелями зала, с галереями и резными потолочными балками. И тот горбатенький, с

красными глазами кролика, все время кукарекающим голосом задавал один и тот же вопрос: „А сигналы были?“

Я вижу новый, светлый дом с большими окнами и заколоченной еще со времен погрома парадной дверью, перевезенный в иные края, куда-то на берег южного моря, и живут в нем отец и мать, одни, на чужой улице, на незнакомом, чужом берегу. Давнишний, милый, родной, до конца дней моих родной дом, с теми же памятными комнатами — вот комната с красно-бурдовыми стенами, и голубая детская с лилиями на стенах, и светлая, желтая столовая, и веранда, и гулкая новая лестница на чердак, и каменная холодная лестница в погреб. Только дом вдруг стал как-то меньше, будто ушел наполовину в землю, старенький, глиняный, облупившийся, с оголенной дранкой.

Глаза того, который пришел, проступили сквозь туман, сквозь мглу сна, бесконечно чуждые, твердые, спокойные, стальные, внимательные. И лицо его, острое, как нож, безжалостное, не понимающее, что такое снисхождение.

И тогда тот, кто был я, сказал, может быть, не словами, а мыслью: вы можете изнурить мою душу страхом, чувством вины, не понятой и не осознанной из-за каждого сказанного и даже не сказанного слова, поступка, мысли, взгляда. Этого вы, наверно, добились, и вы это знаете, и учитываете, но превратить меня в подлизу, в подлеца нет у вас сил, и вы это тоже знаете и учитываете.

И в это время я увидел его глазами самого себя, жалкого, сонного, беспомощного, на матрасе с выскочившей пружиной, на нечистой, замусоленной наволочке. Так вот как это бывает, опять подумал я, и в то же время хрипло и глухо спросил: „В чем дело?“ — и проснулся.

И, как всегда после дневного сна, некоторое время я лежал ошеломленный, невесомый, не чувствуя времени, не понимая и не ощущая, где я, кто я, что я, и какой это

город, и какой год, будто только родился, будто лежал распростертый, распятый, будто поднялся из гроба.

Лишь постепенно сквозь ошеломленность и неведомость приходило чувство реальности и тяжести бытия, и впереди, как ветерок, бежало ощущение случившегося несчастья, только ощущение, намек, пока наконец земное притяжение не навалилось на меня удушьем. И я сразу вспомнил все.

Первое, что я услышал после оглушения сном и забытием, было радио. Оно привычно бубнило там у себя за стеной знакомым, перегорелым, безучастным голосом. И не хотелось, и незачем было вслушиваться в слова, те же, что и вчера, и позавчера, и в прошлом году, ничего не значащие, слова-вата, слова-пустышки, слова — горох об стену.

Постепенно начинало казаться, что произносит их и не человек. В голосе не было ни интонации, ни характера говорящего. Казалось, что это кукует раз и навсегда заведенная черная тарелка репродуктора, все равно, слушают ее или не слушают, и никогда она не замолчит, и так будет всегда, всю жизнь. И казалось, если даже все умрут, она будет все так же ровно, спокойно, чисто и невозмутимо вещать, и недоумение и бессилие медленно овладевали мною.

И тут вдруг я понял ясно то, что уже давно подспудно чувствовал, ощущал, душевно знал. Не надо было начинать все это тогда, давно, еще в мальчишеские юные годы, не надо было входить в этот круговорот, ввинчиваться в эту воронку, в эту пустомельную мельницу, сидеть на собраниях и обмирать от страха, иссушать нервы страхом и непонятой виной, а надо было с самого начала заниматься только своим делом, с самого начала читать, читать и читать, и наблюдать, наблюдать, и работать, только это и делать, читать, наблюдать и работать, и жить всюю, жить той ежеминутной, ежесекундной жизнью, которую я презирал, третирил, легкомысленно пропускал, надеясь все на будущее, на завтра и послезавтра, оставляя все на потом, и опомнился, когда уже не было этого потом, когда тот, кто дал эту един-

ственную жизнь, уже разверз уста, чтобы сказать: „Пардон, хана!“

Припоминая подробности только приснившегося сна, я не то что подумал, а скорее ощутил: а не есть ли вся жизнь сон, своеобразный вид сна? Ведь все, что было, что, казалось, было, и тот, как бы из другой жизни, дом, с широкими, светлыми, ярко промытыми окнами, и сад с тихими, заросшими подорожником тропинками, и школа там, на Замковой улице, двор, заросший мягкой травой, просторный для игры, и учителя, имена которых вдруг так ясно всплыли, будто черным отпечатались на стене: Дмитрий Семенович — учитель истории, которого звали Свечкой, и Аделаида Степановна — учительница ручного труда, с громадным, как сак, ридикюлем, по кличке Танк. Бывало, когда на уроке очень шумели и не хотели ее слушать, она раскрывала свой ридикюль, вытаскивала клубок шерсти и длинные, сверкающие вязальные спицы и предоставляла классу делать все, что он хочет. И мальчики, сидя верхом на партах, свистели в карандаши, гребенки, надували резиновые „уйди-уйди“, вскакивали на парты, изображая рыцарей, трубочистов, черта, Наполеона, все, что им вздумается, а Аделаида Степановна проворно вязала капор, ничего не слыша и не видя. Ведь ничего, ничего от всего этого не осталось. Нельзя даже доказать, что это было. Чем же все это отличается от сна? Такое же хрупкое, недолговечное, призрачное, такое же ускользающее, умершее. И может, этот серый, тусклый, больной день и этот, в жалкой котиковой шапке у ворот, — тот же сон, и это все пройдет, не оставив после себя ни пепла.

Ах, если бы те, которые так в жизни суетятся, так волнуются и, отталкивая всех, ступая по живым и мертвым, пропихиваются вперед, если бы они только на одну минуту представили себе эту, ими так ценимую, так яростно лично любимую жизнь как призрачный сон, может быть, они бы задумались? Может быть, и они стали бы тише, кротче, не так бы толкались, не пихали бы других, не прыгали бы на ходу в вагон или хотя бы перестали цапать.

Все чаще и чаще жизнь странно казалась сном. Вдруг чувствую, уже был этот день, тот же зимний свет и дальние в снежной глуши голоса, и в какой-то отстраненности прошедшая вся жизнь кажется волшебными картинками, зыбкими и несуществующими. И, может, еще раз эти картинки покажут, когда уже никого не будет в живых это помнящих, даже память о них развеется в звездную пыль, в другое миллионлетие, или, может быть, даже на другой планете, будет точно такой же, как ты, мальчик, с таким же лицом и характером, все повторится, те же радости, и обиды, и ошибки, и пороки, и угрызения совести, и все это на самом деле будет только отражением где-то, может быть, существующего, вечного и непреходящего, мелькающая тень, не стоящая волнений и переживаний.

В дверь постучались, а может быть, даже и не постучались, может быть, это мне только показалось, нет, кто-то тихо, робко скребется в дверь.

— Кто там? — вскрикнул я.

— Открой, ну что тебе, жалко, — заскулили за дверью.

В коридорчике стоял и улыбался худющий, почти плоский, словно вырезанный из фанеры подросток в полосатой пижаме и черных нитяных перчатках. Это был сосед Паша, перчатки он носил, чтобы не приставали бактерии, и никогда, даже во сне, их не снимал.

Вся квартира считала Пашу малахольным. Никто не знал его мальчиком, не видел, как он пулял из рогатки по воробьям или пинал футбольный мяч, целясь в окна, как в ворота, не видел учеником, бегающим с портфелем в школу. Паша переехал сюда таким же длинноногим подростком, со своей вечной, непонятной малахольной полуулыбкой на устах, то ли он смеялся над вами или, наоборот, над самим собой, а может, над всем светом в целом. Весь день Паша в пижаме и черных нитяных перчатках читал старые книги в кожаных переплетах, у него был целый сундук таких книг, или сам с собой играл в шахматы, вслух комментируя ходы обеих сторон:

„А вот я хлопну ладью!“ „Не торопитесь, она вот куда пойдет, каково теперь вашему фёрзю“, — и хихикал, а ночью приходил и говорил: „Подвинься, я накормлю мышей“. И я стоял босиком, пока он отодвигал кровать и каким-то особым, тихим, ласковым свистом вызывал мышей, и после я уже не мог уснуть и слушал, как питались мыши, они шуршали, как черви в шелковичных листьях.

— Скажи, пожалуйста, есть у тебя промокашка? — спросил Паша.

— Нет у меня промокашки.

— Ну, тогда дай мне четыре наперстка хлеба.

Он малахольно взглянул на меня.

— Нет? Ну тогда одолжи до вечера электрическую лампочку. — Он странно улыбнулся.

И вдруг мне показалось, что он знает такое, о чем никто, кроме него, и не догадывается. И мне стало жутко оставаться наедине с его полуулыбкой-полугримасой.

— Иди, иди, Паша, ничего у меня нет.

— Ну, тогда дай звякну.

Не снимая черной перчатки, он осторожно, и внимательно, и чудовищно медленно, словно ему не только надо было вспомнить цифру, но и сложить ее с предыдущей и последующей в одну сумму и что-то из нее еще вычесть, набирал номер, и когда ответили, сказал:

— Это я, гы-ы...

Значит, в этом огромном миллионном городе была одна душа, которая интересовалась Пашей, кому-то же он посылал свой импульс, кто-то же слушал его „гы-ы“.

— Как цивилизация? — спросил Паша, и лицо его сделалось сосредоточенным и внимательным.

Что-то там ответили, Паша слушал, а потом сказал:

— Деградация населения города Москвы, ну, лады! Гы-ы... — И положил трубку.

Айсоры влетели без стука, с криком „Извиняюсь!“ и сразу кинулись к телефону, словно вызывать „скорую помощь“. Но, прикоснувшись к телефону, как символу

цивилизации и высокого мира, сразу успокоились и серьезно сказали:

— Надо!

И, набрав номер, вырывая друг у друга трубку, запустили пулеметную ленту из невообразимого хаоса непонятных халдейских слов, похожих на осколки, на ошметки некогда жившего, разрушенного и погибшего, похороненного под пылью веков языка, и из этого потока все время вырывалось: „участковый“, „шашнадцать“.

Я оглох от их крика и возбуждения. И когда они ушли, мне показалось: я перенес приступ истерии.

Глава седьмая

Затухающий свет зимнего дня медленно, как сквозь сито, педился в заляпанное грязью проезжавших машин, да к тому же еще промерзшее окно.

Мой не отходил от ворот. Он вынул из кармана какие-то бумажки, были ли то почтовые квитанции, или, может, какие-то случайные телефоны, или бумажки, в которые завернуты были бутерброды, или купленный по дороге казнак. Он бумажки это просмотрел, некоторые разорвал, некоторые скомкал, и пошел, и бросил в урну, а одну бумажку аккуратно сложил, спрятал во внутренний карман и застегнул на пуговку. Наконец он вывернул желтую подкладку кармана, вытрусил и снова привел в порядок, и какое-то время мирно стоял, поглядывая на наши окна, и даже пару раз зевнул.

Я продолжал его наблюдать.

Вот он повернул руку, посмотрел на часы, приложил часы к уху, послушал и медленно стал заводить, обнаруживая спокойный, несуетливый характер. Я даже издали мог посчитать, что он прокрутил тринадцать раз. Закончив завод, он снова послушал часы и на некоторое время успокоился.

Неожиданно он отклеился от ворот, оглянулся и быстрым, энергичным шагом дошел до угла и таким же бы-

стрым шагом вернулся к воротам, и снова до угла, и назад, и опять неподвижно стал у ворот, слился с грубым суриком. Была ли это физкультминутка, или почему-то надо было ему выяснить обстановку и обследовать окрестности, или просто затекли ноги, замерз, бедолага, в своем фальшивом, негреющем котике у чужих ворот.

Теперь он очень внимательно смотрел на свои боты. Сначала он изучал правую боту, а потом левую, потом поставил их рядом и окинул общим взглядом. Может, неудобно, неуютно, тесно в новых казенных ботах? Ведь там, в том хозотделе или магазине, где он их получал, не особенно придирчиво примеривают. Или, может, он натер ногу, или ему вдруг просто захотелось пошевелить пальцами, и вот он в это время как раз исполняет ритуал, это действие наслаждения, и прислушивается к нему, и получает спокойное удовольствие.

Вот он снял перчатки и подул на пальцы, и затем, заложив руки в рукава, согревал их собственным телом, и так стоял долго, не шевелясь, весь уйдя в свое тепло.

Я выглянул на черную лестницу. Было тихо, холодно, накурено.

На средней площадке стояли два подростка в кепочках-бескозырках, пыхтели сигаретками и молчали.

— Сколько сейчас, три? — спросил один.

— Три, — ответил второй.

— У, твою мать, — откликнулся первый.

И опять была тишина.

Я снова лег на кровать. И все видел наяву.

Как позвонят длинным-предлинным звонком, и как все спят, один я не сплю и знаю, что это за мной. Звонок повторяется, а я медлю, не пойду, ни за что не пойду. И уже беспрерывный звонок, словно у дверей остановился трамвай и его не пускают, и тогда хлопанье дверей по всему коридору, шарканье, шлепанье ночных туфель, шепот, потом звон цепочки, открываются входные двери, и я, кажется, слышу ветер с лестницы, и чужой громкий, призывающий голос: „Идите к себе в комнату“, и потом тишина, тогда я слышу стук собственного сердца, и

ясные приближающиеся шаги, и голос Овидия: „Тут!“ — и громкий тройной стук в дверь.

Или просто заберут с улицы, вдруг, посреди солнечного дня, в праздник, подъедут впритык к тротуару, и из машины приветственным голосом окликнут по имени и отчеству и по-приятельски пригласят сесть для разговора, и увезут туда, где со звоном раскрываются железные ворота. Или заберут из театра, во время антракта. И так бывало. Подойдут вдруг, возьмут под локоток, по-приятельски, с улыбкой, и поведут для выяснения некоторых обстоятельств в дирекцию, и через час „Спящая красавица“ кажется сказкой, виденной в далеком детстве. Или снимут с поезда, это они особенно любили, гордились своей выдумкой. Казалось, можно было взять на вокзале, когда шел по перрону. Еще в Москве. Нет, дадут сесть в поезд, уложить вещи в сетку, проехать несколько станций, спокойно выпить проводницкий чай с железнодорожными каменными сухарями, лечь в казенную, холодную, накрахмаленную постель, вздремнуть под ход поезда и в середине ночи вдруг постучат ключом в дверь: „Откройте, контроль“. А контроль, вот он, выглядывает из-за спины проводника в фуражке с синими кантами, войдет в купе: „Паспорт, фамилия, имя, одевайтесь“. А поезд уже замедляет ход, и на глухой, темной, безвестной станции, с одиноким фонарем, освещающим золоченую статую Сталина в вокзальном сквере, поведут куда-то вдаль под дождем на запасные пути.

Зачем это им нужно было, именно так? Но раз делают, зачем-то им нужно. Не для шика.

Ведь все ты это уже хорошо знал. Сколько раз слышал в разных вариантах. И это было сначала со старшими, которые вводили тебя в жизнь, учили тебя работать, защищали, когда нападали на тебя на собрания, а потом рекомендовали в партию, выступали за тебя на чистке, сначала это было с ними, а потом и с твоими сверстниками, с которыми ты сидел на одной парте, с которыми ходил на стрельбище в летнем лагере территориальных войск, с которыми выпивали на вечеринках. И ты все это уже видел своими глазами. Но на этот раз это с тобой, с

тобой, в единственной твоей жизни, у тебя другой не будет.

В сущности, если подумать, чувство страха было главным, преобладающим во всей твоей жизни. Его было гораздо больше, чем всего остального, вместе взятого, — гнева, печали, радости, — чувство страха и тоски — вот что определило твою жизнь, окрасило ее в свой серый цвет.

Каждый делал вид, что лично его это не касается. И не только на людях, а наедине с собой, даже ночью, когда просыпался и думал о своей жизни, и о жизни других, и вообще о жизни. Так было легче и проще отогнать от себя страшные мысли, заморозить, забить свою совесть, отогнать, оттолкнуть неминуемое от себя, притворившись, искренне веря, что это тебя не касается. За что? И действительно, не было за что. Но какое это имело значение? Никакого не имело. Никому это еще не помогало. Так до поры до времени, обманывая самих себя, жили в мираже, в зеркальном отражении.

Все еще не ты. И значит, еще пропасть, как от жизни до смерти.

Поезд остановился в открытом поле, и оно показалось чужим и каким-то растерянным. Не было ни знакомого желто-кирпичного вокзала моего детства с залами первого и второго класса и большим колоколом, ни круглой водокачки, ни длинных темных пакгаузов, ни даже перрона. Все было разрушено войной. И стояла только на запасных, ржавых, заросших травой путях красная теплушка, над которой торчал одинокий флагшток.

Теперь на этом вокзале никого не встречали, и не было даже ни одного извозчика, пассажиры прямо из вагонов темной толпой хлынули через пути и поспешно, будто боялись остаться на разоренном вокзале, разбежались во все стороны, и стало пусто и одиноко, лишь ветер шумел в станционных тополях. И я долго стоял и слушал их, внимал их шуму, и, казалось, они узнали меня и рассказывают обо всем, что видели и слышали.

И лежали длинные, пустые, беззвучные улицы, так же вился хмель по заборам и плетням, так же цвели подсолнухи и глядели из палисадников анютины глазки. И казалось, не было во всем этом жизни, или это я уже тут был чужой.

В центре города вырос бурьян, и радио орало над пустырями. Весь город шел по разоренным улицам с тупками на пригородные огороды.

Гостиница была какой-то взъерошенной, неупорядоченной, с запахом солдатского постоя, бензина, железа. В номерах стояли койки, застеленные серыми грубыми одеялами и подушками без наволочек, но с большими комендантскими печатями. И директор, и завхоз, и слесарь — все были в кирзовых сапогах и военных гимнастерках.

Я пошел по городу. В церкви была школа юных спортсменов.

В булочных не было хлеба.

На базаре продавали жевательную резинку, Евангелия, испанские сигареты „Монте-Карло“ и польские „Грюнвальд“.

Я узнал только одного человека, который продавал самодельные свистульки, все остальные были чужие.

Некогда просторная, знойная, пыльная площадь Свободы, площадь манифестаций, теперь заросшая кустарником и молодыми деревьями, полна была непонятого, сидящего на траве разношерстного люда.

Сначала я подумал, что тут допризывный пункт и все эти пожилые женщины и старики провожают молодых солдат. Но какой-то угнетенный, сдержанный, тоскливый гул стоял над этой расположившейся на площади странной, темной толпой. Может быть, это были заключенные, но к ним почти свободно проходили из-за ограды, передавали узелки, переговаривались. Вербованные? Но зачем, при чем тут вооруженная охрана?

И вот сразу одновременно в разных местах, на разные голоса повелительно, грозно, просяще:

— Становись!

Люди нехотя, лениво поднимались, скапливались как-то по-семейному, самовольно, разгильдяйски в странную колонну, вольную и не вольную.

— Живо! Шевелись!

Тот, кто поднимался с земли и становился в колонну, и тот, кто поднимал их, в порыжелых пилотках с винтовками, были на одно лицо, так похожи друг на друга, что казались из одной семьи.

— Тунеядцы, не хотели работать.

— А сколько им давали на трудовень?

— Палочку, и все.

Это было так нарочно, нелепо и нежизненно, что скорее было похоже на киносъемку дурного фильма.

Когда площадь Свободы опустела и остались на ней клочки газет, какие-то жалкие тряпки, мешковина, чей-то брошенный ватник, я прошел к серому, одинокому камню братской могилы, где старая надпись „Геройски павшим от руки бандитов в 1920 году за святое дело коммунизма“ была замазана, и на проступавших старых словах была нанесена свежая, более спокойная и, казалось, более подходившая к новому моменту: „Имя ваше сохранится в истории Великой пролетарской революции“.

Густая колонна, затопившая старую Киевскую улицу, медленно передвигалась, серая, арестованная, а по сторонам, прижимаясь к стенам домов, и сзади, и спереди, отгоняемые конвойными, шли родственники: жена, если муж был в колонне, и муж, если жена была там, сын или дочь, если отец или мать были в той колонне, или мать и отец, если сын или дочь уходили колонной.

И все это перскликалось, переговаривалось, гудело о своих делах и заботах, посылало приветы, жалело о разлуке, сообщало новости и кричало последние слова. И на все это глядели из окон, из подворотен, домов и учреждений. Сопровождавшие то перегоняли колонну, чтобы посмотреть в лицо идущим и что-то крикнуть им, или отставали и плелись сзади, и тогда тот, кто был в колонне, оглядывался, тут ли они еще. Кто-то неожиданно за-

бегал прямо в колонну, что-то передавал, что-то быстро говорил, целовался и под крик конвойного выбегал на тротуар.

Колонна медленно, тяжело двигалась по улице, мимо разрушенных домов, мимо пепелищ, поваленных, заросших бурьяном заборов.

Ветер гнал шуршащий, вянувший цвет акаций, ветер сбивал у пепелищ в серые, грязные, ватные кучи некогда пышные, роскошные молодые цветы, соперничающие со звездами. И душа моя настраивалась на этот лад, и было тоскливо, и казалось, все кончено в этом мире навсегда, с этим и всеми грядущими поколениями.

Долго я шел за этой нестройной, разношерстной колонной, спотыкаясь о булыжники, мимо школы, в которой учился, мимо типографии, где состоял в пионеротряде, мимо знакомых крылечек, мимо пустыря, на котором играл в лапту и чехарду, по Курсовому полю, мимо кладбища, на котором лежали похороненные дед и бабушка, и вышел на железную дорогу, где на запасных товарных путях ждал длинный состав из красных теплушек, и конвойные стали загонять людей в вагоны. И когда исчез последний, я повернулся и пошел по Курсовому полю, мимо кладбища, длинной прямой улицей, по которой некогда шли в красных галстуках на первомайскую демонстрацию и пели: „Ай да, ребята, ай да, комсомольцы. Bravo, bravo, bravo, молодцы“.

Я пошел назад, и какая-то девица в платке все забегала вперед, заглядывая мне в лицо, потом отставала, а когда я останавливался и смотрел на знакомые домики, на косые окопki, иногда вытаскивая блокнот и записывая впечатления, то и она останавливалась и тоже смотрела на эти домики, а потом на меня, отдельно на блокнот, и как-то нервничала. Я уже хотел спросить ее, не узнала ли она меня, но вдруг она исчезла.

— Гражданин, на одну минуту, — сказал сзади голос.

Старший лейтенант и знакомая мне уже девица подошли ко мне.

— Он? — спросил старший лейтенант.

Девушка взглянула на меня своими странными, пронзительными сливовыми глазами.

— Порошкова, посмотрите внимательно, — сказал лейтенант.

У нее были глаза отравленной кошки.

— Он, гражданин начальник. Точно.

— Посмотрите хорошо, Порошкова, не ошибитесь.

На моих глазах разыгрывался самодеятельный спектакль. Эта неведомая мне Порошкова играла роль наседки. Она снова посмотрела на меня своими паническими глазами.

— Его я видела на базаре, его, — взвизгнула она.

— На каком базаре, в чем дело, ничего не понимаю, — сказал я.

— Вчера, на ярмарке, а? — и она неожиданно подмигнула мне.

В своем светлом чешском пыльнике и шляпе я вдруг почувствовал себя чужаком, шпионом, лазутчиком на этой пыльной, тихой, заброшенной улице, у трех тополей, под которыми я играл в „принца и нищего“, где еще, кажется, сохранился след моих босых ног.

— Так вот это мой дом, — сказал я.

— Вы тут живете?

— Жил.

— Когда жили?

— Давно.

— Документы.

— А в чем дело, что случилось?

— Что надо, то и случилось, — сказала Порошкова.

А лейтенантик был молодой, серолицый, с тревожными, безответственными глазами.

— Документы, документы, — проговорил он, не желая ничего слушать и объяснять.

— Что, у меня вид подозрительный? — спросил я.

Он и на это не ответил, продолжая изучать меня своими бдительными глазками.

Я подал ему свою командировку.

— Разверните, — сказал он, как будто боясь занять свои руки разворачиванием бумажек.

Я смотрю на молоденького лейтенанта, странное ощущение чуждости, враждебности приобретают эта гимнастерка и знакомые, родные тебе погоны, когда проверяют твои документы. А может быть, оттого, что вдруг это делают на мирной улице, несправедливо, не в положенном месте, не на КПП, а вот так, под солнцем дня, среди шумящей зелени июня, у родного крылечка, на порог которого я еще вползал на четвереньках, где столько раз плакал и кричал, где целовала меня мать и ремнем бил отец, где прочитал первую книгу и развернул первую газету.

Лейтенантик долго читал удостоверение, прочитал, взглянул на меня, как будто сверяя содержание бумаги с впечатлением от моего лица, потом еще два раза перечитал удостоверение, сложил его, но не отдал, а спрятал его в верхний карман своей гимнастерки и сказал:

— А блокнот где?

Я показал блокнот.

— Пройдемте.

Отравленные глаза Порошковой вдруг зацвели детской радостью.

— Куда пройдемте? — спросил я.

— Куда надо, туда и пройдемте, — сказала Порошкова.

— Порошкова, замолчите! — прикрикнул лейтенант.

Он обождал, пока я пройду вперед.

— Простите, товарищ, проверочка, — уже спокойно сказал он.

Прохожие останавливались и смотрели на нас.

За дверью кто-то шушукался. Потом хихикнули. Через некоторое время постучались. Все сегодня было как-то таинственно и странно, или это так всегда, и я только не замечал.

Я тихо подошел и приоткрыл дверь. Там стояли де-

вочка и мальчик в пионерских галстуках поверх шубенок, у них были панические лица.

— Дядя, у вас есть пузырьки? — звонко спросил мальчик.

— А зачем вам пузырьки?

— Мы соревнуемся, — гордо сказал мальчик.

— И еще газеты старые, книги ненужные, бумага, — зашептала девочка.

— Мы собираем утильсырье, — сообщил мальчик.

У обоих были испуганные и гордые лица.

Я вынес им большую кипу газет и журналов. Когда они сходили по лестнице, они смеялись.

— У, — сказала девочка, — теперь мы выйдем на первое место.

— Бенц Фраерману! — выкрикнул мальчик.

А у Монаткиных разгорался скандал.

— Кто ты есть? — кричала жена.

— Архив нечего поднимать, надо смотреть вперед, — отвечал Голубев-Монаткин.

— Куда вперед? Тебе шестьдесят лет, впереди — могила.

— Я из-за тебя остановился в своем развитии, — упрекал Голубев-Монаткин.

— Не маскируй своего хама. Я вот больна, у меня грипп.

Голубев-Монаткин захохотал:

— Грипп от мировоззрения, вирус врачи выдумали.

— Я за свою жизнь твою структуру трепача изучила, — грустно проговорила жена.

— Я с семнадцати лет Советскую власть завоевывал, вы еще не достойны меня.

Голубев-Монаткин хлопнул дверью и вышел в коридор.

Я сказал: „Здравствуйте“, — он на меня взглянул, пожевал губами и, усмехнувшись, не проронив ни одного слова, ушел своей крепенькой походкой, стуча по железным ступеням подковками белых бурок, высоко неся

свое строгое суровое лицо, понимающее свой партийный стаж и заслуги.

А жена на кухне говорила:

— Этот человек и был человеком, пока имел пост и ездил на машине. А когда лишился машины — перестал быть человеком. Сидит под фикусом, вспоминает гражданскую войну и все свои посты, а мне говорит — работай. А сам спит под газеткой.

Издали ярко освещенный изнутри мартен — словно воздушный замок, с тонкими пламенеющими трубами.

И когда по железной, гудящей от шагов и ветра лесенке подымаешься туда, на бетонную эстакаду, и через открытый, под звездным небом, скрапной двор с его печальным ржавым запахом железного лома, холодным, пропавшим и необратимым запахом коррозии самого времени, все превращающего в прах, выходишь в огромные, пылающие светом дворцовые пролеты мартена, охватывает сила жизни и надежды.

Люблю эту огненную бесконечность, эту вдаль уходящую анфиладу печей, в круглых окошках которых бушует и льется голубое, зеленое и оранжевое пламя. Люблю яркий и быстрый трепет все сменяющихся, переливающихся огней, игру света и тени, запах скрапа, кислородных баллонов, сухой, чистый запах шамота и динаса, горький запах магнезита, терпкий медный привкус молибдена и ванадия.

С трамвайным звоном ходит завалочная машина, грохоча, подходят цепные составы мульб с железным скрапом, и тогда могучая, неотвратимая рука завалочной машины мертвой железной хваткой берет мульду и, повернув, несет к открытой печи, откуда пышет белое, жадное, голодное пламя, и безжалостно сует в бушующий огонь, и стоят толчки землетрясения, печь взрывается бенгальским огнем, а сталевар спокойно с пульта управления просит: „Еще одну мульбочку“.

Свистит паровоз, требуя дорогу, и вдруг бьет тревожно колокол, мостовой кран опускает с потолка свой хо-

бот, поднимает огнедышащий ковш и осторожно, трепетно, почти с человеческой мудростью нагибает и терпеливо льет жидкий, в звездах, чугун в кипящую ванну печи.

Окинутый молниеносным светом сталевар длинной синей ложкой из сиреневого дыма достает голубое жидкое пламя...

А поздним вечером, в тот час, когда кончались собрания, всякие слеты, кружки и семинары, когда, наконец, гасли окна в редакции и в бараках, у крылечек тихо наигрывала гармонь, по закаменевшим, замерзшим колеям я пробирался за колючую проволоку в медгородок и в свете тусклых больничных фонарей, в холодном тамбуре барака, где устойчиво пахло дезинфекцией, жадно и поспешно целовался с медсестрой, выбежавшей в полушубке на белом халате, и, кажется, на губах и на одежде после этого оставался приторный запах лекарств.

Или вместе ходили в клуб имени Эйхе — длинный барак с фальшивыми колоннами. И когда однажды ночью, после вечера „Дня ударника“, он загорелся, то в один час сгорел с декорациями „Города ветров“ Киришона, мольбертами изокружка, и в головешках нашли только огнем искореженные и оплавленные трубы духового оркестра пожарной команды.

Я устал.

Я теперь готов был ко всему, готов был принять все без удивления, без ропота, разве только с одной болью и страхом, а может быть, не будет ни боли, ни страха.

Опять в грохот улицы, в сигналы, скрежет вплелся похоронный марш, прозвучал и исчез со скоростью звука.

Казалось, что больше никогда ничего не будет, вот все и кончится в этой мертвой, в этой сумеречной, желтой зимней мгле, когда стены глухо передают дальний, тошнотворный кухонный крик-перебранку и нагретый воздух застыл, окаменел.

Я тронул батарею парового отопления и тотчас же почувствовал духоту невыносимую.

Я влез на стол и открыл форточку. Я уверен был, что он знает мое окно и сейчас увидит, что я открываю форточку. Да черт с ним. В комнату ворвался ледяной ветер со снегом, и я вдыхал жадно, неутолимо. И постепенно мне как-то становилось легче, спокойнее, словно я пил силу, отчаяние. Черт с ним, черт с ним, черт с ним...

Я как-то осмелел, все показалось не таким мрачным, безнадежным и конченным.

И в это время резко, дико, как-то взвизгивающе зазвонил телефон. В жизни я не слышал такого тревожного, требовательного звонка.

— С вами сейчас будут разговаривать, — дотянулся откуда-то издали жалобный женский голос. И вслед за этим вдруг отбой, частые-частые гудки.

Теперь я стал раздумывать и мучиться, кто же это был, секретарша или телефонистка. Зачем, кому я нужен был? Кому понадобился, кто вспомнил обо мне в этот дикий, смутный день и час моей жизни? Или, может быть, в каких-то списках, где я еще состоял, против моей фамилии не было галочки? Надо было срочно поставить галочку. И снова я обмирал от страха и неизвестности. Пронзительно зазвенел телефон.

— Не отходите от трубочки, сейчас с вами будут разговаривать.

И вслед за этим далекий, милый голос Кати, она говорила из-за города.

— Это ты мне звонила несколько минут назад? — жадно спросил я. — Ты, да?

Я сразу как-то успокоился, сразу как-то включился в мир, где есть люди, есть сестры, братья, любимые, где столько голосов, шепотов, интонаций, где есть вопросы и ответы, достоинство, терпимость, уважение. Все это еще есть? Еще есть?

— Ты что, спал? — спросила она.

— Нет.

— А почему у тебя голос такой странный? Ты болен?

— Нет, не болен.

— Я голоса твоего не узнаю, это ты?

— Я, я.

— Ну, что такое с тобой, что стряслось?

Я молчал.

— Что ты молчишь? Что случилось?

Я как бы все время чувствовал в телефоне третьего человека, казалось, разобрал его дыхание, его внимание.

— Нет, ничего не случилось.

— Не нравится мне твое настроение. Я сейчас к тебе приеду.

— Не надо.

— Нет, я приеду.

— Я прощу тебя.

— Но мне нужно к тебе приехать, — сказала она.

— А в чем дело?

Теперь она молчала, и я спрашивал.

— Что случилось?

— Этот разговор не для телефона.

— У тебя что-то случилось? Да?

В ответ — ку-ку, ку-ку, ку-ку... И непонятно было, это она повесила трубку, или разъединил тот, третий, и стало еще тревожнее.

В последние дни какой-то снегирь, серенький, скромный, с бурой грудкой, повадился залетать в открытую форточку моей комнаты, и то сядет на вешалку в глубине комнаты, то на этажерку с книгами. Вдруг услышу трепет крыльев, и немо, удивленно снегирек глядит на меня, словно хочет что-то сказать, а я боюсь шевельнуться, напугать, чтобы не заметался, не разбился о каменные своды, только тихонько, дружески свистну, и он тут же вылетит в форточку и пропадет. А на следующий день опять трепст крыльев, живая дрожь, и снова глядит на меня удивленно-грустно и хочет что-то сказать. И так настойчиво, ежедневно прилетал, что стало думать, что это душа давно умершего, некогда любившего меня навещает меня, хочет о чем-то предупредить, но сегодня почему-то снегирька не было, и не было, и не было. И это тоже казалось плохим предзнаменованием.

Сначала я исчезну из домовой книги. Сам домоуправ, не доверяя девице-делопроизводителю или старику-бухгалтеру, молча перечеркнет меня крест-накрест и, усмехнувшись, забудет. Нет, не выбыл, не переехал на другую квартиру, в другой город и даже не умер, просто никогда не был, случайно затесался в домовую книгу.

А потом быстро, лихорадочно, таясь, вычеркнут из всех списков, где состоял и против фамилии аккуратно ставились галочки: членские взносы, нагрузка, собрания, семинар; где получал выговоры с занесением и без занесения в личное дело. Исчезнет и само личное дело.

И только, может, еще в библиотеке долго будет пылиться абонементная карточка, а потом и она исчезнет, навсегда забудут, исчезнут сведения, какие книги любил и читал, чем в жизни интересовался — неоромантизмом или нсорреализмом, а может, и соцреализмом. Еще некоторое время будут по адресу приходить письма, открытки и, может, даже и переводы, но, словно обжигаясь, беря кончиками пальцев, отнесут в домоуправление, чтобы следовали куда надлежит; а газеты и журналы до конца подписки разойдутся по квартире, и журналы „Огонек“ и „Техника молодежи“ еще долго будут мелькать в туалете.

Все это я ясно видел и постепенно к этому привыкал. Психика перестраивалась на ходу и не посягала на это.

Придут какие-то чужие, нездешние люди, повесят на двери большую и плоскую сургучную печать, и в запечатанной комнате будет звонить телефон, долго и надсадно звонить, и по ночам вдруг заплачет, заноеет, захрипит, как ангинозный больной, и ответит только запечатанная, необратимая тишина, которая известно что означает и которую все быстро поймут. Может, вдруг накатит длинный, ничего не знающий и не рассуждающий междугородный звонок, но и он останется без ответа. И постепенно реже и реже будет звонить, пока не затихнет, не оглохнет совсем. Разве прорвется какой-то шальной, быстрый звоночек по ошибке, или старый, еще

школьный товарищ или друг по войне, приехавший в Москву в командировку, ничего не ведая, позвонит.

Но скорее всего только повесят сургуч, и сразу же пойдут коллективные заявления перенести аппарат в коридор или на кухню, и можно будет днем и ночью слышать одно и то же: „Он тут больше не живет“, „Вам русским языком говорят, таких тут нет“. И это тоже известно, что означает, и не надо переводить.

Я видел все так ясно, будто все это уже случилось. Я видел жизнь после себя, вторую, третью и десятую серию, которую еще никто не снимал. Однажды утром или в полдень придут представители с портфелями, и с ними домоуправ, и дворник, и понятия, распахнут двери в затхлую комнату и долго и тщательно будут переписывать вещи, выкликая: „Кресло подержанное... матрац подержанный, лампочка электрическая 100 ватт“.

И это уже навсегда, необратимо, от этого нельзя отделаться, вылечиться, и из этого не выскочишь, тут даже нет надежды на рентген, на облучение, на то, что скоро что-то такое откроют, что-то такое сделают, нет никаких упований на знаменитого профессора, на знахаря, на шамана.

Он ждет меня там, под окном, и мне кажется, я вижу тень его на стене.

Тренькнул телефон, и я сразу схватил трубку, словно она могла меня спасти, могла помочь выплыть.

— Говорит Алла из парткома, вам известно, что вы агитатор?

— Да, да, я знаю, обязательно, я болен, я сегодня болен, завтра приду, обязательно приду, конечно, Алла, что я, не понимаю?

А день все длился и почему-то не кончался, глядя в окна желтизной вечеряющих облаков. А потом зимние сумерки, как чернила, пролились по небу и сгустились во мглу, и воспаленно засветились фары. Улица то заполнялась потоком машин, которые обгоняли друг друга, шли грохочущей железной лавиной, то вдруг сразу, точно обрубали топором, пустела, и тогда стано-

вилось так тихо, что слышно было, как на кухне стучат ножами, отбивая котлеты, потом, как приближающийся водопад, железный грохот, и снова улица до краев наполнялась машинами, которые подступали к самым окнам, и всегда среди них была хоть одна похоронная, с черным крепом по бокам.

Глава восьмая

За окном что-то вспыхнуло и вздрогнуло, зеленоватый туман поплыл мимо, будто затяжная немецкая ракетка, и в комнате стало светло и мертво.

Зажглись фонари.

Я оделся и вышел на кухню. Теперь она была полна, были тут и те, кто всегда дома, всегда у кастрюль, у крыт, и те, кто только пришел с работы и сразу же стал чистить картошку, разделявать рыбу, лепить котлеты.

Женщины яростно накачивали примусы, так же яростно, словно боролись с духами, регулировали пламя керосинок, и то копоть поднималась к потолку, то сокращалась и умирала в буром огоньке, а кто-то из мужчин самозабвенно возился над прибором, похожим на паровоз Уатта. И стояла та напряженная мелочная типина, которая от одного слова могла взорваться, как динамит, и перейти в потасовку, в пожар или донос с далеко идущими последствиями.

Я стал закрывать дверь, не оглядываясь, и почувствовал, как все притаились, только шумели примуса и шипели котлеты на сковородках. Казалось, все уже знали, в чем дело, и казалось, пространство вокруг раздалось и оставило меня в заколдованном круге. Не оглядываясь, я вышел, и хлопнул кухонной дверью, и услышал в спину:

— Чтобы по голове тебя так хлопало.

На средней площадке стояли те же два парнишечки, пыхтели сигаретами, отплеивались.

— Пять будет? — спросил один.

— Пять будет, — сказал второй.

— У, твою мать, — откликнулся первый.

И опять тишина.

Я спустился по черной железной лестнице, замызанной картофельной шелухой, блевотиной, грязным снегом, и толкнул тяжелую наружную дверь. И сразу же мелькнул черный котик, и, как вспышка, близко, до ослепления, его бледное, замученное беспокойством пухлое лицо, пронзительные глаза и мокрые от снега ресницы.

Мне показалось, что от неожиданности он хотел сказать: „Здрасьте“, но передумал, и неловко, как раненый кролик, прыгнул в сторону, и заметался. Мне стало его жалко, хотелось сказать: „Ничего-ничего“. Я прошел мимо, не обращая внимания.

Дворовая собака, неизвестно у кого жившая, которую все кормили и все пинали, стояла посреди двора на кривых лапах, и, когда я проходил мимо, подняла голову и взглянула на меня свободным взглядом. „Нет, ты еще ничего не знаешь“, — беззвучно сказал я ей. Она побежала за мной, я оглянулся, и что-то, наверно, было в моем взгляде такое, что она остановилась: „Что такое?“ — и не пошла дальше.

Интересно, как он узнал, что я именно в этом подъезде, ведь, когда я входил во двор, он торчал на той стороне улицы. Может, уже был в домоуправлении, разузнавал и нашел по словесному портрету.

В полуподвальное окно ремесленного училища было видно, как при электрическом свете играли в пинг-понг и двое с ракетками, как кошки, прыгали вокруг стола, и все это было из другой, забытой, отошедшей от меня жизни, словно из давно виденного фильма. И по экрану этого фильма проплыли вахтер в ушанке, громадная полуразрушенная снежная баба с угольными глазами, женщина, развешивавшая белье на ветру, она поздоровалась со мной и, когда я не ответил, странно взглянула на меня. Из подъезда научно-исследовательского института вышла озабоченная, с портфелями, комиссия, под аркой почтальонша порылась в сумке и дала мне письмо

в зеленом официальном конверте, и, не вскрывая, я сунул его в карман.

Я прошел под старыми, грязными, забитыми фанерой, заткнутыми подушками кухонными окнами, по темному стоптанному снегу и, огибая белый снежный скверик с чахлою елкой, вышел не к воротам, а под кирпичную арку во внутренний двор. Тут стоял непонятный, серый, потемневший от снега, дождей и ветров бетонный или гипсовый монумент, уже нельзя было разобрать и черт лица, замысел фантазии скульптора. Говорили — это Орджоникидзе, но иногда казалось, это сам Сталин стоит, заложив руку за борт шинели, а иногда казалось — это просто символ. Монумент выставили с какой-то площади по реконструкции, потому что незачем ему было тут стоять, на заднем дворе, рядом с железными мусорными урнами.

Здоровые рослые бугаи с пробивающимися усиками, в черных форменных фуражках ремесленников, нелепо визжа, и смеясь, и гоняясь друг за другом, играли в какую-то ребячливую игру, напоминая сирот из приюта. И как некогда в давние годы, я позавидовал им, почему я не сирота, не безродный, тогда бы мне было все нипочем и все равно.

Я прошел мимо столовой, из которой, как из бани, вырывались клубы пара с запахом трески и кислых щей. В окна видны были буфет и бочка пива, из которой насосом качали пивную пену, и высокие толстые кружки, и голые, без скатерти столики, за которыми по шестеро — восьмеро сидели ученики-ремесленники, наворачивая оловянными ложками картофельное пюре или манную кашу и заливая из щербатых стаканов киселем. Я кружил, как во сне, проходными дворами. Появились открытые ворота, и поплыла улица. Я шел, не оглядываясь, и чувствовал, что он идет за мной.

Интересно, что он уже знает про меня? Что наговорили ему и что он должен донести?

Я встал в очередь на троллейбусной остановке. Подошел троллейбус, все сели. Я остался. Троллейбус тронулся, и я пошел дальше, не оглядываясь, и в глаза все лез неоновый лозунг на крыше.

Все люди были как люди, они перебежали улицу, проносились в машинах, и я видел их лица, все куда-то спешили, кто-то их ждал там, в конце пути, а я уже никогда не буду таким.

Я шел и все время чувствовал себя на поводке.

У Гастронома я остановился, что-то поразило меня. В магазин люди забегали странно и суетливо, как в старом немом кино с участием Макса Линдера, и так же дергаясь, молниеносно выбегали оттуда, словно там выдавали что-то несбыточное. Я пригляделся. Над дверью в люльке висел маляр и орудовал кистью, и все старались проскочить мимо.

Я тоже вбежал в переполненный Гастроном, в душную толчею и шум. Кто-то шел сквозь толпу с зеленым шаром на нитке под самым потолком. Люди перли с тяжелыми, полными апельсинов и консервных банок авоськами, напролом, с лицами решительными, пробиваясь к прилавкам.

Я миновал маленькие завихрения, маленькие вулканические кратеры у касс и протиснулся сквозь толпу к розничной продаже водки и папирос, и меня зажало со всех сторон, задушило винным перегаром. На прилавке стояла батарея пустых бутылок, и продавец и покупатель наперебой считали, мешая друг другу, путались, начинали сначала, а из толпы кричали: „Кончай базар!“ Котиковой шапки не было видно, так что я немного отдохнул в толпе и стал постепенно выбираться. И когда наконец толпа меня выдавила и я оказался на просторе, я боялся посмотреть в ту сторону, где мраморная колонна, я чувствовал что-то неладное, но я все-таки взглянул туда, и тогда что-то быстрое, ловкое и хищное спряталось за колонну. Я заметил только верх черной шапки.

Тогда и я шмыгнул за колонну и оттуда наблюдал за ним. Он оглянулся и вдруг не обнаружил меня, поглядел в другую сторону и снова не нашел меня, и я увидел, как он заволновался, закрутился в водовороте, разыскивая меня, и медленно стал заходить за мою колонну. И тогда

я перешел на другую сторону. Это было похоже на игру в кошки-мышки, кошки-мышки середины XX века.

Наконец я вышел из-за укрытия, и он увидел меня открытого и беззащитного и приклеился к колонне, чтобы не выдать себя, вынул коробку „Беломора“, достал папиросу, достал спички, но закурить не решился, спрятал спички и остался с незажженной папиросой во рту.

Ну, подойди, крикнул я ему беззвучно, иди, иди на людей и скажи все, и я скажу тебе все. Пусть все увидят и узнают, пусть все идет к черту, и пусть кончится все сразу.

Вся ненависть обратилась на него, на его бледное лицо, на его замученную заботливостью. Вот сейчас в толпе пробраться к нему, схватить за горло, закричать, позвать народ, расплакаться: „Ты чего хочешь? Зачем ходишь за мной?“ Но между нами лежала пропасть — тайна государства, и не мог я с ним разговаривать, как человек с человеком.

Я стал в очередь в кассу, искоса поглядывая в его сторону. Я смотрел на его тусклое, бледное, замученное бдением лицо, и не знаю уже почему, но казалось, что голос у него тоже тусклый, писклявый, голос скопца. Я не слышал его голоса, да, наверно, и никогда и не услышу. Мы были рядом и видели друг друга, но между нами словно было непробиваемое толстое броневое стекло.

Он стоял недвижимо, и вокруг плыла, текла толпа, работая локтями, дыша перцовкой, духами, валидолом. Какая-то женщина глянула на него и крепче прижала к груди сумочку, кто-то засехал ему локтем в живот, кто-то мазанул его по лицу авоськой с яйцами, бережно держала ее над толпой, а он не спускал с меня глаз.

Я выбил чеки и пошел. Я больше не глядел в его сторону. Теперь мне было все равно. Я шел как слепой.

— Не толкайтесь, хулиган, — сказала какая-то дама. Я взглянул на нее и ничего не ответил. Она просто была в другом мире.

— Извинитесь хотя бы, — вскричала она.

Я оглянулся. У нее были глаза с сумасшедчинкой,

крашенные волосы, и вся она была какая-то фальшивая, и мне казалось, ее подослали нарочно.

Стала собираться толпа. Продавец бросил нарезать колбасу и стоял с длинным тонким ножом, ожидая, что будет дальше.

— Извините, я нечаянно, — сказал я.

— Езжайте к себе и там толкайтесь, — сказала она. И пошла, как-то странно вихляя и волоча за собой низкий зад, словно он был у нее привязан.

Кто-то тронул меня за плечо:

— Здорово, старик.

Я глядел в незнакомое лицо, и из-под морщин, из-за венчика седых волос, как сквозь переводную картинку, медленно проявилось юное оживленное лицо. Мы учились в одной школе, в какой-то группе даже сидели на одной парте. А потом он сделал общественную карьеру, и я его долго не видел, только иногда встречал его фамилию среди выступавших на активе.

— Ой, работать бы мне в зеркальной мастерской, — сказал он, — или заколачивать посылки на почте.

— Ну, ты преувеличиваешь, — сказал я, по привычке или из перестраховки.

— Святая душа.

Он усмехнулся.

— Я хочу отслужить маленькое тайное богослужение за себя. Пойду на кладбище, куплю фиалок.

А м о й стоял напротив, якобы в очереди за пирожками, и смотрел на нас, и, казалось, по губам пытался узнать, о чем мы говорили. И я стал глядеть на него сквозь магазинный туман, глаза наши встретились, и мы заглянули друг другу в душу. И оба как бы испугались и отвернулись.

Потом еще пару раз, пока я ходил по магазину за покупками в разные отделы и замечал то тут, то там котиковую шапку. Теперь он так же, как и я, старался делать отвлеченное лицо, не смотреть в мою сторону, но между нами через магазинную толпу протянуты были незримые напряженные линии, безумно работала телепатия:

„Ты тут? Ты тут?“ И мы оба двигались и маялись, стесненные ужасно, связанные по вертикали и горизонтали в одном магнитном поле, управляемые независимыми от нас высокими и беспощадными, и неумолимыми электромагнитными силами.

Я вышел с покупками на улицу и тотчас же, словно специально за мной, к остановке подкатил троллейбус, и раскрылись двери, но я отвел глаза, пересек улицу Арбат, к дому.

Зачем он ходит за мной? Ведь я сам могу ему все рассказать. И когда встаю, когда выхожу на кухню, где стирают, варят, судачат, сообщая друг другу шепотом, по секрету, где дают гречневую кашу-концентрат, и как кипят чай, жарю картошку, а потом весь день лежу и читаю, читаю „Ярмарку тщеславия“, или „Смерть Ивана Ильича“, или „Прощай, оружие!“, и с кем дружу, и как папиросы курю, скрывать мне нечего. Зачем ему ходить за мной?

И опять стал я думать: вот сейчас повернуться, подойти к нему, взять крепко за руки и, глядя прямо в бледное лицо, пронзительные глаза, тихо сказать: „Зачем ты ходишь за мной, что тебе нужно? Я позвоню Берии...“ Как будто я мог дозвониться до него.

Или, может, лучше так: отвести в сторону и спокойно сказать: „Слушай, кореш, наверно, тут недоразумение. Я, наверно, не тот, кто тебе нужен, я не могу им быть, понимаешь?“

Но я не сделал ни того, ни другого. Я как бы спокойно, как бы ничего не подозревая, шел по улице.

Я даже не удивлялся происшедшему. Но была боль, был ужас, что так быстро, так неожиданно быстро пришло это. Как тень шло за мной всю жизнь и все-таки наступило неожиданно.

Кто не привык к этому с детства, кто не вырос с этим, тот никогда не поймет тупую боль, овечью покорность неминуемости.

Теперь я не видел его, где-то он в толпе шел за мной, и я чувствовал это, как, наверное, чувствуют направ-

ленную в спину винтовку где-то между лопатками, словно холодный кружочек.

Шли навстречу люди, мелькали лица, проплывали шапки, шляпы, пошел мокрый снег, и появились зонтики, прошли усеченные конусом дома, протянулись длинные очереди. Это были пристрелочные очереди, еще неизвестно было, что будут давать.

Я шел и шел, словно сквозь подводный мир безмолвия, под огромным давлением километровой толщи воды. Неожиданно меня повело куда-то в сторону, и вдруг засигналили машины, и вслед за тем окрик: „Гражданин, вернитесь“, и я словно проснулся, я был на середине улицы, вокруг рычали и чадили автомобили, на тротуаре собралась толпа. В толпе торчала и знакомая котиковая шапка, и еще несколько таких шапок, и вдруг показалось, что все в таких шапках. Но я не стал больше взглядываться. Я вернулся на тротуар, там ждал меня старшина, он козырнул.

Я медленно расстегнул пуговицу пальто, достал из бокового кармана пиджака паспорт и дал старшине. Он прочитал фамилию, потом медленно полистал паспорт, вернул и снова козырнул.

Толпа разочарованно разошлась, котиковая шапка куда-то исчезла, и я пошел, держа в руке паспорт. Потом остановился у какой-то водосточной трубы и спрятал паспорт в карман, у меня дрожали руки. По трубе грохотал сорвавшийся с крыши лед.

Я пересек улицу и, понимая, ощущая всеми нервами, всей тоской, что не надо идти к дому, словно ведомый внутренней, неосознанной силой непротивления, гонимый всей предыдущей своей жизнью, покорно поплелся к знакомым, крашенным грубым суриком воротам.

Глава девятая

Я кинул покупки на подоконник. Есть я не мог. Я задернул штору и стал у окна. Желтый мертвящий свет проникал в щель, улица гудела и содрогалась от идущей

го транспорта, и мне казалось, что все летит в тар-тарары.

С каждой минутой становилось все больше машин, низко светя желтыми фарами, разбрызгивая снежную грязь, поток, несущийся в обе стороны, временами внезапно замирал, заполнив во всю ширину Садовую и выливаясь на тротуары. Потом вдруг что-то сдвигалось, скрежетало, и бурный, грохочущий поток, сорвавшийся с цепи, несся дальше в обе стороны, по разным направлениям, к разным целям.

Все гуще становился и черный поток людей на тротуарах. Они струйками выливались со всех проходных и служебных подъездов, как ошпаренные выскакивали из всех дверей и ворот и, подхваченные вечерней рекой, неслись дальше, плотной массой, огибая вдруг возникающие на пути у маленьких магазинчиков водовороты, на миг задержавшись: „Что дают?“ и, присоединившись в хвост, успокаивались, или молча бежали дальше, обгоняя друг друга, выстраивались на остановках в длинные, змеящиеся, перегораживающие тротуар, мгновенно меняющие конфигурацию очереди, и когда подходила машина, сбивались в толпу и, держа над головой авоськи с молочными бутылками, жали вперед, отпихивая друг друга локтями, сумками, портфелями, вскакивая на подножку, цепляясь на ходу, впихиваясь, и видно было сквозь освещенные окна, как идущий толчками троллейбус утрамбовывался на ходу, и люди при торможении падали друг на друга, как бы втискивались друг в друга, и становилось просторнее, и троллейбус, темный, разбухший от людей, тяжело лавировал в грохочущем потоке.

Куда они все едут, бегут и зачем? Неужели их ждет что-то хорошее там, в конце пути? И уже казалось, что они хотят только побыстрее убежать с этой улицы, и если тут с ними ничего не случится, там, на других улицах будет счастье.

Я услышал вдруг громкий смех под самым окном. У фонарного столба стояло несколько юношей и девушек, они ели купленные тут же, на углу, у толстой

бабы в белом пирожки и что-то рассказывали друг другу и смеялись.

Зачем они так громко смеются, как они могут смеяться и еще жевать пирожки и рассказывать байки? Неужели они ничего не знают, неужели они не видят этого желтого, мертвого, тоскливого света и желтых мертвых облаков? И что все кончено.

Но несмотря на то, что казалось, что мир скончался, вспыхнули и побежали над крышей веселые праздничные буквы неона: „Дешево, удобно, быстро“.

И там, в наступившем вечере, гуще мерцающих, шевелящихся, вспыхивающих и разгорающихся огней шла своим чередом жизнь.

Кто-то гулял на вечеринке, может быть, на первой вечеринке в своей жизни, кто-то, оставшись один в учреждении, пригнувшись к бумаге, писал анонимку, кто-то в первый раз смотрел „Синюю птицу“ Метерлинка, кому-то выписывали ордер на арест, а кто-то делал перманент и завивку; выпекали в горячих пекарнях хлеб к утру, на бойне за городом мычало грязное, усталое, не кормленное перед убоем глупое стадо, и кто-то кому-то говорил первые слова любви, преданные, искренние, заикающиеся, на всю жизнь до скончания вековой свечи, и при свете пылающих люстр шли торжественные, заглушающие правду жизни юбилейные заседания; и кто-то бессильно выходил из ворот кладбища; равнодушно и методично работали тройки в тишине за крепостными стенами; и где-то там, в подмосковном лесу, по зимним дорожкам ходил и бормотал последним бормотаньем стихи старый поэт, которого затравят в другие годы.

Шестимиллионный город начал свою вечернюю, суровую, разгульную, усталую жизнь, и никто не знал и не хотел знать, и не мог знать, что кто-то мается и умирает один в своей комнате, в одной из миллионов комнатушек Москвы, никому не было до этого дела. И жизнь продолжалась на полную катушку, потому что не может остановиться никогда, и что бы ни случилось — война, зем-

летрясение, чума, чистка, погром, затмение солнца, люди хотят есть, спать, веселиться, любить, ненавидеть, завидовать и продолжать род.

— Нет такого закону! — кричали в коридоре.

— Есть, есть. Ты пьяница отвратный, червивый.

Айсоры в очередной раз выселяли своего зятя.

А зять бил себя в слабую, впалую грудь и визжал:

— Я советский человек, я по Конституции живу.
А вы! Вы...

— А что мы? — пьяно надвигаясь на него, спрашивал старший сын, черный, кучерявый, страшный, и вел его, как дыпленка, за шиворот, и потянул на лестницу. И он, как паяц, перепрыгивая на длинных ногах через несколько ступенек, снизу кричал:

— Я по Конституции...

Все хохотали.

— Иди, иди... диспансерный.

Айсорская ребянтя выкатывалась из комнаты в коридор сплетенным клубком, непонятно было, где ноги, где руки, мелькали только черные кучерявые головы, и все это, царапаясь и визжа, снова клубком вкатывалось в комнату.

— Уймите их, — приказал Голубев-Монаткин.

— Товарищи, дети — цветы жизни, — отвечал один из айсоров, как капля воды похожий на других.

— Вы нарушаете элементарные правила социалистического общежития, — серьезно сказал Голубев-Монаткин.

— Точно, профессор, — ответили ему.

— Вы опять пьяны.

— На твои гроши, профессор.

— Нет, я это так не оставляю, — сказал Голубев-Монаткин.

— Действуй, профессор, делай.

— Вы нарушаете основные правила социалистического общежития, — повторил Голубев-Монаткин.

— Страх, какой ты ученый, профессор.

Где-то внизу громко и нагло хлопнула дверь. Это пришел Свизляк.

Он поднимается по черной железной лестнице, стуча подковками, стуча палкой, и вся квартира знает, что пришел Свизляк, а затем он открывает ключиком дверь и так хлопает ею, что звенят стекла и дребезжат перегородки, и тогда и глухие, а их трое в квартире, тоже понимают, что явился Свизляк.

Вот он изнутри, из своей комнаты открыл дверь и вошел в маленький, темный коридорчик и задышал, засопел, заворочался. Вот щелкнул выключатель, и он шумно снял свою собачью куртку и повесил ее на гвоздик у самой моей двери, и у меня было чувство, что на грудь мою он повесил свою синюю куртку.

Вот он открыл дверь в кухню и подпер ее палкой. И я сразу почувствовал запах капусты, жареной рыбы, мокрого белья и кипение кастрюль.

Свизляк стал у раковины и стал умываться, отфыркиваться, стонать, казалось, там купается носорог. Потом ушел и оставил дверь раскрытой, и я услышал из кухни:

— Приходят, а они хлещут французский коньяк из бокалов Гитлера.

— А где они взяли эти бокалы?

— Они все достанут, травили детей, разбойники.

Я выхожу и осторожно, тихо закрываю дверь. Но Свизляк будто караулит:

— А зачем вы ликвидируете вентиляцию?

— Дверь на кухню должна быть закрыта, — говорю.

— А кто вы такой, чтобы давать руководящие указания?

Любочка тоже возражала. Она вошла в спор осторожно, покорно, как ночная бестелесная бабочка, и еле слышно прошелестела:

— Я тоже прошу закрывать дверь.

Но Свизляк услышал ее и на девяносто градусов обернулся на этот шепот.

— А почему вам так активно не нравятся открытые двери, вам есть что скрывать?

Любочка покраснела, потом побледнела и ничего не могла вымолвить.

— А известно ли вам, что при коммунизме все будут жить с открытыми дверьми, и никакой личной собственности не будет, и никаких личных секретов от общества?

Любочка молча кивнула головой в знак понимания и согласия с этой перспективой.

— Или, может быть, вы возражаете против высшей фазы коммунизма? — несмотря на ее согласный кивок предположил Свизляк.

Любочке хотелось закричать во весь голос, что она вполне согласна, что она приветствует высшую фазу, она ей тоже очень нравится, но поскольку она еще не наступила и на дворе пока еще стоит переходный период, она как бы предпочитала воспользоваться хотя бы этим преимуществом периода, одеваться и раздеваться, жить и дышать за закрытой дверью, а не на бесстрашных глазах Свизляка, но она нашла в себе силы только приложить руки к груди и еле слышно прошептать:

— Как вы могли так подумать, Фрол Порфирьевич.

— А то я смотрю... — сказал Свизляк и еще шире раскрыв кухонную дверь, подперев ее дополнительно чурбаком.

— А вас я давно уже что-то не понимаю, — с сожалением обратился он ко мне.

— А что вы не понимаете?

— В какой системе вы работаете?

— Я сам себе система.

— То есть как? Вроде частного хозяйчика?

— Да, вроде кустарного предприятия.

Свизляк покачал головой и усмехнулся.

— Но для какой-то организации все-таки работаете?

— Д л я к а к о й - т о — да.

Свизляк очень внимательно взглянул мне прямо в глаза, и в зрачках его вдруг пробежала испуганная ис-

корка. На секунду, на одну только секунду он подумал про меня: а может, я от туда? Но он быстро откатил эту мысль.

— Тут что-то не так, — сказал Свизляк. — Все в системе, одни вы вне системы.

— Занимайтесь своими делами, — сказал я.

— А я, между прочим, народный контроль.

— У себя в учреждении.

— При Советской власти каждое учреждение — мое учреждение.

— Слушайте, мне не хочется сейчас с вами разговаривать.

— Это я не хочу с вами разговаривать. Идите в свою комнату. Еще неизвестно, чем вы там занимаетесь.

— Я печатаю фальшивые купюры.

Свизляк раскрыл рот и с ужасом посмотрел на меня.

— Вы это даже в шутку не говорите, — тихо и серьезно сказал он.

Я взглянул на него и понял, что сегодня об этом объективно напишет куда надо.

Бонда Давидович, стоявший у плиты над своей кастрюлькой, засмеялся, но Свизляк так на него политически взглянул, что тот осекся.

— Конечно, всякий политически сомнительный человек, — начал Свизляк, но в это время почтальон принес „Вечернюю Москву“, и Свизляк, приняв газету, сказал:

— А вы, Бонда Давидович, я вижу, не интересуетесь текущей политикой.

Но кларнетист как будто и не слышал, стоял над своей кастрюлькой в ожидании, пока закипит, и молчал.

— Вся страна на лесах, — продолжал Свизляк, разворачивая газету „Вечерняя Москва“, — на субботниках, воскресниках, а вы даже за похороны берете мзду, за смерть.

— Не трогайте меня, — тихо сказал Бонда Давидович.

— Вы индивидуалист, вот в чем дело, а мы отвергаем

индивидуализм, и дуализм, между прочим, тоже, — прибавил Свизляк.

Бонда Давидович заткнул пальцами уши:

— Не приклеивайте мне ярлыки, я ничего не хочу слушать, я честный советский человек.

— Это ты-то советский человек, ха! — сказал Свизляк.

— Не говорите мне „ты“, я с вами свиней не пас.

— Ты ведь аполитичный человек, — продолжал Свизляк, — а кто не с нами, тот против нас.

— Не смейте мне тыкать, — визжал Бонда Давидович.

— Ты шахер-махер, вот кто ты такой.

— Не смейте прикасаться ко мне! — вскричал вдруг голосом ущемленной кошки Бонда Давидович и запрыгал на тонких своих ножках, и свободно висящие штрипки кальсон ударили по галошам.

— Вы зачем кричите? — спокойно сказал Свизляк, — зачем привлекаете внимание?

— Вы...вы... — захлебывался Бонда Давидович.

— Поговорим в другом месте, — сказал Свизляк.

— В другом месте? — закричал Бонда Давидович. — Пожалуйста. — И распахнул пальто, раскрывая рубаху на голой волосатой груди, будто безжалостно подставляя ее под пули. — Я готов.

— Ну, ну, интеллигент, не психуйте, — сказал Свизляк, — на крик не возьмете.

— Прочь с дороги! — закричал Бонда Давидович и, схватив свою кипящую кастрюльку, пошел, высоко поднимая ноги, будто переступая через лужу. Глаза его горели, и он шел напролом, и огромный верблужий Свизляк отшатнулся в сторону.

Не думал я, что доживу и увижу его смерть. Мне все казалось — он вечен.

Когда он умер, его собачья куртка долго еще висела на крючке в коридоре за дверью, пока ее всю не съела моль, и однажды от нее поползли полосы шерсти, и она рассыпалась в прах, как и многое другое, некогда казавшееся вечным и незыблемым.

Глава десятая

Фонарь горел у самого окна, и комната была залита мертвым голубоватым светом. Видно было рыжее пятно на потолке, и паук, умерший в паутине, и еще что-то, за- таившееся в атомной вспышке фонаря.

Улица гудела, рычала и сигналила, как обезумевший и охрипший духовой оркестр, грохотала, содрогалась, передавала дрожь через толстые каменные стены, чердачные стропила, через камень фундамента первого этажа, где звенели подвешенные люстры старой, отставной закамуфлированной актрисы.

Я не поверил своим глазам, я сошел с ума, или улица сошла с ума, или этот у ворот совсем не тот, за кого я его принимаю. Я ясно вижу, как он мелко, но явно, быстро и ловко, почти профессионально выбивает чечетку, я почти слышу стук каблучков. Что, ему стало вдруг очень весело, или забрел к нему по дороге мотивчик, или он просто взбадривает, взбалтывает себя, дает себе ритм.

Я гляжу и гляжу и не могу насытиться, наглядеться его перебирающими ножками. Хочется смеяться и плакать. Ведь и он мог бы быть человеком.

А может, в свободное от работы время он играет на баяне или на балалайке по самоучителю, может, он даже поет тенором, может, он укачивает ребенка в коляске: „Баю-баюшки-баю“. Да, баю-баюшки-баю. А потом жрет водку и закусывает солеными огурцами.

А по воскресеньям едет на рыбалку, сидит с удочкой и глядит, глядит на поплавок, до ряби в глазах. Или, может, надоело ему созерцающее занятие, опротивело до тошноты, и у него, наоборот, активный отдых — на бегах, в пульку.

И он ведь некогда был мальчиком, учился в школе, бегал с клеенчатой сумкой в городе или по деревенской проселочной дороге, зубрил таблицу умножения на обложке тетради по арифметике, писал сочинение „Образ Печорина“.

Вот он вытянул из кармана пальто носовой платок,

крупный, как косынка, и, закрыв почти все лицо, стал сморкаться. Мне кажется, я даже слышал, как он чихает. Потом он о чем-то подумал, помедлил и вдруг совершенно неожиданно, спокойно завязал край платка узелком на память. Милый мой, хороший...

По доброй ли ты воле пошел на эту работку, так сказать, по зову сердца, или некуда было податься, или мобилизовали в одну из этих внезапных, таких неожиданных экстренных мобилизаций, или по равнодушной разверстке, когда затыкают дыры кем попало? Знал ли, понимал, что это такое?

Пошел снежок и быстро выбелил его, и в проеме ворот он как бы выделился и стал заметен, и люди, пробегая, иногда оглядывались и смотрели на него. И тогда он сдвинулся с места и пошел.

Теперь он играл гуляющего человека, пришедшего домой после смены, рабочего человека, прогуливающегося возле своего дома, под сосульками, сверкавшими на свете фонаря, заложив руки за спину и сдвинув котиковую шапку на затылок.

— Комиссия содействия! — объявили за дверью.

На пороге сияющая, с лицом калорийной булочки, пахнущая духами Зоя Фортунатовна с фальшивыми бусами, за ней непричесанная, заспанная, в пуху, будто вынутая из перины Ворончихина, и еще сзади в шапке пирожком и шубе с шалью лилипут с первого этажа, заменяющий постоянного члена комиссии.

— Мы снимаем показания счетчика, — предупреждает Зоя Фортунатовна.

Подняли на руки лилипута к счетчику, чтобы и он удостоверился. Лилипут нацепил очки, взгляделся и кивнул головой.

Счетчик катастрофически щелкал и искрился, цифры выскакивали, прыгая как сумасшедшие, вдруг счетчик начал тарыхтеть и содрогаться, и казалось, еще мгновение — и он сорвется со стены и полетит по кухне кругами, как электрический гробик. Ответственная, разношерстная комиссия стояла, оцепенев от изумления и возмущения.

— Несчастный счетчик, несчастный счетчик, — бормотала Зоя Фортунатовна, поглядывая на черную коробочку, словно на себе чувствуя его нервное напряжение, его высокое давление, и у нее от этого разболелась голова.

— Это айсоры, — единогласно решила в полном составе комиссия и в полном составе двинулась к айсорам.

Странное, загадочное сжигание лимитов всегда сваливали на айсоров, или потому, что их было так несметно много, словно электрический ток шел в пищу, или потому, что они были так темпераментны и для этого требовалось много энергии, или вообще потому, что от них всего ждали. Непонятно только, почему так молниеносно перегорал лимит, что они делали там с электричеством в своей зале с лепными потолками и жирными амурами рококо на стенах, подключали адский котел и варили какое-то варсево, снадобье, которое требовало столько электрического тока, сколько блюминг?

— Прошу немедленно составить акт, — встретил в коридоре комиссию Свизляк. Он стоял у раскрытой двери Бонды Давидовича.

Комнатенку Бонды Давидовича всю занимала большая семейная никелированная кровать, и именно она была подключена к сети, и зеркально никелированные шарики светились, а Бонда Давидович храпел в никелированном скафандре, как в люльке, с электрическим нимбом вокруг головы.

Его грубо разбудили и вынули из электрического сна, и сонный, теплый, он ничего не понимал и так качался, что его прислонили к стене, дабы он не упал.

— Я просыпался от грохота счетчика, теперь-то я наконец понимаю, почему я просыпался, — говорил Свизляк. — Даже мой каменный сон нарушался, даже моя классическая терморегуляция.

— Еще надо посмотреть, неизвестно, что он там еще такое подключал, — высказался Голубев-Монаткин, глядя на то, как Бонда Давидович в кальсонах со штрипками ходит по комнате, и отодвигаясь от него, словно он был под током высокого напряжения.

— Диверсия, — определил Свизляк, — да, да, в размерах коммунальной квартиры я имею право квалифицировать этот факт как диверсию.

А Бонда Давидович стоял одинокий в своем электромагнитном кругу, и как бы спросонья не понимал, что от него хотят, и несколько раз перекладывал или просто инстинктивно прятал свой кларнет, на который теперь тоже все смотрели подозрительно, как на незаконное оружие.

— Зачем вы меня мучаете? — сказал Бонда Давидович.

— Это кто вас мучает? Это мы вас мучаем? Вы слышите, мы его мучаем! — восклицала Зоя Фортунатовна. — Он сжигал весь электрический лимит, он оставлял нас во мраке средневековья, он лишал нас современной цивилизации, а мы его мучаем. Как вам это нравится? Нет, как вам это нравится?

— Диверсия, — упорно настаивал Свизляк.

— Все это не случайно, — искал корни Голубев-Монаткин. — Типичный представитель, взбесившийся мелкий буржуа, мы в свое время таких субчиков ставили к стенке без актов, по законам революционной необходимости.

— Караул! — вдруг закричал Бонда Давидович так, что все отшатнулись. — Оставьте меня в покое, я в транс. — Он схватил свой кларнет и стал им размахивать, как топором. — Я сейчас все разнесу в щепы, я сейчас пошлю вас к Леонардо да Винчи.

— Это тоже надо протоколировать, — сказал Свизляк. — И по поводу Леонардо да Винчи... оскорбление нецензурными словами.

Дверь захлопнулась, и все услышали, как два раза повернули ключом.

— Что он там делает? — вскричала Зоя Фортунатовна. — Я знаю, что он делает, он из провода делает петлю и повесится.

Все притихли. В наступившей тишине было слышно, как в комнате тихонько запищал, заскулил кларнет.

— Сбрэндил, — определил приходящий муж тети Саши.

— Диверсия, — настаивал Свизляк, — симуляция психом. Нас на это не возьмешь, нас не разжалобить, мы не такое видели в эпоху военного коммунизма. А сейчас, слава богу, построен фундамент.

— Почему же фундамент? — медленно протянул Голубев-Монаткин. — Фундамент был построен еще в тридцатые, в первую пятилетку, а сейчас полное общество.

Началась обычная политическая пикировка, больше похожая на перестрелку, пахнущая доносом и последствиями. И Розалия Марковна, которая все эти вопросы знала теоретически еще по старым марксистским нелегальным книгам, по желтым и серым страницам брошюр издательства „Земля и фабрика“, гербом которого был красноармеец в краснозвездном шлеме, быстрее всех ушла в свою комнату, в свою крохотульку, и закрыла дверь на ключ, оставив ключ в замочной скважине, чтобы никто не мог сказать, что она слышала что-то политически спорное.

И главное, ведь известно, что наплевать Свизляку на этот самый фундамент и на все фазы, возводимые на этом фундаменте, он даже не понимает и не хочет понять, что это такое есть, что он как жил, так и будет жить всегда, при низшей, так и при высшей и наивысочайшей фазе, и умрет в своем крольчатнике, который понятен и дороже ему всего на свете.

Но однако же боится его Розалия Марковна, член партии эсдеков, террористка-боевик, а потом агент „Искры“, комиссар гражданской войны, и ни словечка не сказала, только прикрыла дверь и умерла в своей комнатке.

А Свизляк ходил по коридору, останавливался у ее дверей и куражился, и высказывался, и уже не о высшей фазе, а насчет их нации и наций вообще.

Только одна дверь не шелохнулась. Айсоры спали своим утрапающим, усталым табором. Им снились сны поважнее всего происходящего в коридоре, и им некогда было заниматься пустяками.

Так или не так, но тут же, немедленно, стали составлять акт на Бонду Давидовича, на Цулукидзе, и очевидцы, макая ручку в чернильницу, полную еще летних, утонувших в чернилах мух, ставили свои разнообразные подписи, разбудили и айсоров, и старый айсор нарисовал какие-то крючки справа налево, и оформленный по всем правилам документ пошел куда надо, и так точно куда надо, что уже через день явилась комиссия, в которой выделялся пружинистым шагом пожарник. Он ходил по всей квартире и уже заодно обследовал все углы и нашел бутылки с бензином на шкафу у Свизляка и какие-то немыслимо быстро воспламеняющиеся вещества у айсоров, и когда он спускался в подвал, у него было такое лицо, что сейчас он непременно откроет там склад боеприпасов. Во всяком случае, когда в общем акте комиссии он формулировал свое пожарное резюме, выходило, что квартира эта по своей огнеопасности угрожает не только всему дому, но и всей улице, а улица прилегает к Кремлевской стене.

Глава одиннадцатая

Я проснулся вдруг, будто кто-то изнутри меня толкнул. В комнате в свете окна темной тенью стоял человек.

- Что? Кто? — крикнул я.
- Вы стонете во сне. Я думала, вы заболели.
- А как вы вошли в комнату?
- Через дверь, — тихо отвечала фигура.
- Сколько сейчас времени?..
- Только восемь.

На пороге стояла отставная опереточная актриса, крупная, костлявая, похожая на старую, выработавшуюся клячу, лицо ее, измученное гримом, печально глядело на меня.

— Я должна вам кое-что сообщить.

Она тщательно закрыла за собой дверь и потом долго к чему-то прислушивалась.

Я слышал гудение своей крови.

А потом она сказала:

— Это не мое дело, но я должна вас предупредить.

— А что такое произошло?

Она приложила палец к губам и снова к чему-то прислушалась.

— Здесь о вас осведомлялись.

Внутри у меня будто что-то оборвалось, но я безразлично спросил:

— Это кто же?

— Там дворник спрашивал, дома ли вы.

— А зачем я ему?

— С ним один человек, — туманно сказала она.

— Какой человек?

— В штатском, по-моему, из райотдела.

Я молчал.

— Из райотдела, маленький такой, блондин.

— И он тоже мной интересовался?

— Он молчал. Но дворник спрашивал, по-моему, по его наущению. Это я вам должна сказать.

Я сделал безразличное лицо.

— Ну и пусть спрашивает, мне-то что?

— Я думала, что вам надо знать, — тихо сказала она. — Он еще спрашивал, кто к вам ходит.

— А мне это неинтересно, — сказал я.

— Я понимаю, — сказала она. — Спокойной ночи. Вы бы все-таки приняли какие меры.

Меры! Что, бежать? Растаять? Замуроваться в стену? Превратиться в человека-невидимку? Эта мысль мне понравилась. Когда-то я видел картину „Человек-невидимка“, он принимал какие-то таблетки и таял, превращался в призрак, в воздух, он проходил сквозь стены. Я помнил еще его голос, таинственный, пророческий, голос из небытия, из пустоты, дьявольский хохот возмездия. Он кружил везде, взрывал мосты и хохотал. За ним оставались темные следы по снегу, одни следы его только и выдавали, и те, кто преследовал, стреляли в ту сторону, где были следы. Ох, как он кричал, когда в него попали.

Я лежу и фантазирую себя невидимкой, я свободно прохожу мимо этого несчастного в котиковой шапке, прижавшегося к стене у подъезда, а он ничего не знает, я тоже дьявольски хохочу, и он содрогается, я вхожу в троллейбус и стою, держась за ремень, и никто вокруг не знает, что я еду, а я еду туда.

И вот оно, темное каменное здание на большой площади, я невидимо прохожу мимо часового и мимо второго часового, я поднимаюсь по широкой мраморной лестнице, и шаги бесшумны, призрачны, будто я не иду, а парю в воздухе; я иду длинным коридором с рядом высоких дубовых дверей, вхожу в разные комнаты, открываю шкафы и ищу и наконец — вот она, старая серая палка с черным штампом „Хранить вечно“ и с моей фотографией на обороте. Откуда они только взяли мою фотографию, она совсем не знакома мне. И какое у меня спокойное, ничего не подозревающее лицо, а меня в это время снимали. И вот я листаю серое дело и вшитые в него розовые и голубые листы, и я узнаю про себя то, чего я и сам не знаю. Я читаю доносы и ужасно удивляюсь тому, кто их писал. Каких только почерков тут нет!

У дверей под порогом по-мышьиному зашуршало, что-то постороннее появилось в комнате, я это скорее ощутил, чем услышал. Я приподнялся и увидел под дверью белую бумагу. Это был обыкновенный, в линейку, лист, страница, вырванная из школьной тетради, некрасиво и плотно исписанная поперек крупным, неровным, напряженным почерком, с кляксами и перечеркиваниями.

Я стал читать и сначала ничего не понял. Мне показалось, что я сплю; постепенно смысл, странный, нелепый, дошел до меня, и я, наверно, впервые за этот день улыбнулся.

„Ввиду расстройства нервных систем у меня и у вас, — стояло в бумаге, — мы, очевидно, устно никогда ни до чего не договоримся. Поэтому пишу вам эту записку. Покорнейше прошу вашего разрешения на ночь выставлять ящик с моим ежом куда-нибудь в коридор, так как он мне спать не дает, несмотря на приемы каких бы то ни было снотворных средств. Думаю, что шестичасо-

вое пребывание его в местах общего пользования не нарушит „атмосферное равновесие“ в нашей квартире. Дальнейшие ваши неудовольствия моими действиями прошу вас выписывать или высказывать, как вам будет удобнее, мне лично, а не через посредников. С уважением Любочка“.

По ту сторону дверей, как бы ходатайствуя за себя, вздыхал и ворочался на своих шуршащих иглах страдающий бессонницей еж. Иногда он стучал твердым носом о пол, что-то требуя для себя.

Я раздумывал над своей жизнью, над жизнью отца и матери, дедушки и бабушки.

У них были волнения семьи, рождений, болезней, отъездов и приездов, неожиданных телеграмм, слухов, сплетен, была смена дня и ночи, лета и зимы, пасхи и троицы, и судного дня. Были близкие и дальние родственники, соседи, была зависть, жажда, корысть, щедрость, доброта, злоба. Но никому из них в самом диком, глупом, запутанном сне не снилось мое.

Страх за сказанное слово и несказанное, за все, что только подумал и даже не подумал, а мог подумать, за мнимые ошибки твои и не только твои, а твоего товарища, и даже не товарища, а знакомого, родственника ближнего и дальнего, родственника, которого ты даже никогда не видел и никогда не знал, что он существует, потому что уехал он в Буэнос-Айрес или на мыс Горн еще в прошлом веке, и там у него родились сын и дочь, и тому сыну или дочери вдруг вздумалось написать тебе письмо как двоюродному брату.

Странно, что все это в моей жизни, именно в моей жизни.

Те длинные, темные собрания, собрания-бойни, собрания-душгубки, собрания, на которых шло быстрое обезчеловечивание людей, собрания куриц, сороконожек, божьих коровок, собрания тли, и это, растворенное, как адреналин в крови, чувство без вины виноватости. И постоянное, непрекращающееся ожидание неминуемого. Грянет в одну из ночей, на рассвете, или еще до

того разорвет сердечную аорту, или, может, всплеснет опухолью в мозг.

Потерянное время, утонувшее время, бесследно, навсегда исчезнувшее из единственной, раз данной жизни.

Почему же должна проходить так жизнь, эти необратимые, быстротекущие мгновения, падающие, капаящие в вечность секунды?

Я приоткрыл занавес и взглянул на улицу. Его не было. Я осмотрел каждый подъезд генеральского дома на той стороне улицы, каждый фонарный столб, каждую тень, в которую он мог бы спрятаться, с которой мог бы слиться. Нет, нигде его не было. Я изучил очередь на троллейбусной остановке, может быть, он затесался в очередь, может быть, стал играть в пассажира, ожидающего троллейбус, а когда троллейбус уйдет, он в последний момент останется и опять замаскируется в очередь. Нет, и тут его не было. Машина подошла, открылись двери, проглотили всю очередь, и на пустой остановке завьюжила метелица. Не было его и среди прогуливающихся с собаками — с мопсами, фокстерьерами.

Были годы, я думал: зачем? За что? Теперь уже не было этих мыслей не потому, что я понял, зачем и за что. Я этого не понял и еще долго после этого не понимал, не понимаю, наверно, до самой глубокой глубины и сейчас. Туман равнодушия окутал меня, невозможность, непредставимость борьбы, вялая и болезненно чудовищная покорность течению событий, безысходность тупика, ограниченного ранними сумерками зимнего дня, за которыми долгая, бесконечная ночь, с ее тишиной, кротостью, босм часов, случайными криками, случайными свистками, шурпаньем случайных машин.

Часть третья

ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ

Глава двенадцатая

Небо над двором было почти черным, тускло и как-то забыто светила пыльная лампочка у подъезда и говорила, что незачем жить, незачем так вот одиноко и долго мучиться, не стоит этого.

Я прошел наискосок через двор и тихо, тоскливо подошел к воротам. Никого не было. Я поглядел на противоположную сторону улицы, и там было пусто. Я заглянул в подъезд, и так дико и сыро пахло псиной и мочой, что хотелось взвыть.

Я медленно пошел вдоль дома, близко держась стены. Я просто вышел подышать воздухом, что, уже разве нельзя дышать воздухом? Это был мой моцион. Я остановился у афиши, искоса поглядел направо и налево. Никого. Тогда я дошел до угла, заглянул в Глазовский переулок. Пусто. Потом вернулся и дошел до Арбата и поглядел на тот угол у Гастронома. Там стоял один, он взглянул на меня через улицу и отвернулся.

Иду и бессмысленно разглядываю витрины. В аптеке на углу Веснина грустные резиновые груши для веселья, гарнированные холодным никелем хирургического инструмента. Потом „Часы“, миллион циферблатов, показывают одно и то же время. И вот уже лезут в глаза мясные муляжи „Диетического“, а за ним мигает неон.

И вдруг я увидел, что иду навстречу самому себе. В сером реглане, заячьей ушанке, резко освещенный зеленым светом, я стоял перед длинным и ярким уличным зеркалом парикмахерской, в витрине которой тор-

чала на тонкой подставке капризная, лукавая головка с огненнокрашенным хной перманентом, и над ней зазывной плакатик: „Шестимесячная завивка с двухмесячной гарантией“.

Я бессознательно вошел в теплый, наодеколоненный, приятно памятный с детства мир цирюльни. Очереди не было. Грустный длинноносый парикмахер вяло взбил мыльную пену, так же вяло намылил щеки, поглядел на меня в зеркало с одной и с другой стороны и, высунув кончик языка, быстро побрил и вяло помахал салфеткой. Девочка-подмастерье грустно глядела в окошко на улицу и сказала: „Ой, сколько небритых ходит...“

У „Строчевышитых изделий“ перехожу через улицу к „Комиссионному“. На черном бархате одиноко маялась туфелька и рядом белая бурка, будто парочка убежала, случайно оставив в витрине как вещественное доказательство поношенную обувь. Потом оранжевый, светящийся аквариум „Зоомагазина“, золотые рыбки, сонно запутавшиеся в красивых водорослях.

Шедший впереди меня гражданин в старой черной шляпе и пенсне вдруг остановился у края тротуара и качнулся, шляпа упала в грязный снег. И непонятно было — пьяный он или больной.

В это время с перекрестка прибежал старшина.

— В чем дело, гражданин, почему нарушаете?

— Я не нарушаю, — тихо сказал человек.

— Пройдемте, гражданин, — и он взял его за рукав. Двое в ботах деликатно подталкивали его.

— Пустите меня! — закричал тот, прижимаясь к стене. — Я интеллигентный русский человек.

— Там разберемся, — сказал старшина и приемом джиу-джитсу перехватил его руку.

— Я устал. Я уст-а-ал! — визжал кошкой интеллигент.

Регулировщик, сидевший на углу у „Консервного“ в своем голубом стакане, некоторое время прислушивался, потом высунулся в окошко, призывно свистнул

куда-то в сторону Смоленской, оттуда откликнулись, и с другой стороны тоже засвистели.

— Ах, как мне надоели эти крестьяне со свистками, — устало сказал гражданин и притих.

Старшина, строго выслушавший его возвышенный протест, потащил его в подворотню, а те двое в ботах на ходу обыскивали его, облапив грудь, спину, ноги.

Собралась толпа.

— А чего его тащить, может быть, он больной, — сказала женщина с кошелкой.

— Чего там больной, пьяный.

— Интеллигент, а пьяный, еще в шляпе.

— Ну так что, что в шляпе, вишь, говорит, устал.

— Устанешь.

— Вишь, баретки надел.

— Вот на ногах, зимой и в баретках.

— Может, как был, так и выскочил, бедолага.

— Бедняга, сбили с катушек.

— Будет вам за такие речи.

— Еще бы не будет.

— Граждане, разойдитесь, чего не видели?

Мне показалось, что сейчас и меня потащат, и я забежал в кино „Наука и знание“. Я заглянул в окошко кассы, кассирша, казалось, сидела далеко, словно виденная в обратную сторону бинокля.

— Один билет, — услышал я свой собственный, как бы пришедший издали слабый голос.

— Десять рублей — две серии, — пришел издалека ответ кассирши.

Я сунул в окошко десятку и пошел к входу.

В дверях стояла ужасно толстая, в капроновых чулках контролерша, загородившая своим животом дверь, толстыми, красными пальцами она надорвала билет и дыхнула на меня горячим дыханием печи, и, касаясь ее мягкого живота, я протиснулся внутрь, в тускло освещенное, вытянувшееся кишкой холодное и грязное фойе, в котором страдали и маялись юнцы с папиросками в зубах и пахло пивом и черствыми бутербродами.

Неожиданно зазвонил звонок, вспыхнула красная лампочка над входом, и все, толкаясь и обгоняя друг друга, ринулись в темный, холодный, надышанный узкий зал, и не успели все рассеяться, как потух свет и засветился экран.

Я оглянулся. Никто не смотрел на меня. Я тихо встал и сквозь флюоресцирующий зал, лузгающий подсолнухи, сосущий ириски, чихающий и кашляющий, пошел мимо светящегося экрана на красную сигнальную лампочку выхода и через длинную, заплеванную, разбитую лестницу, сумрачно освещенную фонарем в железной сетке, какими-то кривыми закоулками с мусорными ящиками вышел в незнакомый, тихий снежный переулок, оставляя за спиной в громадном здании, в узком, холодном зале, цветной индийский сон.

В резком свете в подвальных окнах видна была вывороченная наизнанку бедная сиротливая жизнь, столы, крытые клеенками, раскрытые шифоньеры и дети, сидящие за учебниками, сундуки, на которых спали старики, и какие-то безмолвные вымороченные тени, старики, курящие в закутках осторожно, виновато, и кошки, почему-то всюду были кошки.

Я дошел до троллейбусной остановки, подкатил троллейбус, раскрылись двери, я оглянулся и вскочил в него. Двери мягко закрылись, троллейбус тронулся, я глядел в заднее стекло. Какая-то машина неотступно шла за троллейбусом, упорно шла, не отставая и не обгоняя.

Вдруг я уловил на себе взгляд кондуктора, тот с сумкой стоял на своем месте в углу и со странной сучьей улыбкой через головы пассажиров, поверх шапок и шляп, не отрываясь, смотрел именно на меня, и только на меня, будто узнавал во мне приятеля. Я встал и пошел к выходу, но кондуктор, не отрываясь, будто все узнавая во мне приятеля и удивляясь, что я его не узнаю, все смотрел на меня. И я забыл, где я и куда идет троллейбус. Мелькали мимо непонятные вывески, редкие пробегали прохожие, и все было странно и ужасно. Я остановился у выхода и молчал.

— Гражданин, а интересно, кто, Пушкин, возьмет билет? — неожиданно сказал сзади кондуктор.

Вдруг замолк говор, и все прислушались.

— Гражданин в кролике, это ведь к вам касается, — сказал кондуктор.

Пассажиры, читавшие газеты, перестали читать и стали смотреть на меня.

— А еще в шапке, — сказал вдруг гражданин в синей кепке, сидевший на месте „матери и ребенка“.

Остальные молчали и смотрели на меня.

— Простите! — закричал я и сунул кондуктору смятый рубль.

В это время троллейбус резко затормозил, и пассажиры попадали друг на друга, дверь раскрылась, и в троллейбус вошел человек и внимательно посмотрел на меня. Не успела закрыться дверь, я выскочил на тротуар, кондуктор делал мне знаки, показывая мой рубль и билет, машина двинулась и мягко покатила, увозя того человека. Сквозь стекло я видел, он прошел вперед, не оглядываясь, и сел. Сердце колотилось, будто за пазуху залетел голубь.

Машины, шедшей за троллейбусом, уже не было, она исчезла.

Глава тринадцатая

Я свернул в темный и пустой Борисоглебский переулок. В церкви Бориса и Глеба шла служба. Стоял неподвижный туман, подкрашенный желтым фонарем, и сквозь деревья с голыми ветвями голубел на крышах снег. Розовые колонны барского особняка были похожи на старую выцветшую олеографию.

Из облупленного флигелька появилась старорежимная старушонка с лиловым шпцем, и он залаял на меня хрипло, по-современному.

В мутном свете переулочных фонарей все притихло,

прижалось к воротам, принимая расплывчатые, таинственные очертания.

Ах, какая снежная глухомань! И с какой разрывной силой чувствуешь безвременье, чувствуешь жизнь, которая будет тут без тебя, — тот же каменный переулок, служба в церкви, метель, пепельные окна домов, только все без тебя.

Начиналась метель, и переулок стал выть, как труба. И сквозь белую и призрачную переулочную пелену, шатаясь, весь облепленный снегом, шел человек и орал: „И тот, кто с песней по жизни шагает...“

Он падал на колени, пригоршнями жевал снег, подымался и, кружась на месте, идя зигзагами, а иногда и задом наперед, выкрикивал: „И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет...“

Когда я поравнялся с ним, он взглянул мне прямо в лицо и, дыша жарко, сивушно, убежденно проговорил:

— Не пропадет. — И попытался схватиться за меня.

Ветер хлопнул дверью телефонной будки, и вдруг странно и дико, страшно автомат зазвонил сам по себе и звонил долго, рыдая, захлебываясь, словно звал на помощь, звал снять трубку, послушать чей-то крик, предостережение, а может, шепот.

Странно, дико было думать, что в этой же жизни были зеленые тихие улицы, сад с розами и жасмином.

Я иду лугом, в высоких травах и рукой касаюсь белых зонтичных кашек, а рядом волнующееся, как море, просяное поле, и ветерок пахнет соснами и земляникой, и стрекочут кузнечики, их так много, что они даже не здороваются, на каждой травинке свой кузнечик кует свое собственное счастье.

Даже представить нельзя, что это я тот, который шел через луг, идет сейчас этой сырой, серой ночью, глухим зимним переулком мимо зеленоватых фонарей, закрытых ворот, темных окон.

Я шагал и шагал по замерзшим переулкам, огибая мертвые углы, выветривая тоску, страх, мимо слепых окон, в которых, казалось, никогда и не было жизни,

мимо черных, настезь открытых ледяных подъездов, изредка ослепляла ярко освещенная витрина или оглушала визжащая дверь пивной, откуда вместе с пьяным гамом, хохотом вырывались облака пара, пахнущего пивом и разваренным горохом.

И, казалось, я один, один во всем городе, и никому нет дела и не может быть дела до того, что я чувствую, и я бьюсь в одиночку. И было такое чувство, что каждый смутный угол, каждая тень могли вдруг ожить и превратиться в того, в котиковой шапке, и оборотнем пойти за мной следом.

Уличные электрические часы показывали разное время, и это тоже пугало и казалось странным, преднамеренным и зловещим.

Метельный ветер подталкивал в спину, загонял в тупик, словно в каменный мешок.

Где-то рычала заблудившаяся машина, где-то фиолетово вспыхивали трамвайные вспышки, дышал и полз с крыши снег и падал, и было тихо. И вдруг в случайном подъезде кто-то стонал и хихикал, живя на полную катушку.

Впереди меня плелся старик в тяжелой шубе и такой же тяжелой боярской шапке и в галошах. Шел он медленно, как бы запынаясь. Я обогнал его и поглядел в лицо, седое, серое, болезненное. Он шел и задыхался, ему было не только тяжело двигаться, ему было тяжело дышать, тяжело жить на этом свете, прожить эту минуту было мучением, и я подумал: неужели и я дойду до этого, и у меня будет этот крестный путь в зимнюю ночь, в поземку, задыхаясь в муке жизни, с пустой авоськой? Я забыл на минуту все, что со мной сегодня случилось, все ушло далеко, и было неважно и ничтожно по сравнению с этим.

Неожиданно сильный порыв ветра, словно выстрел, захлопнул дверь автоматной будки, и я вздрогнул. А потом ветер рванул ее назад, и снова, и снова, словно безумный; посыпались стекла, и мне казалось, что это делают со мной.

Странная, вечная аберрация чувств, когда тебе плохо или ты несчастлив, болен, тебе кажется: всему свету серо и лихо и незачем жить.

Но вот я вышел на широкую Садовую, и будто меня вынесло на сверкающее большое колесо, по которому летели тысячи мелькающих огней, догоняя друг друга, соединяясь и разъединяясь, желтые, синие и белые. Это было как фейерверк.

И снова, в который раз, я понял и ощутил, что жизнь, не зная и не желая знать, что ты чувствуешь и переживаешь, сама по себе и всегда будет сама по себе. И все будет продолжаться, все будет повторяться, и собственная твоя жизнь будет повторена в тысячах и тысячах вариантов, и ничто никогда никого и ничему не научит.

Какая-то парочка брела впереди меня. Вот они остановились у витрины мебельного магазина и, выбирая мебель, спорили, потом они постояли у высотного дома и говорили, как хорошо иметь тут квартиру, потом остановились у почты, читали расписание теплохода „Россия“, говорили, как хорошо в июне поехать из Одессы в Батуми, поговорив, расстались у темного подъезда.

И тут вдруг в вечерней толпе, суетливой, спешащей, печальной и смешной, я заметил Свизляка, и словно пахнуло газом. Странно было видеть его на улице, на воле, на свежем воздухе. Он не существовал для меня вне квартиры. А он, узрев меня, выделился из толпы, выпер, сделал навстречу несколько шагов, закрывая своей собачьей курткой весь свет, я ясно и на улице почувствовал кислый запах блох.

— Нам не по пути? — сказал он.

— Я в переулок, — сказал я, повернувшись.

— Мне как раз туда и надо, — заулыбался Свизляк.

И мне стало душно, страшно, вдруг показалось, что его просто подослали и сейчас он меня заведет куда надо, прямо в руки, в объятия, а они там уже ждут за углом.

И самое странное и дикое, я покорно пошел в переулок, и все, что было, отошло назад. „Куда мы идем?“ —

хотел я спросить. И мысленно услышал ответ: „Куда надо“.

Теперь мы шли молча, и было так тихо, что слышны были наши шаги, и низкие, узкие, темные окошки деревянных домишек глядели скорбно и настороженно.

— Приятно встретить в городе знакомого человека, — сказал Свизляк.

Вдруг с крыши сорвалась огромная сосулька и разлетелась на тысячи веселых осколков. Свизляк отскочил, как от разрыва мины, и стоял с дергающейся щекой, а я рассмеялся, и со смехом прошел страх.

— До свиданья, — сказал я. — Мне в другую сторону.

Глава четырнадцатая

Гигантские качели и колесо обозрения неподвижно застыли, похожие на железных динозавров. И такая тоска сжала сердце, будто один ты остался от тех старых времен, когда кружилось колесо, и к небу взлетали качели, и взрывался фейерверк, и был карнавал, и ты под утро приехал за город, в лес, в студенческое общежитие, на поляне сверкали желтые лютики и терпко пахли свежие желтые одуванчики, и жизнь была бесконечной, за лесом всходило солнце, из сумрака кричала кукушка, и ты считал года. И это было утро начала войны.

Ветер загнал меня в открытую телефонную будку, я прикрыл дверь, и стоял в замерзшей будке, и думал, кому бы мне позвонить.

Ожило множество голосов: „Алло! Слушаю! Да!“ Господи, трудно было представить себе, что на той стороне провода тепло, уютно, лампа под абажуром, книги, чай в тонких стаканах, человеческая жизнь. И лютное чувство бездомной собаки охватило меня.

Наконец, я набрал его телефон, ответил знакомый, тонкий, психованный голос: „Вас слушают“. Потом го-

лос притих. Я слышал дыхание, из трубки как бы валил пар. Я молчал, а потом тихо повесил трубку. Значит, он в порядке.

Я пошел через железнодорожный мост. Дул сильный, порывистый ветер. Я был один на мосту, он гудел и вибрировал.

Я вышел на окраину, и в небе в желтом ореоле стояла луна, сверкал снег, скрипел под ногами. В открытом поле за темной толпой длинных, низких барачков сияли огни новых домов.

Двухэтажный коттедж светился уютными современными огнями современных люстр и торшеров.

Я вошел в просторный, свежий, еще пахнущий краской и какой-то уже забытой чистотой подъезд. Тишина и теплота оглушили мое беспомощное беспокойство и суматошность.

На освещенной скрытой лампочкой двери, обитой оливковой искусственной кожей, сверкали ярко начищенная медная табличка с выгравированным факсимиле хозяина, вроде тех старых табличек, что некогда висели на дверях провинциальных гинекологов, присяжных поверенных. Но эта была очень новая, щегольская, какая-то нахальная. Мне стало грустно. Перед оливковой роскошью этой двери я почувствовал свое ничтожество и неустройство.

Прежде чем позвонить, я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и лишь после нажал кнопку, на звонок откликнулся собачий лай.

Дверь открыла служанка, и тотчас же на пороге, как два брата, появились два сеттера. Пахнуло покоем, установившимся теплом, паркетным лаком, хорошим трубочным табаком и кофе.

Хозяин в стеганой шелковисто-шерстяной пижаме с очками в тонкой золотой оправе сидел за столом в глубоком старинном реставрированном кожаном кресле и читал новенькую плотную синюю книгу, в которой я узнал последний, 13-й, том Сталина.

Он не сразу поднял на меня глаза и только, когда я сказал „Здравствуй“, он отложил книгу и сказал:

— Привет, дорогой, садись.

Лицо его сильно изменилось, оно было теперь бледное, опухшее, замученное, живущее в высшем, недоступном мне мире.

Он вышел из-за письменного стола и сел напротив меня, и на мгновение установилась та товарищеская близость и доверчивость, будто мы только вышли из студенческой столовой Юридического института, где съели красный винегрет, перловый суп и компот из сухофруктов.

— Ну, как там ваши либералы? — Он снял очки.

— Почему либералы? Просто честные и порядочные люди.

Я вытащил пачку „Беломора“.

— Дурачье. Для вас — романтики! — Он засмеялся и щелкнул зажигалкой, дал мне прикурить и сам закурил.

Я забыл, зачем я пришел.

Мы долго сидели молча, он пыхтел трубкой и не торопил меня.

Потом я стал рассказывать, что со мной случилось, и оттуда, с недоступной, оглушающей высоты, где разреженный воздух, он спокойно наблюдал за мной.

Он на какое-то мгновение дотронулся до меня рукой, теплой и дрожащей, какой-то мягкой и безвольной, какой-то ужасающе испуганной и все-таки товарищеской, собрав в своей душе все остатки человеческого, юношеского.

— Только брось встречаться с Люсиным, — вдруг сказал он.

— А чем он виноват?

— Я не знаю — чем, я не хочу думать — чем, и тебе не советую думать, а брось, брось!

Он взвизгнул, а когда успокоился, с грустью сказал:

— Все мы свою голову временно на плечах носим.

Посольские сеттеры ходили вокруг, стуча хвостами, и, когда подходили, лизали ему руки.

В это время зазвонил телефон как-то нервно, громко, и слышно было, как и внизу трещит параллельный. Он поднял трубку: „Да?“ — и сразу лицо его стало напряженным, беспокойным и растерянным. В дверях стояла жена и смотрела на него. Он слушал и только повторял: „Да, да“, — потом прикрыл рукой трубку и тихо, дрожаще сказал: „Предлагают выступить о врачах-убийцах“. Он весь обмяк, его можно было накладывать в штаны ложкой.

Я помотал головой, а жена прошептала: „Соглашайся, что ты!“

И он снял руку с трубки и уже твердо, спокойно сказал:

— Да, пришлите материалы.

И лицо его стало, как глиняная маска.

Он снова сел в кресло и задумался. И вдруг лицо его исказилось.

— Я говорил тебе, не якшайся с Люсиным. Сколько раз я тебе говорил?!

У него было искривленное от ненависти ко мне лицо. Все знали, что он дружил со мной, и он знал, что все это знали.

— Говорил, что плохо кончится, скажи, говорил?

— Ну.

— Что — ну? Идиот. Расхлебывай, черт с тобой, раз ты такой болван, незачем других за собой тянуть.

— Я не тяну.

— А зачем ты пришел?

В голосе его было повизгивание, какое-то жалкое поскуливание, словно все больное, обиженное, словно страх, загнанный глубоко, вдруг вырвалось наружу. Он силой воли замаял это и устало, мирно, как-то замученно сказал:

— Уезжай, исчезни на время. Ну что я могу тебе еще посоветовать.

— Понятно, — сказал я.

— Не будь на виду, пережди, пока это прекратится, — сказал он, не глядя на меня.

— А ты думаешь, что прекратится?

— Не может же вечно продолжаться это сумасшествие.

— А это сумасшествие?

— А ты как думаешь? — Он внимательно посмотрел на меня.

— Но ты в нем участвуешь.

Он развел рукой: „А что делать?“

Внимательное и тревожное лицо его заострилось и посерело.

— Поступай как хочешь, я тебе ничего не говорил.

Он встал, и я встал.

— Бувай, — сказал он и подал холодную жесткую руку с негнувшимися пальцами.

Я пошел по лестнице вниз, по ковровой дорожке.

— Ты у меня не был, — сказал он сверху.

Два сеттера стояли внизу, и внимательно глядели на меня, и чего-то ждали.

...А он в шелковисто-шерстяной пижаме, в тонких золотых очках, как только опустилась ночь, как только затихло непрерывное движение по шоссе сверху вниз к Москве-реке, он, сидя неподвижно в кресле с новым синим плотным томом в руке, уже не понимая, что читает, прислушивался к идущим сверху, из города, по шоссе машинам. С тех пор, как ему рассказали, как взяли на рассвете его приятеля, как приехали за ним на казенной машине, он уже не мог спать и просиживал так ночи, ожидая, слушая дальний, как жужжание пчелы, звук, зарождавшийся где-то там, вдали, потом он нарастал, заполняя собой всю ночь, приближаясь к самому окну, к самому сердцу, на мгновение останавливалось сердце, и визжа и плача, машина проносилась вниз и уходила все дальше и дальше, гложнув за кладбищем, в дебрях ночи. Но уже там, наверху, зарождалась новая пчела, и снова он слушал, жадно ждал приближения, и с воем, все нарастающим, машина приближалась к самым окнам, к самой душе. И он считал машины всю ночь до рассвета, считал машины и ждал с в о е й. И только

когда начинали шуршать троллейбусы, и бодро, звонко, громко раздавались первые голоса улицы, и проходили темные фигуры с еще пустыми авоськами, он понимал, что на этот раз пронесло, и, приняв снотворное, засыпал ужасным, чугунным сном, в котором взрывались машины.

Город застыл, замер.

Я вспомнил, как мальчиком некогда приехал из местечка. И впервые услышал шум большого города там, из окна седьмого этажа на Тарасовской улице в Киеве, этот рассеянный в воздухе, вездесущий, всепроникающий и обнадеживающий шум, сотканный из автомобильных сирен, трамвайных звонков, скрежета вагонов на круге, каких-то таинственных родственных гулов, сигнальных рожков, тяжелого хода поездов на железнодорожной линии, все то, что, как порохом, заряжает молодое, открытое всему и готовое ко всему сердце. И жизнь казалась бесконечной.

Это было давно, это было так давно.

Низкие грязно-желтые тучи, из которых по временам внезапно сыпался сухой, жесткий снег, желтые фонари, и желтые смутные окна домов, и желтые замерзшие окна проезжающих троллейбусов, низко метущая поземка — все заколдовывало такой гнетущей, такой беспросветной сумасшедшей тоской, что только и сил было идти и идти, не глядя куда, лишь бы идти, не останавливаться, не думать, чем это кончится.

Казалось, сам город, этот древний город, существующий века, приспособился: он стал сумрачным, его вымирающие к десяти часам вечера улицы, мрачные, с оранжевыми муляжами витрины, тускло освещенные кино с одной и той же по всему городу единственной кинокартиной „Чижик“, стенды с серыми, похожими друг на друга газетами, тысячи тысяч раз повторяющийся один и тот же каменный портрет, мертвеющий, затухающий, как у бесконечно больного человека пульс, приводят в отчаяние. Ночь давит, гнетет, и каменные дома

давят и гнетут, и впереди кто-то прячется за выступами и ждет; весь город кажется одной серой, сплошной громадой, из которой никуда нельзя удрать, и куда ни пойдешь, куда ни свернешь, будет то же низкое, желтое, гаснущее небо, те же серые безнадежные стены, желтые фонари, и всегда за углом кто-то прячется, следит за тобой и дожидается.

Это налетает, как вихрь. Пустота, оглушительная пустота. Будто из города выкачали воздух, и улица безмолвно и нечаянно уходила вдаль, и дома стояли, как театральная декорация после окончания спектакля, никому не интересная и не нужная.

Загорался где-то свет в высоком окне, и он тоже был неживой, нарочный, и не чувствовалось, что за ним чья-то сиюминутная жизнь, судьба.

Вспыхивали и гасли светофоры, беззвучно пролетали по улицам машины, кто-то суматошно в неположенном месте персбегал дорогу, кто-то в уличной толпе у края тротуара, прощаясь, наскоро целовался, швейцар в золотой канители не пускал кого-то в ресторан.

Зачем это было и к чему?

И все казалось одним немым, ненужным, заигранным и скучным спектаклем. На один только миг я вдруг возвращался, и все оживало и голосило, как в детстве и юности, свистело милицейскими свистками, шуршало автомобильными шинами, трезвонило старыми, добрыми трамвайными звонками.

А когда я вышел в центр, меня охватило странное чувство иллюзорности, неправдоподобия и одновременно уже раз где-то виденного, не понятого, не прочувствованного до конца, жуткое чувство, что я не надышался, не выжил все это, а оно уже не нужно мне, в покойническом свете люминесцентных ламп, расплывчатое и тусклое, как на экране локатора, идущее где-то в тумане, и штормах, и брызгах, и живом ветре, независимо от меня и не для меня.

В первый раз, когда это случилось, когда оглушили эта пустота и равнодушие, ты очень испугался, ка-

залось, что это конец, что больше никогда ничего не будет. Но потом это прошло, просто прошло, и даже не велось, что это было с тобой, а потом это снова наступило, оглушило, и ты все время ждал и говорил себе: это пройдет, пройдет. И так оно и было.

Тут у меня уже был некоторый опыт, и я знал: надо только иметь некоторое терпение, не впадать в панику, и это пройдет, снимется, как катаракта с глаза, и следа не останется.

Но вместе с этим и жизнь проходит, будто просачивается сквозь сито.

Глава пятнадцатая

Раньше в вечернем центре мне всегда было радостно, завлекательно, только выходил из метро на площадь Революции, и вечерние огни, и случайная, возбужденная, взбудораженная толпа безвестных женихов, рогоносцев, любовников, зевак, и эта атмосфера ожидания приключений. Я сразу все видел, и понимал, и на лету схватывал улыбку, взгляд косой, мимолетный, похоронную фигуру безнадежного стояния и понимал, что к чему и что будет дальше, кто просто надеется на манну небесную, у кого шансы и кто сиюминутно счастлив, а кто срочно идет ко дну. Но и те, и эти были в хмелю, захвачены блеском фонарей, нервным тиком вечерней улицы, вовлекая и меня в яркое колесо.

Я с наслаждением глубоко вдыхал этот искрящийся, возбуждающий воздух, блеск фонарей, блеск капровых чулок, бандитские улыбки, горячий, чадающий запах солянки на автобусной остановке, шелковистое шуршание женских плащей, кожаный служебный дух командировочных портфелей, яркий, беззащитный цвет первых нарциссов. „Нарцисы, нарцисы, фиалки из-под Крыма!“

И чей-то голос иронически парировал: „А ну-ка, пройдитесь вдоль пирса!“ И я тоже, как и другие, мед-

ленно, независимо прохаживался вдоль пирса, разглядывая лица и ноги, туда и назад, как челнок, туда и назад, нервничая и взвинчивая себя, словно ожидая кого-то, словно твердо зная, кого я ожидаю, и тот, кого ожидаю, это тоже знает и уже торопится сюда в набитом вагоне метро, или дальнем автобусе-экспрессе, или троллейбусе. И неоновое свечение, крик афиш, и чья-то качающаяся, затягивающая тебя в воронку, походка.

И я не чувствовал одиночества, объединенный с сотнями, с тысячами таких же одиноких, знакомых и незнакомых, даже невидимых на других улицах и площадях, но которых я чувствовал идущими в горячей толпе, зыркающими, шаркающими подошвами вослед, подмываемыми надеждой на случай, на встречу, вечной неугасимой надеждой, живущей и в моей душе, спаянными вечерним неоновым свечением, блеском вечерних фонарей, блеском листвы и тем неуловимым, недоговоренным, недосказанным, недомолвленным, обещающим, что всегда живет, струится, растворено в сумерках Большого города.

И потом прохладный „Арагви“ с Витязем в тигровой шкуре или погребок „Иртыш“, где ныне „Детский мир“, чад шашлыков и острый запах сациви, звуки зурны и раздражающее душу пиликанье команчи. А потом уже за полночь „Ласточка“ у причальной стены на Фрунзенской напротив Парка культуры и отдыха, легкое мнимое покачивание, огни проходящих речных теплоходов, и тяжелый ход, и рабочее дыхание ночных грузовых барж, и чувство отстраненности от жизни города, отъединенности от его огней, которые рядом и одновременно далеко за водой морей и океанов. На рассвете прощание на розовом углу Якиманки. Я записываю телефон обгорелой спичкой на коробке „Казбека“, а она губной помадой на игровой карте, перевернула карту — шестерка, и сказала: „Дальняя дорога...“

Я остановился у ярко освещенного подъезда Театра имени Пушкина. Я еще помнил, когда тут был Ка-

мерный театр, я еще помнил „Жирофле-Жирофля“ и „Адриенну Лекуврер“ с участием Алисы Коонен и потом „Оптимистическую трагедию“ — последний всплеск, последний крик.

В освещенной витринке „Сегодня“ значилось: „Третья молодость“, — это о гениальном открытии старушки Лепешинской. Вышел служитель в ливрее, вынул „Третью молодость“ и вставил новый трафарет.

— Скоро конец спектакля? — спросил я.

Он подозрительно взглянул на меня, словно это была военная тайна, промолчал и пошел с „Третьей молодостью“ под мышкой в театр.

Вдруг в вестибюле вспыхнули огни, распахнулись двери и хлынул поток. На тротуаре собрались зеваки поглядеть театральный разъезд. Толпа была какая-то серая, унылая, в затрапезе, некоторые даже с авоськами и портфелями, словно после долгого, утомительного собрания. Больше всего было девчонок, еще одинокие или парами старушки и очень мало мужчин, несколько военных летчиков и командировочные в кожаных пальто и цветных шарфах, с чемоданчиками, очевидно, не дошли еще гостиницы.

Иногда казалось, кто-то из толпы вдруг пронзительно глядит на меня, но этого не могло быть. Он шел из театра и ничего не мог знать, но все-таки я оглядывался и проверял, ушел ли тот пронзительный прочь, и только тогда успокаивался.

Все до последнего человека вышли, появился уже знакомый служитель в пальто и ушанке, закрыл дверь, заложил ее палкой изнутри и ушел. Погас свет в подъезде. Я оглянулся, никого вокруг не было, и я пошел вверх, к Пушкинской площади. Фонари на бульваре тускнели и разгорались, иногда фонари мигали, зимний ветер раскачивал их.

Я пошел мимо темного спящего дома Герцена, мимо „Кинохроники“, которая когда-то называлась „Великий немой“ и где сейчас в маленьком длинном провинциальном зале с покатым полом показывали „Во льдах океа-

на“, мимо старой аптеки на углу, которая еще помнила Страстной монастырь и, наверное, поставляла лекарства монахам, и где еще и сейчас старики и психи могли всегда достать готовую микстуру Бехтерева, мимо Пушкина, который еще был на месте, там, где его поставили любители изящной словесности, и к которому не зарастала народная тропа; и мимо дома, на угловой башенке которого стояла каменная женщина, мимо Елисеевского, пылавшего купеческими люстрами, бывшей гостиницы „Люкс“, где доживали последние коминтерновские деятели, мимо тупых, тяжелых комодов — домов Мордвинова, пошел вниз по тусклой и почти пустынной улице Горького к Охотному ряду.

В вестибюле гостиницы „Москва“ было чисто, тепло, парадно и пусто, как на избирательном участке в ночь перед выборами.

Там, в конце длинного вестибюля, в нише, высвеченный маленьким прожектором, мерцая, стоял во весь шинельный высокий рост мраморный генералиссимус, и еще слева, за аптечным киоском, он же в кителе сидел на широкой садовой скамейке рядом с Лениным, как бы обнявшись по-дружески, свойски, неразлучно беседуя, и не он, а Ленин, склонившись к нему в мраморной чуткости, прислушивался, ловя его советы. И кроме того, еще со стены, с огромного панно, он с трубочкой в зубах, задумчиво и мудро глядел в полуоткрытое зашторенное окно кабинета поверх кремлевских красноосвещенных восходящим солнцем стен на утреннюю, летнюю, озаренную его жизнью Москву. И повсюду стояли горшки с бледными зимними оранжерейными гортензиями и была торжественно-траурная тишина.

Несколько ночных пассажиров с крашеными фанерными чемоданами прошли в сумраке между мраморными колоннами к ярко освещенному окошку администратора и что-то спросили, им что-то ответили, и они отошли, и стояли растерянные. И так они были нелепо чужды и незащитны в своих черных и синих длиннополых

пальто, с деревянными чемоданами среди хрَامовой высоты вестибюля, калориферного тепла и зеленых кадок с пальмами, на виду у пятиметрового мраморного генералиссимуса. Они держали короткий, тихий провинциальный совет и гуськом, мимо швейцара в серебряной канители, неподвижно стоявшего у дверей, вышли друг за другом с деревянными чемоданами России в снежную метель.

У окошка дежурного администратора было тихо, казалось, номера выдают в небесной канцелярии, вдруг звонили с седьмого неба и говорили: „Броня“. И если и, бывало, какой-то дикий, заросший командировочный провинциал в сапогах с галошами и разбухшим портфелем, или в чеховском пенсне с саквояжем, или же пьяный московский мастеровой, вдруг случайно залетевший в гостиницу, спрашивали: „Номера есть?“, — им отвечали: „Не бывает...“

Такими странными, холодно-чужими казались теперь эти мраморно-парадные колонны, и хоры, и высокие лепные потолки, словно это был дворец шаха, Гарун аль-Рашида, а в войну, когда я вернулся из партизан, я долго жил тут, возвращаясь, как к себе домой; вдруг на минуту пришло ощущение, что я и сейчас тоже живу, и в теплом уютном лифте поднимаюсь на свой этаж, в свой номер, и все это невозможно отдалилось, словно это было в другой стране или в другом веке.

Я сел в мягкое кожаное кресло, и мне стало покойно и хорошо.

... Скоро Новый год, в ресторан „Москва“ съезжаются гости, у парадного ярко и празднично иллюминацией украшенного подъезда сержанты милиции еще на улице проверяют пригласительные билеты.

А в тихой и пустынной гостинице по мраморной лестнице поднимались три молодых человека в серо-стальных коверкотовых костюмах, новых носках и новых лаковых штиблетах. Они разделись внизу и на вопрос швейцара „В какой номер?“, ничего не ответили, только взглянули ему в глаза, и он кивнул, и покорно взял их

одинаковые, сшитые в одном ателье пальто, и одинаковые велюровые шляпы, и с поклоном вручил жетоны, и проводил их серьезным грустно-восторженным взглядом.

Через гостиничный служебный вход они вошли в ресторан, в жаркое праздничное многолюдство и смелым шагом меж роскошных, сиявших белизной и нетронутостью, уставленных с обычным излишеством длинных пиршественных столов прошли в дальний угол, где их уже ждал отдельный маленький столик.

Они сидят, как братья-близнецы, блондины, сероглазые, с одинаковым перманентом, и чокаются чопорно, служебно, немного печально, пьют сладкий портвейн, небрежно закусывая соевыми шоколадными батонами, и загадочно, томно усмеваются, то ли тому, что они пьют, то ли тому, что они в этом зале одни знают.

Зачем они вызваны и по накладной, по перечислению выписан им портвейн и соевые батоны? Кто в первые часы Нового года отгуливает, веселится последние часы своей вольной жизни? Не за этими ли тремя, в глаженных костюмчиках, что сидят в отдалении, в одиночестве, на высоких круглых кожаных табуретах бара, активно чокаются и что-то грустно, чуть слышно бормочут друг другу? А это были мы, у нас не было приглачительных билетов, этих длинных глянцевых билетов с разноцветными елками и готическим шрифтом. Мы тоже прошли тем же внутренним ходом, будто жильцы гостиницы, будто только с поезда, с Дальнего Востока, и, когда били куранты и взорвался оркестр, сквозь фейерверк летящего на нас конфетти, стреляющих пробок шампанского проникли за толстую портьеру, и эту минуту ликующего крика, когда внезапно и сразу забываются все прожитые годы, все несчастья, потери, боль и тоска и есть только это наступающее, видимое с вершины, под гром музыки, в короне жаркого света люстр будущее, сулящее, как и всегда и вечно, надежду на счастье, эту минуту мы пережидали неприкаянно, прячась за толстой портьерой, наедине с хо-

лодным ресторанным окном, глядя на немую, метельную Манежную площадь, по которой игрушкой катился мимо мертвых фонарей одинокий, пустой, замерзший троллейбус.

Но только стих первый шквал и поднялись из-за столов танцоры, мы вышли из укрытия и втроем, в мужской компании, привольно куря сигареты, с чувством приглашенных, которым надоело веселье, стали спускаться по лестнице в бар.

И тут, сидя на высоких, круглых, обитых хрустящей вишневой кожей табуретах, чокаясь бокалами, выпили шампанское за Новый год. Мы пили за тех, которых тут нет с нами, и шепотом, скорее одними губами, одними глазами произнося тосты, выпили за тех, которых берут этой ночью прямо от елок и праздничных столов, срывая ордена и медали, с мясом срывая погоны, а потом выпили за тех, на которых только сегодня выписаны ордера, а потом за тех, на которых только получены анонимные доносы. Так мы сидели и пили...

— Гражданин, вы кого ждете?

Передо мной стояла женщина-администратор в строгом темном костюме и батистовой блузке, резко и лишне пахнувшая духами.

— Вы кого ждете? — повторила она.

— Самого себя, — вдруг сказал я.

— Тут не положено.

— Что не положено?

— Гражданин, русским языком сказано — пройдите, а не то поговорим в другом месте.

— В каком же другом?

— Вы знаете, — сказала она.

Я встал и тихо вышел. Администратор-женщина проводила меня взглядом до самых дверей, и швейцар в фуражке с серебряной канителью, стоявший у дверей с заложенными назад руками, тоже проводил меня взглядом, и я вышел с чувством, будто я что-то украл или хотел украсть.

Глава шестнадцатая

Фольгой сверкали снежные липы в сквере на Театральной площади, и сквозь медленно падающий в темном городе снег, как на картине прошлого века, стоял Большой театр с чуть подсвеченными колоннами.

Я прошел через заснеженный сквер, вдоль железной ограды которого вытянулась колонна длинных темных ЗИСов с кремовыми занавесками.

Нет, это не был веселый вечерний хаос, театральные съезды балетоманов. Это был строгий, почти военный, через определенные интервалы строй одинаковых, зеркально-лаковых, без единой царапинки, свободных, как дворец, лимузинов. Еще издали чувствовалось поле напряжения, отделявшее их от всего окружающего мира. Это были машины, спустившиеся с высокогорных дорог, с тех разреженных пространств, где нет регулировщиков, с желтыми фарами и окантованными в рамки паролными номерами, при виде которых земная трасса отдавала честь. Это были не машины, а аппараты, если кто приблизился, мог почувствовать не горелое смазочное масло, а чистое железо, шинельное сукно, аскетизм, всесилие.

Лимузины эти подкатывали к особому запасному подъезду и выходил один он, как бог, а потом его соратники цепочкой, как апостолы, и вокруг была пустыня улиц и стояла чуткая, намагниченная тишина.

Когда лимузины мягко сдвигались с места, рванувшись вверх желтым светом и лягушачьей сиреной, за ними с той же скоростью шли пугом „Победы“ с моторами „мерседесов“, и кавалькада пронеслась бесшумно и молниеносно на зеленой волне спящего города.

Шоферы в кожаных пальто и министерских пыжиковых шапках стояли тесным своим кружком, как члены одного ордена, намертво спаянные, крепче, чем может спать какая-либо современная сварка, круговой поручкой, подачками, привилегиями особого секретного положения. Они не были ни главными фигурами, ни их по-

мощниками, ни даже помощниками тех помощников, они были только подсобники, но они в службе, да и вне службы жили в ином, особом, озонированном высшем мире, и разговаривали они между собой будто молча, будто не открывая рта. И такая тишина была огромная, глубокая, все окаменело, онемело, и в небе над колоннами кони застыли в полете под темными, рваными зимними тучами; казалось, еще миг, и они не выдержат этой гнетущей тишины и улетят вместе с тучами в великую вольную вселенную неба.

Вдали, у ступеней Большого театра, вышагивало несколько сержантов милиции в добротных, несержантских шинелях, а в тени у колонн и под заснеженными липами как бы нечаянно торчали немые, темные силуэты.

Я на миг остановился, очарованный и пораженный волшебными пропорциями вечной и великой простоты коринфских колонн и подсвеченных коней Аполлона, и ко мне уже приближался силуэт в черном длиннополом пальто, и, очнувшись, я стал уходить.

Казалось, и деревья смотрели на меня хмуро и неодобрительно, и извилистая тропинка через снежный сквер вела куда-то, куда бы и незачем, совсем не надо было бы идти, и я попытался свернуть на целину, но это совсем показалось диким, и несуразным, и очень подозрительным, и я поплелся одинокой протоптанной тропинкой. Неведомая сила тянула меня между белых деревьев к колоннам, а я, стараясь не глядеть на колонны, и на машины, и сержантов в тонких шинелях, прогуливающих по пустынному проспекту перед колоннами, и вообще не глядя ни на что, пряча глаза, как сквозь минное поле, прошел через пустое пространство у Большого театра.

Длиннополый провожал меня взглядом, и шоферы в министерских шапках очень чутко, почти все сразу взглянули на меня. Я шел, подключенный к высоковольтной линии, пересек дорогу к ЦУМу, где в больших, зеленоватых от неестественного света витринах

навытяжку стояли манекены с лаково глиняными лицами, карминными, будто покрашенными губами, в пиджаках, которые распирала широкая мужественная грудь, и почему-то они тоже казались переодетыми агентами, назначенными стоять в витринах. Я шел, освещенный неонами, и еще двоилось и троилось в глазах, пока на углу Кузнецкого не попал в тень, и только тогда я почувствовал, как упало напряжение и как я устал.

Я повернул на Кузнецкий мост.

Сейчас он был мертв, тяжелые дома с кариатидами нависали над узким ущельем улицы и давили меня, и лишь легкие, изящные куклы в высоких зеркальных витринах Дома моделей легкомысленно оживляли грустную кладбищенски-пустынную улицу, говоря о тщете этой жизни и превращении всего на свете в конце концов в кукольную комедию.

Большой Гастроном уже был закрыт. Был тот последний миг, когда продавцы убирали с холодильных прилавков окорока, сыры, и в кассах кассирши считали выручку, а у входа сторож в тулупе милосердно уговаривал запоздавших: „Не будем, граждане“. В это время к магазину подъехала низкая, серая машина „Связь“, из нее вышел артельщик в кожанке с оттопыренным бедром, с брезентовым мешком, ключом постучал в дверь, и сторож с той стороны открыл ему.

Все было закрыто и затемнено: магазины, кафе, пельменные, пирожковые, ярко освещены были только киоски „Мороженое“, а еще замерзший мужчина продавал с открытого лотка новое академическое издание Данте. Я остановился и полистал Книгу ада.

В табачном киоске на углу горел свет, за замерзшим стеклом, среди разноцветных коробочек замороченный старичок в очках отщелкивал на счетах. Я тихонько постучал, старичок даже не поднял головы. Тогда я постучал сильнее и крикнул:

— „Беломор“!

Старичок вздрогнул, словно крикнули: „Пожар!“, —

и поднял на меня испуганные, печальные глаза, в которых было несчастье недостачи. Я жестами показал: „Курить хочу, ради бога“ — и повторил:

— „Беломор“.

Старичок, как загипнотизированный, отодвинул дощечку и молча выкинул пачку с синими линиями каналов.

— Спасибо, большое спасибо, — сказал я.

Сквозь стекло я видел, как старичок опасно встряхнул счеты и начал все сначала.

Я жадно закурил и глубоко несколько раз затянулся дымом, и сразу мне стало как будто легче, словно я поговорил со старым верным другом и тот меня немного успокоил.

Глава семнадцатая

Я шел каменно-пустыми, как во время воздушной тревоги, улицами, будто из них вынули душу, язык. Длинные старые торговые ряды в стиле ампир, все эти мануфактурные, галантерейные, железно-скобяные, москательные лавки, миллионерские особняки были сплошь заняты мелкими и мельчайшими учреждениями.

Бесконечной чередой тянулись темные, мертвые окна бесчисленных министерств и ведомств, расплодившихся, отпочковавшихся друг от друга, разделенных, и вновь соединенных, и вновь раздробленных, разбухших, страдающих водянкой, разных добровольных обществ, за которыми не было никакого общества — одна вывеска, одно штатное расписание, одна печать, затопивших, заполнивших подворья, пассажи, боярские палаты, извозчичьи кабаки, кадетские корпуса, бордели, дворцы, иллюзионы, рестораны, гостиницы, танцклассы, вникших в древние стены, башни и башенки китайгородской стены, в подвалы и подземелья Маросейки, Варварки, Солянки.

У всех подъездов, тесня друг друга, вися друг над другом, было огромное количество вывесок и табличек, высокомерно золотых, маленьких, сереньких и совсем крохотулек, с какой-то татарской вязью, разных трестов, агентств, контор, конторишек, филиалов. И в окнах видны были заляпанные чернилами канцелярские столы, стеклянные шкафы, набитые папками, железные сейфы. Столы стояли в вестибюлях, под лестницами и выпирали чуть ли не на улицу. Всюду были комендантские будки с окошечками, как в тюрьме или лагере. Со звоном открывались железные ворота, и выезжали машины или мотоциклеты с фельдъегерями.

Я вышел на площадь Ногина. Огромное здание бывшего Наркомата тяжелой индустрии, в котором некогда наркомом был Серго Орджоникидзе, и куда я приезжал еще подростком из Сибири с изотовцами — горновыми и сталеварами, — и где теперь было Министерство угля, и Министерство нефти, и Министерство черной металлургии, и Министерство цветной металлургии, и различные главки, и все, все было освещено, и пылало, и, казалось, жужжало, как пчелиный улей.

Сталин не спал, и министры не спали, и их заместители, и помощники, и референты, и секретарши, и стенографистки, и главные бухгалтеры, и главные геологи, и главные сталевары, и главные прокатчики, и главные технологи, и курьеры, и буфетчицы, и самокатчики, и фельдшера, и телефоны ВЧ, и охранники, а там, по всей Великой стране, не спали секретари обкомов, командующие военных округов, директора заводов, начальники шахт — вся страна перестроилась, перекроила свой день, свою жизнь на распорядок по организму бессонного генералиссимуса.

И пока он не спал, он где-то там бодрствовал, и курил свою трубку, и стоял у глобуса, никому не было спокойно, у всех было тревожно на сердце, и никто не спал и ждал, иногда просто сидел за столом и смотрел на телефон.

Я пошел вверх по Солянке, потом по Покровке. Улицы были мертвы, слишком ярко светились витрины, и

свет их был безжизненный, беспечельный и какой-то наигранный. Прохожу мимо магазина „Канцпринадлежности“, и в неоновом свете так ясно видны все эти прекрасные и удивительные вещи — раскрытые готовальни, и на зеленом и черном бархате циркули и кронциркули, волшебные фонари, перочинные ножики. И я с азартом мальчишки все это разглядываю, смакую, владею этим, держу в руке и маюсь.

В сущности, я никогда этого не имел. Как же так случилось? Теперь я иду по улице и думаю, сколько же великолепных, чудесных вещей прошло мимо меня. Никогда не было у меня калейдоскопа, не было ружья, фотоаппарата-“зеркалки“, не летел я на велосипеде по улицам в велосипедной каскетке в мелькании солнечных миражей. А позже ни разу не держал в руках, не крутил баражки, не чувствовал дрожи восьмидесяти лошадиных сил, мягких и покорных, — и мимо ночных строений, ночных теней, по асфальту дороги, к цели и беспечелю.

И вот еще что: правда, есть на свете Мадрид, Рио-да-Жанейро, есть Канарские острова, и Балеарские острова, и Огненная Земля. Или это только на голубой карте полушарий, там, в детстве, в писчебумажном магазине...

Где-то в покровских переулках свистел милицейский свисток, вслед за тем, казалось, послышался грохот выстрела, и ночной страх, каменный ужас пустого города коснулся меня и погнал вперед к свету, на широкую, как река, магистраль Земляного вала.

Метелица кружила, как в поле, и багровые фонари уходили в туман, желтея там вдали.

Одиноко катился троллейбус со снегом на крыше, замерзший, скрипящий. Он как бы случайно залетел на эту широкую улицу, и ему было холодно, студено на свистящем, открытом ветру, и он спешил поскорее укатить туда, вниз, к Орликову, и казалось, что там, в конце пути, его ждет теплое убежище. Не может же он так без конца кружить и кружить в метель.

Улица была просторной, пустой и вольготной, новые номенклатурные дома выходили на тротуар парадными мраморными портиками, и уютно и жарко светили сквозь метелицу своими широкими оранжевыми и голубыми окнами отдельных квартир, и говорили о радости жизни, покое, и резко контрастировали рядом смутные, узкие, невымытые окна коммунальных комнатушек, в которых поверх занавесок видны были тени на стене, среди старой мебели. И я узнавал свою жизнь, пропащую и тусклую.

Я зашел в одинокую забытую телефонную будку и набрал номер. Из мертвой ледяной трубки послышалось: „Да, кто там?..“ Я послушал, жадно вдыхая в себя этот мирный и уютный голос, и тихо положил трубку. Я не имел сил говорить, все во мне одеревенело. Я шел дальше мимо темных витрин. И вдруг совсем рядом завывло, задрезжало. Я вздрогнул. Громадный черный железный ящик милицейского телефона на углу дико гудел, и содрогался, и вибрировал. С поста медленно, в огромных валенках и тулупе шел на звук сирены, весь в инее, регулировщик. Он открыл железный ящик, взял трубку и искоса взглянул на меня, и я, не оглядываясь, быстро пошел, чтобы не подумали, что я подслушиваю.

Почему-то всегда, когда мне плохо, тоскливо, я иду на вокзал в станционную сутолоку, в эту насыщенную электричеством атмосферу ожидания и надежды, словно к истоку своей жизни, и мираж обновления, иллюзорные чувства, что все начнется сначала, только уедешь на поезде, что все еще будет там, за далекими верстами, будоражат и успокаивают.

Очевидно, это привычка поколения, начавшего свою жизнь с вокзала, с прощания, с разрыва в самые юные чувствительные годы со всем прошлым, с детством, с отрочеством, отчим домом, первыми учителями, навсегда, наконец, на веки веков.

До сих пор не могу равнодушно слышать в ночной тишине дальний гудок паровоза, хотя уже знаю, прекрасно знаю, чем все это кончается. Гудок на самой вы-

сокой щемящей ноте уводит вперед, в раскрытые поля, вдаль, за леса, за горизонт, и нет сил, просто нет желания противиться, снова и снова кажется, что все только начинается, все еще впереди, что все еще будет.

Каланчевская площадь трех вокзалов, ярко освещенная, жила своей бессонной ночной жизнью. По ней шныряли прохожие, и то и дело к вокзалам подъезжали и уходили машины.

Я пошел на Казанский. Толстая контролерша у входа крикнула: „Билеты!“ Я сказал, что есть билет, и, не останавливаясь, прошел. Запахло паровозной гарью, хлоркой, пеленками, густым до непродыха вокзальным воздухом, почти паром.

Вокзалы, как люди, неодинаковы. И если Ленинградский, или, как он назывался раньше, Октябрьский, а еще раньше Николаевский, вокзал — пижонский, аристократический, служебно-командировочный, пуст и звонок, пассажиры прибывают на такси почти к самому отходу „Красной стрелы“ с портфелями или маленькими, артистическими чемоданчиками, кинозвезды, академики, генералы, иностранцы, и, никогда не задерживаясь в ресторане или буфете, проходят на платформу, и редко встретишь пассажира с тюком или мешком, то Казанский вокзал — вокзал народный, плебейский, многонациональный, вокзал пассажиров дальнего, транзитного следования с огромными плетеными корзинами или деревянными чемоданами с замочками, и они прибывают задолго, может, за сутки до поезда, и тут и живут и спят.

У главной стены нерушимо стоял пятиметровый мраморный вождь в длиннополой шинели и полувоенном картузе, заложив руку за борт, и у его подножия роился, копошился, шумел, жужжал, колунал крутые яйца и чистил апельсины, храпел, томился, засыпал, и просыпался, и мучился пассажирский народ, а он, заложив руку за борт, с высокомерно каменным лицом поверх голов глядел вдаль, только вдаль, видел то, что никто не видел и не мог видеть.

Тут были древние старики, похожие на паломников, сибирские мужики в тулупах и пимах, узбеки в пестрых

ватных халатах и тюбетейках, матросы Тихоокеанского флота, рязанские бабы, калмыки, ойроты, уральские рабочие, астраханские рыбаки, волгари, — здесь была вся Россия, жаждущая перемены места, куда-то ее несло, какие-то мечты, надежды и иллюзии, как огни паровоза, светились перед ними.

Пассажиры сидели и лежали на длинных дубовых, коричневых, костлявых скамьях с гербом НКПС на высоких спинках, некоторые спали, другие ужинали, разложив на чемоданах пропитание, третьи просто ничего не делали, оцепенело ждали.

Над спящими детьми колыхались на ниточках разноцветные воздушные шары, массы воздушных шаров, красных, синих, зеленых по всему залу. Казалось, это сны детей. И почему-то было очень много бубликов, почти у каждого второго гирлянда бубликов, и еще авоськи с оранжевыми апельсинами, а в мешках угадывались белые батоны.

В зале стояло сдержанное жужжание ночных разговоров, окна звенели и вибрировали.

Между скамьями медленно прохаживался сержант милиции, коренастый, с сильными плечевыми мышцами мужичок, в новой, синей, аккуратной шинельке, упакованный в новенькие желтые ремни, в зеркально начищенных сапожках, с молодым, монгольского типа бдительно-напряженным лицом, не выдерживающим ответственности. Он пронзительно вглядывался в лица пассажиров. Некоторые простодушно, как кролики, смотрели прямо в его глаза, другие отворачивались, а иногда сержант время от времени останавливался и гипнотизировал кого-то специально им избранного, узнал ли он его по словесному портрету, или показался ему подозрительным, или просто решил проверить, поджарить на раскаленной сковородке подозрения. Теперь он это делал с безруким инвалидом в старой, как бы ржавой, продымленной шинели с подвернутым рукавом и в такой же старой ржавой цигейковой шапке. Инвалид не обращал на него внимания и крутил единственной рукой сигарку, заклеил ее языком, потом, прижав

обрубком коробок, зажег спичку, закуривая, запыхтел, пустил густое облако дыма, которое не рассеивалось долго, как бы не желая расставаться с владельцем, стояло над ним, а он все так же и не думал обращать внимания на упрямо стоящего и гипнотизирующего сержанта, чихая на его гипноз, на его интерес, на его лычки, на его новенькие желтые ремни и кобуру с пистолетом, на его начищенные и переначищенные сапожки, на все его подозрение и бдительность, покуривал и покуривал, с наслаждением пыхтя и пуская вверх дым, который стоял уже туманом над ним, пока сержант, не нарушив своего гранитного спокойствия, сказал:

— Куда едешь?

— Куда надо, туда еду.

— Документы!

Инвалид докурил сигарку, послонявил окурок, зажал в кулак, спрятал в карман, неторопливо полез единственной рукой за пазуху и вынул какую-то тряпку, развернул тряпку и достал оттуда мятые и перемятые серые бумажки. И глаза его глядели равнодушно и печально, глаза, притерпевшиеся ко всему, что могло бы случиться.

Сержант читал серую бумажку долго, внимательно и напряженно, как бы запоминая наизусть каждую букву, потом перевернул — нет ли чего на обороте, сложил ее вчетверо и вернул инвалиду.

— Что, правильно, начальник? — спросил инвалид.

Сержант, не отвечая ни слова, повернулся и пошел по проходу между протянутых ног, храпящих тел, в вокзальном дыму и смраде.

Инвалид завернул бумагу в тряпку, вздохнул, записал тряпку назад за пазуху, сел на свое место, уставившись в одну точку своими равнодушными, притерпевшимися глазами.

Теперь сержант взглянул на меня, но мельком, словно проколол и пропустил. И прошел дальше.

— Цыц, вот я тебя милиционеру отдам, — сказала баба проснувшемуся ребенку. И тот замолк, заморожено глядя на синий сон с малиновыми кантами.

Глава восемнадцатая

У теплой вентиляционной решетки метро стояла и грелась замерзшая девчужка в меховой жакетке и туфельках на микропорке, худенькая, с охальным курносым личиком, кукольно-порочным, зеленоглазая, замерзшая и веселая, продувная. Она дерзко-небрежно поглядывала на проходящих командировочных пузачей с разбухшими портфелями, разных там пижонистых чувачков, фыркала и вдруг кому-то молодому и симпатичному ликующе выдавала нежную, детскую улыбочку.

Она посмотрела на меня и как-то удивленно повела бровями, словно передала таинственный знак.

Я замедлил шаг, взглянул на часы и остановился, серьезно и озабоченно поглядел в широкое окно на улицу, будто ожидая кого-то, будто кто-то обязательно вот-вот должен подойти.

Это была одна из тех блуждающих девчонок, из того сиротского, горького легиона приезжающих зайцем и по билетам с плацкартой для поступления в кинозвезды, из которых бедные непризнанные художники подбирают натурщиц-любовниц.

Нет у них ни жилья, ни прописки, а иногда еще и паспорта нет, одна метрика. И ночуют они у случайных подруг, у случайных старушек в каморках лифтерш и татар-дворников, а то, бывает, и просто у прохожего мужчины, а иногда и на лестничной клетке, на самой верхотуре, где и квартир нет, лишь глухой проход на чердак.

Замечено, что подбираются они обычно по росту и меняются туалетами. Смотришь, жакетик или юбочка из пледа с бахромой, или бронзовая лошадка на цепи то на одной, то на другой.

По утрам они собирались обычно скопом из разных районов города, где они продремали эту ночь, кроме тех, которые как раз в это утро были вызваны в киностудию открыткой, или шли по объявлению или личному приглашению случайно встреченного режиссера, или опе-

ратора, или директора, или ассистента, или осветителя, или просто случайного жулика, кроме тех, которые именно в это утро восседали на троне где-то в Средненском переулке, или на Масловке, или в Измайлове, обнаженные, дрожа от холода, позируя художнику или измазанному гипсом или глиной скульптору, который по молодости лет, увлечению и горячке работы не замечал холода; кроме тех, которые в это утро толпились у дверей отдела кадров ЦУМа, или Дома моделей на Кузнецком, или же на актерской бирже на Неглинной, в этой шумной, дикой сутолоке, нанимаясь в советские герлс, в дикие мюзик-холлы, левые джазы, снегурочки, в Кимры, Арзамас, Чарджоу. Так вот остальные собирались ранним утром скопом на заранее уже договоренном месте, на Центральном телеграфе или Центральном почтамте на Кирова, или в какой-нибудь пирожковой или пельменной на Петровке, где было тепло, и, собравшись и сложив выбранную, выкарабканную из всех карманов мелочь серебром, а иные даже бумажками, складывались, и пили чай с горячими пирожками, и рассуждали, и советовались, и планировали, как и где им провести сегодня день, и тут же в туалетной менялись кофточками и туфлями или джемпером.

Потом забегают в коммиссионку, хотя в сумочках только пачка „Шипки“ и коробочка спичек, а вечерами сидят в коктейль-холле высоко на вертящемся табурете, заложив ногу за ногу, с сигареткой в зубах, сосут из соломки зеленоватый, с плавающим желтком, коктейль и рассуждают:

— Я утончила ему образ.

— А мне завтра лицо нести, — грустно отвечает другая.

Ночью их никогда нельзя было встретить вместе, в одной компании. Они разбредались по всему городу, правда, главным образом в пределах Садовой, где в коммунальных квартирах, в комнатухах жили эти художники, режиссеры, опереточные актеры, адвокаты, либреттисты, танцоры, авторы скетчей, скульпторы,

юрисконсульты, синхронные переводчики, люди свободных профессий, старые и молодые холостяки.

Я все смотрел в окно. Хлопьями падал снег, на тротуаре было пусто и дико, я искоса осторожно поглядел на девчурку, и она, как бы уже готовая к этому, как бы заранее все разыграв в своей душе, откровенно и весело улыбнулась: „И никого ты не ждешь, скорее иди сюда, поговорим, мне ведь тоже одиноко и тошно“.

Я понял и той же азбукой Морзе передал: „Иду“. И двинулся, как на свет светлячка.

— Здравствуйте, добрый вечер, — сказал я.

— Приветик, — ответила девчурка.

Подтаявшие, мокрые от снега ресницы потекли черным, и, глядя в зеркальце, она сделала маленький ремонт.

— Греемся? — сказал я.

— Ага.

Она вынула из кармана пару карамелек, одну кинула в рот, другую дала мне.

— Долгоиграющая, — сказала она.

Стекляшка была мятная, холодная и долго не таяла во рту.

— Как вас зовут? — спросил я.

— А вас?

Я сказал.

— А мое имя есть в опере „Евгений Онегин“. Угадайте.

— Татьяна?

— Молодец, — удивилась она.

— А где вы, Танюша, живете? — спросил я.

— Любownik, мерзавец, женился, — беззлобно сказала она и рассмеялась.

— А где же вы ночевать будете?

— А вы живете один? — спросила она.

В пустынном вестибюле метро неожиданно появился какой-то белый от снега ферт в шапке „пирожком“. Он сразу же, с ходу не понравился мне (только отчего шап-

ка-„пирожок“, они ведь все ходят в ушанках, а может, этот высшего разряда?).

Мокрый снежный ферт крупными деятельными шагами прошел к телефону-автомату, закрылся в будке и стал набирать какой-то номер. Он звонил ужасно долго, но ни разу не говорил. Я хорошо видел, что он даже ни разу не открывал рта, бросал монету, набирал номер, но то ли было занято, то ли просто не отвечали, вешал трубку и тут же начинал все сначала. И почему-то все казалось, что поверх диска он глядит в нашу сторону.

— Чего ему от нас надо? — сказал я.

— Плевать, — сказала Таня.

Она нагнулась и, поправляя чулок, неловко, как бы случайно чуть выше приподняла юбочку, и над чулком синела голубая наколка: „Как мало прожито годов, как много сделано ошибок“.

— Может, это за тобой? — спросил я.

Она пожала плечиками и рассмеялась:

— А я не боюсь.

Ах, если бы и я мог так же нахально, щебечуще, отвлеченно сказать: „Я не боюсь“.

Нет, я боялся, я очень боялся, и все, вызванное случайной встречей, радостное возбуждение, вернувшее меня на миг в тот давний, привычный и уютно-веселый мир легкомысленной жизни, сразу остыло и растаяло, и осталась только эта круглая, уже ненавистная физиономия за стеклом автомата, как заведенная кукла, беспрерывно крутившая диск.

— Ну, однако, я пошел, — сказал я.

— Куда? — удивилась Таня. — И зачем?

— Надо.

Я сбежал вниз в метро и в конце коридора еще раз оглянулся, не увязался ли за мной ферт в „пирожке“.

На самом ли деле ему надо было так экстренно ночью звонить и он не мог дозвониться и нервничал там, в кабине, или он просто разыгрывал комедию и ждал меня или же ждал ее, пока она освободится, пока я с ней договорюсь или не договорюсь, пока я не надоем ей и она

увидит, что с меня нет никакого толка, и обратит внимание на него. И для этого он поворачивался там в кабине, показывал анфас и профиль свой каракулевый „пирожок“. Интересно, что было, когда я ушел, улыбнулась ли она ему той же улыбкой и глядела на него теми же родственными глазами, что и на меня, тут же начисто, навсегда забыв о моем существовании.

Метро уносило меня вдаль, за окном только вспыхивали, гасли и пропадали туннельные огни, и поезд останавливался, кто-то входил, и кто-то выходил, и проплывали освещенные платформы, белый и красный мрамор.

В метро непонятно каким образом залетел воробей и проник на платформу. Это был обыкновенный серый городской воробушек, испуганно-взъерошенный, несчастный, и дежурный в красной фуражке гикал на него и гонял сигнальной указкой, словно он грозил крушением поездов. А воробушек юрко и ловко летал между мраморными колоннами с прислонившимися к ним скульптурными символами современного общества. Испуганный, взлохмаченный, он сел сначала на фонарь шахтера, потом перелетел на круглую шляпу сталевара, потом сел на автомат пограничника, потом спрятался за собакой партизана. Пассажиры, останавливаясь, наблюдали затейливую эту охоту. Воробушек взвился наконец вверх и долго бился о каменные своды и не мог, никак не мог найти выхода в синее небо.

Я оглянулся, и вдруг бросилось в глаза чье-то внимательно глядящее на меня лицо. Так оно было или только казалось, снова я заметался, я зашел за колонну и обождал, не появится ли он, не ждет ли он меня. Потом я сел в ненужный мне поезд.

Я забрел пустыми коленчатыми переходами куда-то в странное место. Вокруг не было ни одного человека. Только мраморные колонны и за ними бесконечный мраморный коридор с голубым жужжащим светом. Неизвестно откуда подул холодным, мертвым ветром, как

из мраморного саркофага. И вдруг меня охватило чувство конца, чувство обреченности. Я поднял глаза и прочитал: „Входа нет“, „Выхода нет“.

Я рванулся назад, к эскалаторам. Они уже не работали. Я побежал вверх, туда, к синему свету. Я бежал и выбирался, как из колодца.

Там, наверху, стоял милиционер в толстой синей шинели. Он взглянул на меня, пошел открывать тяжелую входную дверь.

Я вышел на незнакомую, сумрачно освещенную площадь и увидел несущиеся по небу рваные, темные, хищные облака и глубоко вздохнул.

Как тоскливы эти дома, эти далекие, чужие мне дома, и этот перекресток, и вся эта жизнь, ничего не знающая обо мне и о которой я ничего не знаю.

Я сел в троллейбус. Машина катила незнакомыми улицами и остановилась в темном, забытом и глухом переулке. Вот тут я сойду. Я кинулся к двери, и вдруг мне показалось, кто-то ждет меня в нише возле дома, кто-то стоит, прижавшись спиной к стене в тени ниши, и ждет меня. И я отпрыгнул назад так неожиданно, что дверь захлопнулась перед самым лицом, и вожатый сердито оглянулся, и пассажиры усмехнулись: „Спать не надо“. Сердце колотилось как барабан. Откуда же он мог знать, что я решил сойти именно на этой остановке? Или они ожидают на всех остановках? И они все знают наперед, все на свете, то, чего ты сам еще про себя не знаешь?

После этого я долго тихо сидел в углу троллейбуса и не смел сойти. Проплывали мимо загадочные ночные улицы, троллейбус много раз останавливался, заворачивал, катил мимо каких-то длинных фабричных корпусов. Люди выходили и входили, и я внимательно разглядывал их. Мелькали освещенные витрины, темные, серые спящие кварталы.

И уже кажется, что троллейбус заблудился, без цели петлял, летела улица, и улица слилась в один дом, туманный, словно разворачивался серый каменный свиток, бесконечный, безнадежный, скупой тусклый свет,

немота и убаюкивающий, терпеливый сон, в который проникали сигналы, щелканье переключателя и мягкий, осторожный шорох растворяемых и затворяемых дверей.

Когда я очнулся, бежала темная лента Москвы-реки с клочьями тумана над черной водой. У каменного парапета, впаянный в береговой лед, стоял ресторан „Чайка“, светя тройным огнем сквозь замерзшие стекла узких окошечек. И на миг оглушила малохолдная музыка ресторанного джаза. А на том берегу открывался вольтный заснеженный лес Воробьевых гор, и, как всегда, потянуло туда жить, и подумалось, как душно, как ужасно, как порочно жить в каменных ущельях города.

На какой-то остановке троллейбус опустел, и я остался один. И тут мне показалось, что кондуктор с сумкой на плече, притворяющийся спящим, на самом деле внимательно, из-под фальшиво прикрытых век наблюдает за мной. Я поднялся и пошел к выходу, стараясь не встречаться с взглядом фальшивого кондуктора. И тут я вдруг заметил, что водитель, вертя баранку, глядит в зеркальце над собой и тоже очень внимательно следит за моим продвижением к выходу. Мимо бежали дома-призраки, кондуктор и вожатый сговорились и вежут меня по определенному маршруту куда надо.

Кружится, кружится троллейбус, поворачивается, как на шарнирах, входит в глухоту ночных улиц, таких пустынных, печальных, словно это не дома, а мавзолей, надгробья, и вдруг площадь, взрыв огня, вспышка неоновом света, яркая цветная городская карусель, но тоже безлюдная, грустная, бессмысленная.

Я стоял у выхода и ждал.

А троллейбус безостановочно летел вдоль длинной, бесконечной улицы, увозя меня, слышалось только ширканье шин.

Неожиданно в машине погас свет, и улица, словно срезанная, словно взорванная, отрывается, и мягко летит навстречу открытое темное поле, с рассыпанными звездами, и троллейбус, огибая снежный сквер, внезапно останавливается.

— Ко-ня-ячная остановка, — гундосо говорит кондуктор и окончательно засыпает в своем кожаном кресле с билетной сумкой на груди.

Я вышел. Было пусто и грустно, как только может быть на конечной остановке.

Я пошел по чужой и ненужной мне улице, мимо чужих и ненужных домов, куда-то в даль, ничего не обещающую.

Все дома были похожие друг на друга, серые, тошнрые, и запах исходил от них казарменный, помойный. И только в одном доме на высоком этаже светилося единственное окно, как воспаленный глаз. И казалось, он следил за мной, куда я, туда и он, и некуда было деться от него, ни во тьму, ни в тень, ни за угол. Он проглядывал эту матерую, эту пропащую ночь там, на окраине, где я был не нужен, случаен, неприемлем.

А зачем я оказался на этом чужом, пустом метельном поле...

Глава девятнадцатая

Кафе „Националь“ светилося большими и яркими веселыми окнами сквозь падающий снег. Теперь кафе было открыто до трех часов ночи. Это сохранилося еще со времен коммерческих ресторанов, когда Сталин дал вдруг волю ресторанному веселью.

Бывало, в полночь и даже после, если не спалось, я вдруг вставал, одевался и ездил на метро, а если метро уже было закрыто — на ночном троллейбусе или пешком приходил сюда и словно во сне попадал в пьяную комедию, и острое чувство существования жизни вне зависимости от тебя, от того, что ты делаешь, спишь или бодрствуешь, заворачивало и озадачивало.

Знакомый швейцар поприветствовал меня, не удивляясь, а я сделал утомленный вид, будто только с ночного ответственного заседания.

В кафе свет был притушен, и в полумраке, в бликах вертящегося на потолке зеркального шара, крутились в

вальсе пары. Они проплывали мимо, а я будто подымался из подземелья к веселому, своевольному мотивчику и легкой пустяшной жизни.

Глушивший меня страх как-то отошел, оттаял, будто я ехал на тихом велосипеде. Казалось, я видел страшный фильм, а теперь он кончился.

Все было как всегда. Ночная жизнь кафе шла своим чередом, по своим особым законам. Тут был тот, кто должен был быть в этот час. Ежевечерне одна и та же компания из шестимиллионного города отслаивалась, просеивалась и собиралась за этими столиками.

Это было время, когда все еще жили в пределах Садового кольца, в огромных коммунальных квартирах, и Сокол, или Сокольники, или Измайлово были дальними окраинами, а Воробьевы горы — подмосковной дачей.

Каждый вечер, зимой, часам к десяти-одиннадцати, а летом к полуночи, после гулянья по центру от памятника Долгорукому до гостиницы „Москва“ и обратно, по той стороне, где „Арагви“, коктейль-холл и кафе „Мороженое“, которое после будет называться „Космос“, каждый вечер тут собирались всегда одни и те же, и все знали друг друга, и только приходили, уже звали их к столикам из разных уютных, симпатичных уголков, одних или с девушками, постоянными или случайными, которых подцепили только что под светом фонаря у Центрального телеграфа, и потом до трех ночи, когда все компании перемешаются и непонятно, кто с кем, и окончательно это только выяснялось, когда тушили главную люстру, оркестр играл отходную, а потом тушили и остальные люстры, и уже в сумерках между опустевшими столиками уходили последние, и ясно и резко было видно, кто с кем уходит окончательно. Неважно, совсем забыто было, кто с кем пришел, это было до, до Вавилонского столпотворения, до потопа, до выяснения отношений, и теперь смешно и нелепо.

Я и сам иногда, больше всего летом, ходил в эти компании, в эти быстро составляющиеся и так же быстро распадающиеся междусобойчики, а иногда и сабантуи с шампанским, с цыплятами табака, с ананасами. Но ско-

рее я грелся возле них, не кипел кипятком их страстей и интриг, слухов, и переживаний, и катастроф момента. То ли я был нелюдим и слишком одинок и не мог напрасно на всю катушку нервов сходиться с людьми, то ли было слишком скучно и вяло насыщаться одним и тем же, но никогда я не входил в компании крепко, как застрявший нож, а к тому же я еще и не пил так, чтобы забыть все на свете, кроме того, что мельтешит перед глазами в этот миг. И теперь, когда явился вдруг ночью к концу, все уже были на взводе или вовсе пьяны и растворены в этой сиюминутной жизни, словно надышались веселящего газа, и никто меня в тумане и не заметил, и не позвал к себе, и я сел в дальнем свободном углу за столик один.

И странно и невозможно было представить себя в компании. Неужели и я когда-то занимался этим, и это имело для меня значение, и, бывало, за столиком я обижался и ликовал, и полон был мелкого тщеславия и целевых мыслей.

Никто из сидящих тут не знал и не догадывался, что со мной случилось. А я из той, как бы потусторонней жизни наблюдал их, муки пережитого обострили мое зрение. И с остротой и проникновением уже умершего, с того света, я видел и прозревал, и понимал, чего каждый из них на самом деле стоит.

Здесь был некогда знаменитый, раздавленный жизнью и официальной критикой писатель с серой гривой, похожий на больного льва. Тихо и сердито, сидя за еженощной рюмкой коньяка, уже подшофе, он говорил афоризмами, вокруг него теснились почитатели, прихлебатели, а он глубоким, как львиный рык, голосом рассказывал им байки. Рядом сидел друг его детства по южному городу, человек, известный под именем „брат антрепренера Карузо“. Этот не слушал своего идола, весь был занят поеданием оставшейся на столе от веселой компании куриной котлетки и еще икры. Придвинув к себе блюдечко, он ножом на тоненьком-тонюсеньком ломтике хлеба размазывал икринки и с тихой жадностью поедал, весь отдавшись процессу сосания. До него не до-

ходило ни одно остроумное положение, ни один софизм, ни одна хохма, на лице его было написано тихое наслаждение, и он только про себя шептал: „Нет, никто так не любит икру, как я люблю“, — и крутил головой. Съев икру, он задремал, привалившись к спинке стула, и бог весть что ему снилось: градоначальник Одессы Дюк Ришелье или участковый уполномоченный, потому что он потерял паспорт и вот уже год боялся об этом заявить. Был ли он действительно братом антрепренера Карузо, и был ли его брат антрепренером Карузо, никто этого не знал, но так его звали.

Тут же сидел и жадно все слушал миниатюрный, с кукольно-пугливым личиком, скромный инженерик, приехавший на собственном „Москвиче“, гениальный создатель трикотажной фабрички при сумасшедшем доме Краснопресненского района с использованием амортизированных станков, „левой“ вискозы и дарового труда малохолых, которым была прописана трудотерапия, призрачного теневого предприятия, не зарегистрированного ни в одном титульном списке и финансовом органе, подпольный миллионер, более ловкий и жизненный, чем Корейко и Остап Бендер, портрет которого через несколько лет был напечатан в центральном органе как разыскиваемого опасного преступника и который в конце концов был захвачен в импортном платяном шкафу, где для него построено было ложное отделение с дырочками для дыхания.

Был еще налитый коньяком всех марок и звездочек, известный под именем Валентин-коньячный, бродячий скульптор, член МОСХа, разъезжавший со своей левой бригадой, шарашкой, по национальным республикам, изготавливая по шаблону высокохудожественные и высокоидейные статуи, бюсты, барельефы и горельефы Генералиссимуса, а кроме того, еще скульптурные портреты местных дважды Героев Соцтруда — чаеводов, хлопководов и свекловодов. В одном северном совхозе герой приходил к своей собственной статуе на центральной усадьбе и плакал, жалуясь своему изображению на обиды действительные и мнимые, и однажды заснул, и во

сне умер от разрыва сердца, и потом его хоронили с музыкой, и у бронзового бюста говорили речи, что он навсегда сохранится в памяти и сердце, а он лежал со строгим лицом и недовольно слушал речи.

Был тут и человек с греческим профилем, уроженец „русского Марсея“, сосед Мишки Япончика с Молдаванки, по прозвищу „мацонщик“, юнгой объездивший весь мир и дравшийся в кабаках Антверпена, Сингапура и Буэнос-Айреса, говорящий на арго и знавший двенадцать языков. Он медленно и серьезно поедал свой диетический судак по-польски, запивая „Ессендуками № 17“, и гнусавым восторженным голосом рассказывал своим слушателям, оглохшим и обалдевшим от его баек, о своем последнем открытии сюртука Пушкина. А потом он им наизусть читал сцены из своей пьесы, где главными действующими лицами были знаки препинания: запятые, точки, двоеточия и тире, восклицательные и вопросительные знаки, многоточия и скобки, и кавычки — и которая называлась „Чернильные человечки“.

Отдельно, за угловым столиком, на одном и том же, постоянно абонированном месте роскошно сидел Тим Тимыч, комфортный мужчина в модном твидовом пиджаке, в белейшей и редчайшей в те времена нейлоновой рубашке с широким цветным галстуком в полоску и манжетами с фальшивыми бриллиантовыми запонками. Он поедал шницель по-министерски и говорил чарующим голосом. Рядом с ним скучно, задумчиво пил даровую чашечку кофе некогда модный, но давно вышедший в тираж сценарист, основоположник эмоционального кино, который был должен деньги всем сидевшим в кафе, и метрдотелю, и официанткам, и буфетчикам, и служителю туалета. Нынче ночью он с Тим Тимычем договаривался о соавторстве. Тим Тимыч выплачивает ему аванс, не очень жирный, но достаточный, чтобы обедать и ужинать без коньяка, а зачинатель эмоционального кино за месяц напишет пьесу на актуальную, злободневную тему с двумя действующими лицами, с тем, чтобы ее могли поставить все театры. Основоложник предлагал Тим Тимычу даже одно действующее лицо, а

выпив коньяку, сделал предложение даже о половине действующего лица, чтобы было только туловище, а ног не было видно. Тим Тимыч надеялся в итоге этой пьесы стать членом группкома драматургов, где сумеет получить справку и с не меньшим правом, чем некоторые знаменитые драматурги, нанимавшие поденщиков, будет ходить на собрания секции драматургов, а может, получит за пьесу Сталинскую премию хотя бы третьей степени, и, размечтавшись и развеселявшись проектами, Тим Тимыч заказал основоположнику тоже шницель по-министерски с яблочными пончиками.

Здесь же был и некогда многообещающий молодой писатель, создатель телеграфного стиля, четверть века назад написавший, что море пахнет арбузом, который с тех пор уже больше ничего не писал, но ежедневно играл в писательском клубе в бильярд, и выигрывал и пирамидку, и американку, и этим имел пропитание. Но с тех пор, как он написал, что море пахнет арбузом, у него сохранилась язвительная, высокомерная к остальным метафорам и сравнениям улыбка, и он никак не мог прогнать ее с лица. Он так давно и упорно ее изображал, что со временем она застыла в мучительную маску, и теперь просто казалось, что у него болят зубы или, может, воспаление желчного пузыря.

Ходил сюда и молодой, официально не признанный скульптор, похожий на борца, говорят, сработавший гениальные скульптуры, которые никто не принимал на выставку и даже не хотел смотреть.

Недавно он получил заказ на горельеф по проекту реконструкции крематория и сделал эскиз: мертвый юноша, и вокруг стоят скорбные, плачущие люди, лишь одно дитя на руках матери смеется и, ликуя, срывает яблоко на яблоньке, выросшей из сердца умершего юноши, и вокруг летают голуби, ветвистые бегут олени, плывут сказочные рыбы, сияет солнце, жизнь продолжается...

Директора крематория только назначили на этот пост, до этого он был административным полковником, ушел в отставку на пенсию, и вот его преребросили сюда,

и сначала он был недоволен, а теперь ничего, привык, работа как всякая другая, не лучше и не хуже: „Выдача праха от 9 до 4“, „Перерыв на обед от 2 до 3“.

Директор просмотрел эскиз, и он ему не понравился.

— Безыдейно, — сказал он.

— Как раз наоборот, — сказал скульптор, — идея вечной жизни.

— Слышь-ка, — сказал директор-полковник доверительно, — ты ведь наш человек, ты воевал, слышь-ка, сидел, ты наш человек. Зачем ты крутишь, ну зачем выпендриваешься?

Скульптор ответил:

— Слушай, ты в этом мало смыслишь, ты лучше больше и чище жги.

— Аудиенция окончена, — обиделся полковник.

Через несколько дней скульптора вызвали на заседание, и директор объявил официально:

— Вот, товарищ, мы тут просмотрели ваш эскизик, посоветовались и коллегиально решили: много у вас пессимизму, пессимизму много, понимаете? А нам что надо? Нам надо людей на трудовой подвиг поднимать!

Вообще это место посещали только прорабатываемые, а те, кто прорабатывал, сюда, как правило, не заходили. Те собирались на загородной даче или на специально нанятой для этого квартире, и у них даже был свой казначей, собиравший взносы и вербовавший месалин. Липь главный их теоретик с щеками, как румяные пончики, иногда заходил сюда, всегда в одиночестве, выпивал свои ежедневные триста граммов, закусывая китайской сигаретой, и потом на вешалке, вручая номер, говорил: „Подготовьте материалы для одевания“.

Позже всех капризно вошел, капризно сел Эгилий Сияльский, лощеный, червонный валет, с набриллиантиненными волосами, бархатными глазами мазурика, вечный мальчишка, несмотря на свои тридцать лет все еще ходивший в толстых капризных вундеркиндах. Некогда гадалка пророчила ему баснословное будущее, и, когда он еще учился в школе, мама ежедневно выдавала

ему премию за гулянье — пирожное эклер за дорогу от памятника Гоголю до памятника Пушкину. Он немного знал по-французски и всегда ходил с номером „Париматч“, немного боксировал, немного играл в пинг-понг, умел на фортепиано, несколько раз участвовал в кино-массовках, однажды даже написал брошюру к Сталинской премии. Он был знаком со всеми знаменитостями, знал все личные и общественные истории, переходил от столика к столику, присаживаясь, рассказывая новости и старые анекдоты и сам слушал новости и старые анекдоты и наконец присел к двум девчонкам и, приподняв широкие темные брови, с повышенной миной стал рассуждать.

Подошла официантка и спросила: „Что тебе, Эгилий?“

— Болгарские сигареты и две коробки спичек, — капризно кивнул он.

— О, Эгилий шикует сегодня, — сказала одна из девчонок.

— Еще бананы, — сказала вторая.

Эгилий сделал гримасу.

— Знаете, на что они похожи? На подмороженную картошку, poprысканную одеколоном.

А я даже напиться не мог. Другие напиваются в таких случаях, и им хорошо, на один вечер хорошо.

На следующий вечер они снова напиваются, и им снова хорошо. И так они делают каждый вечер, они все время во взведенном состоянии, и им всегда хорошо.

Меня мучило после второй рюмки, и ничто не заглушало, а было еще хуже. Я даже не пробовал напиваться, а только глядел, как это делали другие. И меня воротило даже от этого зрелища.

Вдруг опять повторилось то же самое, что в троллейбусе. Я заметил, что флейтист, наигрывая на своей флейте, глядит прямо на меня. Я стал увиливать от его взгляда, я закурил, я наливал воду в бокал, пил, глядел в сторону на танцующих, кому-то даже подмигивал, но когда как бы случайно взглядывал на флейтиста, он все

не отводил от меня намертво уцепившегося за меня взгляда. И беспокойство охватило меня, и все подмывало встать и уйти. Я стал вспоминать, был ли он тут, когда я пришел. Но за это время флейтист стал смотреть совсем в другую сторону.

Сейчас я вдруг вспомнил, что весь день ничего не ел. Никто не подходил к столику и, когда я спрашивал: „Кто здесь обслуживает?“ — на ходу отвечали: „Сейчас подойдут“. Когда я снова спрашивал: „Где же официантка?“ — отвечали: „Мало ли куда она могла пойти, она же человек“.

И только когда потушили главную люстру и в наступившем сумраке оркестр стал собираться, подошел краснолицый официант-мужчина, на ходу жуя.

— Долго же вас не было, — сказал я.

— А что, я уже покушать не могу?

От него разлило коньяком, портвейном, перцовкой, всем букетом недопитого дармового ерша.

Официант сунул мне в руки меню, но там была только карта вин. Потом он пошел куда-то, долго его не было, и, все жуя, принес меню.

— Только холодное. Кухня закрыта.

— А что есть холодное?

— Все есть.

— Ну, дайте балык, — сказал я, читая меню.

— Балыка нет.

— Тогда осетрину с хреном.

— Осетрина кончилась.

— А что есть?

— Все есть.

— Тогда лососину.

— Кста есть, — сказал он.

— Дайте кету.

— Все? — спросил он и махнул в воздухе салфеткой.

— Еще кофе по-турецки.

— Кофеварка ушла.

— Тогда чай.

— Не бывает.

— Боржом.

— Эссентуки номер семнадцать, — твердо сказал официант.

— Хоть двадцать семь.

— Двадцать семь нет. — Он поджал губы. — Семнадцать.

Официант снова разгильдяйски махнул в воздухе салфеткой, и пошел разнузданной, развинченной походкой эквилибриста, и исчез на кухне.

На эстраде музыканты, шумно разговаривая, собирались домой, пианистка со стуком закрыла крышку рояля и стала рыться в своей авоське, стоявшей под роялем, скрипач спрятал скрипку в футляр и одновременно что-то жевал, ударник собрал свои колотушки, трюгольнички, спрятал в деревянный ящик и закрыл на висячий замок.

Мимо замерзших окон проходили тени.

Когда официант принес порцию кеты, все скатерти уже были убраны, стулья опрокинуты и поставлены на столы, из кухни потянулись повара, мойщицы с тяжелыми авоськами, процессию завершал кухонный мужик, тоже с полной авоськой.

На вешалке висело только одно мое пальто, гардеробщик снял свою фуражку с позументом и, стоя в синей шевиотовой кепке, поджидал меня, и я его не узнал.

Он взял номерок, выдал пальто, пошел со мной к закрытой двери, отодвинул задвижку, выпустил меня. Я услышал, как он снова закрыл задвижку.

Ветер кинул мне в лицо ворох холодного колючего снега, я жадно вдохнул свежий, какой-то таинственный воздух ночного города и пошел вверх по улице Горького к Центральному телеграфу.

В пустынном и сумеречном операционном зале несколько одиноких печальных фигур писали у конторок письма и телеграммы, и непонятно было, что пригнало их в этот поздний час сюда: несчастный случай, раскаяние, ужас одиночества, желание исповеди.

Я подошел к окошку, и тоже взял телеграфный бланк, и пошел к конторке, на которой лежали тонкие замызганные ручки с испорченными перьями. Кому бы послать ночную телеграмму? Кому бы протелеграфировать свой крик, свою тоску, господи боже мой!

Я тихо положил ручку, оставив чистый бланк на за-капанной чернилами конторке, и ушел.

Во всей огромной стране, на всей земле от Батуми до Чукотки, казалось, негде было скрыться, спрятаться. Я мог бы уехать к сестрам, ведь у меня были четыре сестры в разных городах, но в многочисленных анкетах в отделе кадров записаны все их адреса, и меня тотчас же найдут.

Или вот родственники. Но у меня не было родственников, то есть, наверно, они были, и дяди, и тети, и двоюродные и троюродные братья и сестры, которые, наверно, уже выросли, у которых были уже, наверно, взрослые дети, но большинство их я никогда не знал, а если и знал, то давно забыл, давно не видел, не интересовался родственными отношениями, считал это отсталостью и шутил над этим. Судя по себе, мне казалось, что в стране вообще не осталось родственных связей, казалось, они были давно разорваны, рассечены, раздроблены сначала гражданской войной, когда брат шел на брата, а потом классовой борьбой, когда сын не отвечал за отца, когда сын доносил на отца, а потом многочисленными мобилизациями, эвакуациями, подрывом всех родовых устоев, и еще страхом. Страх разъединял кровных братьев и сестер, в серной кислоте страха таяло и исчезало все — любовь, привязанность, благодарность, взаимная помощь, и выручка, и совесть. Да и кому я нужен был такой, в такое острое время классового напряжения..

Глава двадцатая

Жутко мне в этой ночи, в этих замерзших переулках с тусклыми мглистыми фонарями, старыми, ободранными до костей стенами, безмолвными окнами. Только те-

перь видно было, какой это старый, усталый город, все переживший, все претерпевший и упрямо и терпеливо переживающий и эту холодную, пустую, безнадежную ночь. А зачем? Разве не то же самое будет завтра, и послезавтра, и через год? И через десять лет будет такая же пустая, замерзшая, метельная ночь.

Внезапно я вышел на широкую, заснеженную площадь с замерзшим прудом. Я очистил скамейку от снега и сел под деревьями. Ветер шумел над головой. Мне казалось, падали звезды.

Пламя трещало и пробегало по торфяным болотам, то огонь медленно, тускло и мертво тлел, то вдруг, взрываясь, выпыхивал и рассыпался в ночи бенгальским фейерверком. Раскаленные берега горящих торфяников обнажались, изгибались, они похожи были на лежащие в графитовом море коралловые острова, которые от ветра колебались. Партизанские кони, привыкшие к зрелищу, бодро бежали сквозь дым и то выносили на ясный простор, то снова входили в дымовую завесу. Там, где огню уже нечем было гореть, земля лежала вся обугленная, в ядовитых, желтых и серых плешинах пожара.

Неживой, бледно-фиолетовый свет изредка заливал болото и потом медленно угасал, и снова наступала тьма и тишина.

Под Брестом он стоял со своей бригадой в лесу за железкой и за шоссе, как в девятом круге ада, вокруг на тысячу верст немцы и немцы, все забили немецкие дивизии, полевая жандармерия и СС, и гестапо, и лагеря.

В рассветном осеннем лесу низко стелился дым костров, и между деревьями ходили бородатые юноши с черными немецкими автоматами на груди.

Командир бригады Гоша, картинно красивый, юный, стройный, с белокурыми усами и зелеными жестокими глазами, жил в будане — лесном шалаше, как князек, с коврами на стенах, патефоном, личным самогонным аппаратом, личным поваром и любовницей-радишкой.

— Сбор! — приказал командир бригады.

Зазвонили в рельсу. Из шалашей и землянок по всем тропинкам шли партизаны с винтовками, автоматами, пряча гранаты в карманы, застегиваясь на ходу, и скоро на поляне стоял строй разношерстный, разномастный и гудящий, готовый все услышать, и все принять, и все исполнить.

Гоша в ярко-зеленой, цвета весенней травы, фуражке пограничника, в мягких кавказских сапожках со шпорами, вышел вперед.

— Хмуренко!

— Есть, — лихо, весело ответили из рядов.

— Десять шагов вперед!

Из ряда вышел молодой парень, в черной кожанке, с незначительным мелкокостным лицом, в картузе с красной лентой и почему-то уже без винтовки, и, отсчитав десять шагов, остановился. Все смотрели на его спину.

— Кругом! — скомандовал Гоша.

Парень повернулся и теперь стоял лицом к строю. Рядом с ним по бокам оказались два автоматчика и быстро сорвали с него пояс и выдернули звездочку из фуражки. И все так странно — поспешно и грубо, будто он мог протестовать или убежать.

Трудно сказать, в чем дело, но когда с военного снимают пояс, он уже не человек, он и сам не чувствует себя человеком, и никто уже не считает его за человека, он вне закона, и делать с ним можно все что угодно.

Хмуренко было лет двадцать пять, у него была черная лихая челка, мелкие черты лица.

В это время прибежал особист, худой, обугленный, словно сожженный в огне цыган.

— Допрос, — шепотом, одними губами, так, чтобы не слышали рядом, сказал он командиру бригады.

Гоша повернул к нему свое красивое, смелое лицо и внимательно, насмешливо взглянул на него.

— Потом.

— Когда потом? — спросил особист, чуть громче, настойчивее, и цыганские глаза его засияли.

— Там допросят, — сказал Гоша и, уже поворачиваясь к нему, показал на небо.

— Допрос, допрос, — надоедливо повторял начальник особого отдела, — как я оформлю?

— Спишется.

— Допрос, — жестко повторил цыган, и глаза его уже горели потусторонним огнем.

— Отставить! — сказал Гоша и выругался кратко.

Все произошло очень быстро.

— За мародерство, за оскорбление звания партизана расстрелять! — звонко прокричал Гоша.

Казалось, Хмуренко еще не понимал, в чем дело, он смотрел как-то жалко, даже чуть улыбался, будто ему поставили двойку и ему немножко стыдно.

Звякнули сразу несколько затворов, и три бойца подняли винтовки, а Хмуренко все еще стыдливо, жалко улыбался.

Он стоял у бесприютных кустов, один, и вокруг небо, облака и ветер, и три бойца целились в него.

Я отвернулся.

— Сто-ой! — дико закричали со стороны. — Там животина.

— Отставить, — сказал Гоша.

Бойцы опустили винтовки.

Из кустов позади Хмуренко вышла лошадь.

Она вышла на подогнутых, слабых ногах, взглянула на происходившее и жалобно заржала.

Начальник штаба подбежал и хлыстом прогнал лошадь.

— Давайте, — сказал он. — Можно.

Бойцы снова подняли винтовки, а Хмуренко стоял, оглядываясь, чего-то все еще ждал, как бы до конца не понимая, что хотят с ним делать.

Три винтовочных выстрела слились в один, и Хмуренко ушел, и лежал неудобно, подогнув под себя ногу, и стал похож на кучу старого тряпья.

Сразу же все молчаливой толпой окружили то, что лежало на земле, скрючившись, посиневшее, фиоле-

товое, будто вся кровь от удара выстрелов вскипела и застыла фиолетово.

Кто-то беспорядочно и поспешно начал стаскивать с него хромовые сапоги, еще один толчком перевернул его, и обыскал карманы, и вытащил какую-то перевязанную резинкой пачку бумаг, письма, фотографии, и передал особисту, который, не глядя, спрятал их в карман, достали еще алюминиевую ложку, потом его потащили в кусты, там уже несколько партизан, стуча лопатами, рыли могилу, лопаты были в глине.

Партизаны, разговаривая, расходились в разные стороны.

Гоша зажег спичку и закурил трофейную сигарету.

— Ладно, спишется, не такое списывается.

Кому-то списывается, а ему, Гоше, юному, храброму, до безумия храброму, патриоту, неужели одна чепуховая жизнь не спишется.

— Ха! Что? Для себя это делаю? Для своей корысти? Для дела. Пример!

Мне стало как-то не по себе. Мне казалось, что он так же легко, для примера, может и меня расстрелять, и комиссара, и начальника особого отдела, и старика, и старуху, и ребенка, попа, пастуха...

Я огляделся. Вокруг мертво стояли дома, и это были странные, удивительные в своем соседстве дома, каменные барские палаты, приятные своей соразмерностью, и рядом тоскливые краснокирпичные доходные дома, закопченные копотью буржук, и серая, голая, рациональная коробка Корбюзье постройки тридцатых годов, и новый мощный генеральский бетонный корпус с колоннами и башенками излишеств. На разных этажах окна то зажигались, то внезапно гасли, ночная таинственная жизнь, неизвестная мне и чужая, вспыхивала и гасла, вспыхивала и гасла, и это было похоже на азбуку Морзе, на точки и тире, тире и точки, будто огни города переговаривались между собой и что-то сообщали свое, сокровенное, уходящее в небытие. А некоторые

окна стойко пылали всю ночь. Там пировали, или готовились к экзаменам, или, может, кто-то умирал, или уезжал навсегда и прощался, а может, это был обыск.

Как бесконечна ночь, когда не спишь, она длиннее всей жизни.

Я сидел на заснеженной скамейке в сквере неизвестно где. Города не было, и ночи не было, ничего не было. Какое-то безвоздушное, безвременное пространство. Что-то внутри истончилось, надломилось. Я исчерпал себя и больше не хотел думать, переживать, уклоняться.

Не было сил встать, пойти, и снег засыпал меня, и снова все ослепло и оглохло вокруг.

Пробежала мимо кошка, потом вернулась и остановилась передо мной. Черная кошка в снегу, с зелеными глазами. Ее зеленые глаза сверкали во тьме и молча что-то мне говорили. И мне вдруг показалось, что она приняла меня за кошку, которая только притворяется человеком. Я встал, и отряхнул снег, и пошел. Зеленые глаза долго и затаенно смотрели вслед.

Млечный Путь, пыля над городом, медленно двигался к рассвету, одинокий неоновый свет бесцельно мерцал и струился, алым сумраком окрашивая смежные крыши.

Я так устал, что уже ничего не чувствовал и будто бесплотной тенью двигался по тротуару, и было все равно, куда идти.

Неожиданный весенний ветерок, прилетевший откуда-то, принес запах оттепели, снеговой воды, ивовых веток, воли и всего того дорогого, что я некогда знал и от чего я уже отвык.

И мне вдруг представились тихие заснеженные улицы, желтые огоньки, кривые жестяные вывески и такая звонкая, такая свежая, великолепная глушь, что больно сжалось сердце. Неужели все это было в моей жизни? Неужели все это ушло навеки?

Улица стала медленно выходить из подводного царства, голубая и незнакомая, и дома стояли постные и как будто чего-то ожидали от меня. И словно течением

вынесло меня на знакомую Арбатскую площадь, сквозь легкий с голубизной снежок, она была, как в сказке, очарованная в белом безмолвии рассвета.

Город расплывался, проступал сквозь легкий утренний снежно-голубой туман, и все было нереальным, и это утро в конце ночи, и прошедший день, и вся моя жизнь.

Это я, это я шел рассветающей, пустынной улицей, отражаясь в утренних витринах вместе с облаками, с погасшими фонарями, и это я вдыхал свежий утренний ветер. Я видел себя как бы со стороны.

Вдаль уходила улица Арбат, заснеженная, непроторенная, и лишь одни забытые фонари жили своей грустной, ночной, потерянной жизнью.

Еще не ходили троллейбусы, еще только появлялись из темных подъездов, из ворот те первые черные, робкие фигуры с авоськами, спешившие в очереди. И вот по улице проехал первый автобус, остановился на перекрестке, и из него с шутками и смехом выпрыгнуло несколько милиционеров в полушубках, а тот, кто стоял на посту в тулупе, влез в автобус, встреченный солеными шутками, крепкими словечками, смехом сидящих там, внутри, и автобус покати́л дальше, и видно было, как он остановился на следующем перекрестке, и там так же выскочило несколько милиционеров, и автобус покати́л дальше.

Дворники в белом, как ангелы, шли на меня, словно крыльями, размахивая метлами.

И еще эти странные горестные одиночки в бобрике и ботах маялись, и переступали с ноги на ногу в подворотнях, и курили папироски, у них были унылые и скучные лица, и в этот рассветный час они казались выставленными за дверь неверными мужьями.

Все они посматривали на меня, а мне уже было все равно. Теперь я уже ничего не боялся и нахально, с любопытством разглядывал их, и некоторые отворачивались и смотрели в другую сторону.

И вот уже снова зоомагазин, и золотые рыбки в оранжевой, светящейся воде среди зеленых и фиолетовых

водорослей. Им было все равно — ночь или день, век девятнадцатый или двадцатый, хорошо или худо человечеству, они вели свою молчаливую, однообразную, свою безымянную тягостную малюсенькую жизнь.

Я постоял и посмотрел на них, и мне вдруг стало жаль их. Зачем они мелькают, куда они так стремятся, к чему суетятся, и чем все это в конце концов кончится?

Я прошел мимо витрины с часами. Очень много часов, все они показывали одно и то же время, в ожидании чего-то важного и неминуемого. Потом была старая арбатская аптека, беспокойный, тревожный сумрак дежурки с красными энергичными резиновыми грушами клистиров в витрине.

Вот и серый наш дом, спокойный, будто ничего не случилось. Такой же он был и ночью, и давно в революцию, и в нэп, и в 1937-м, и в войну, живущий отдельно, независимо от судеб людей, населяющих его. Сейчас, на рассвете, особенно ясно было видно, что он каменный, нерушимый, равнодушный и не хочет, и не желает ничего о них знать.

Замерзший, умерший дом был мне дико чужд. Если бы было куда уйти, я ушел бы и никогда сюда не вернулся.

Я зашел с противоположного тротуара и взглянул на мое окно, залитое темной водой. Казалось, кто-то таится там и ждет.

Пошел снежок, но уже не метельный, злой, колючий, а тихий, пушистый, нежный, как в детстве, как в сказке. И стало вдруг хорошо и спокойно. Я остановился и стал глядеть на этот волшебный снег, на рассветающее, дымящееся небо. Я снял шапку, и так стоял под снегом, отдыхая от тревог, от страха, от мятущейся этой ночи, и клялся, клялся, и клялся, если все на этот раз обойдется, то жить, жить, жить каждой минутой, каждой секундой, каждым мигом быстротекущего, прекрасного, великого и вечного времени.

Вспыхнул свет в окне Свизляка, яркий, режущий, и мое окно тоже стало белесым. Это как-то успокоило

меня. Я пересек улицу, и вошел во двор, и увидел чьи-то следы на свежем снегу.

Я медленно поднялся по черной железной лестнице, и она тяжело звенела ночным чугуном.

Это был тот единственный час, когда даже в коммунальной квартире было тихо, молчало радио, молчали все патефоны, спали все мясорубки, но все равно тишина казалась обманной, казалось, все наполнено гремящим газом, и стоит только зажечь спичку или крикнуть — все проснется, вспыхнет, и взорвется, и взлетит к чертовой матери.

Я тихо на цыпочках прошел мимо молчаливых дверей, я слышал храп, и стоны со сна, и шуршанье мышей.

Спал Свизляк, спал Голубев-Монаткин, видя во сне огромные, яркие девичьи глаза, спал чернявый, кудрявый айсорский табор, храпя, сопя, плача и колыбельно подвывая, торгуя и шельмуя во сне, чистя штилеты, гадая на картах; спала неслышно Розалия Марковна, скакала на белом адмиральском коне и одновременно вышивала кошечек мулине; спало радио, нахрипевшись частушками, наплясавшись красноармейским ансамблем песни и пляски, намаявшись и наговорившись; спали огромные кастрюли и сковородки, спали цибуля и лимитный чеснок; спали незаконченные доносы в школьных тетрадках, оставив тени на промокашках; спали в старых шкатулках похоронки, пожелтевшие и полинявшие; спали совесть, и подлость, и любовь; не спал только страх, он бушевал во сне, он выстраивал эту кошмарную мозаику сна, и люди стонали и кричали со сна, и просыпались посреди ночи, и слышали, как течет время, и каялись.

Старуха Сорока еще не умерла, она была на кухне, суп ее доваривался, и тошнотворно клеевой чад вываренных рыбных костей залепил мне лицо, и стало трудно дышать.

Старуха поглядела на меня своими голубыми, выветрившимися глазками и ничего не сказала, непонятно даже, заметила ли она меня или просто обернулась на шум, руки ее были натруженные, опухшие, баг-

ровые, как рачьи клешни, и вся она похожа была на око-рок.

Я прикрыл тяжелую кухонную дверь, потом открыл большим ключом дверь в темный коридорчик, маленьким французским ключиком еще одну дверь и вошел в комнату. Она ждала меня, она всегда ждала меня, она была до ужаса пустая и голая. Казалось, что-то происходило в ней, пока меня тут не было целую вечность, наверно, какие-то тени моей прошедшей тут жизни, эхо разговоров, отражения мои в зеркале жили в ней все это время и по-своему распоряжались без меня, а теперь с моим появлением все это замерло, улеглось, утихло.

Тошнотворный туман вывариваемых рыбных костей проник в комнату сквозь щели, сквозь замочную скважину, скопляясь в удушливое облако.

Было тихо, и покойническим светом горел фонарь у окна. Послышался близкий, а затем дальний бой часов. Незрячее, невидимое, удушливое облако стояло, и не уходило из комнаты, и душило меня. И не было на свете ничего, кроме этого облака.

Хорошо, что сейчас светает, что скоро подыметесь над крышами солнце и не будет так страшно, и, может, еще будет жизнь, завтра будет жизнь, во всяком случае, будем надеяться, надежда ведь единственное, что никто не может у нас отобрать. Надежда — это не иллюзия, иллюзия — это нечто совсем другое, призрачное, неверное, миражное, а надежда — это кремень. Так я сидел и угоривал себя.

Теперь в совершенной ночной немоте я вдруг услышал, как, скрипя на блоках, отворилась внизу входная дверь и захлопнулась на тугой резине. Потом тишина и ясно — шаги по чугунной лестнице. Нет, шагов я не слышал, это просто казалось, что я слышу их, и я считал „раз, два, три, четыре, пять“... Я досчитал до пятнадцати, тут кто-то вошел, уже был наверху и сейчас позвонит. Я прислушался, но звонка не было, а может, звонок испортился, тогда он должен сейчас постучать. Я снова прислушался, было тихо. Может, они стоят у дверей, у них отмычка, и они сейчас сами откроют дверь...

Глава последняя „ХРАНИТЬ ВЕЧНО“

Почти всю сознательную жизнь, с тех пор, как он себя помнит, преследовала его какая-то тайна, какая-то неизвестная, неузнанная вина, упрятанная где-то в серой именной его папке, которую он в жизни не видел и, наверное, никогда и не увидит.

Что это было: донос товарища на странице из ученической тетради, рапорт на официальном бланке или телеграмма с красным ведомственным штампом. Или, может, так только казалось, что вина одна, а на самом деле она непрерывно обновлялась и, высохшая, изжившая себя и ставшая уже смешной, тут же заменялась новой.

Неузнанная и скрытая вина эта незримыми путями с фельдьегерской скоростью следовала за ним из города в город, и каждый раз, когда только возникала его фамилия: шла ли речь о новой работе, о воинском звании, о награде, о льготе, о пропуске или заграничном паспорте, — тотчас же включалась тревожная морзянка.

И вина эта, неузнанная и небывшая, как собственная тень, все следовала за ним, и, не старея, перешла из юности в зрелые годы, в пожилые годы, и, наверное, сопровождает его в старость, наверное, в парадном мундире пойдет за его гробом в толпе, в зимней толпе среди темных пальто и цигейковых шапок, и остановится у края могилы, и не успокоится, пока не услышит стук о крышку гроба замерзших комьев земли, лишь тогда, вздохнув, уйдет и заснет в своей дьявольски серой бронированной папке „Хранить вечно“ с фотографией, на которой изображен ее хозяин, юный, веселый, полный молодой веры и мечты.

Ярмарка

ПОВЕСТЬ

Утро

Я проснулся вдруг, как просыпаются только в детстве. Утренняя луна — серебряный рожок — бродила над местечком.

Где-то далеко-далеко непрерывно стучал бондарь, будто набивал обруч на новый день.

Я весь еще во снах. Но надо мной стоит уже тетка, и у тетки моей, как у всех злых теток, — толстые красные щеки.

— Ну, — говорит она, — тебе, я думаю, снились райские яблочки? Смотри, еще во сне крылышки вырастут и унесут тебя в окно...

Я был странным мальчиком. И спал тревожно. Даже драконы мне снились. Но я боялся рассказывать сны своей тетке. У тетки был реальный характер, и во сне она видела только окутанные паром блюда. Она даже уверяла, что во сне поправляется. „Но драконы? Как могут евреи сниться драконы? Это же польский сон!..“

Освещенный луной, стоял я в горячем корыте, весь в мыле, и тетка, и три родные мои сестрицы, и три двоюродные сестрицы мочалками и тряпками скребли меня, а с трех сторон в щели заглядывали соседки и давали советы.

— Не шевелись! — кричала тетка. — Ты будешь беленький, как месяц. Как по-вашему, понравится он аристократам?

И как только там, за дверьми, услышали вопрос, раскрылись двери, и с трех сторон вошли соседки, еще красные от огня печей, с кочергами в руках. Они бросили

горшки с фасолью — пусть они сгорят! Когда еврею надо дать совет, до горшков ли с фасолью?

Лаковые сапожки достала мне тетка на этот день и еле-еле натянула их, а когда я сказал: „Жмет!“ — ответила: „Лаковые сапожки не могут жать!“ К курточке она пришила две золотые пуговицы, сверху и снизу, и сказала, что теперь все пуговицы кажутся золотыми. Потом она крикнула: „Не шевелись!“ — и опрыскала меня одеколоном, но тут же предупредила, что я не стою одеколону и что прыскает она не ради меня, а ради них.

Затем она стала меня причесывать, говоря, что прическа — самое главное, по прическе встречают человека. А соседки давали советы, и совет одной был похож на совет другой, как день на ночь:

— Сделайте ему пробор, о н и это любят.

— Если бы у него волосы курчавились, он бы даже понравился мадам Канарейке.

— Скажите лучше, если бы у него был не еврейский нос, он бы графине Браницкой понравился.

Тетка не выдержала и провела по моему носу — не выровняет ли она его хотя бы на один день.

Даже мальчик Котя, и тот советовал, как причесывать, чтобы и ушки казались причесанными; у него были оттопыренные уши, и ему казалось, что всему миру хочется их причесать.

Тетка уже не кричала мне „Выкрест!“, не гадала, как обычно, что из меня выйдет: грабитель на большой дороге или капельмейстер? Нет! Она плакала надо мной и говорила: „Сирота“ — и все спрашивала: „На кого тебя оставили?“ — как будто я знал!

— Теперь ты кормилец дома! — говорила она. И смотрела на меня с уважением, и сестренки смотрели на меня с уважением, и даже кошка на печи, и та смотрела на меня с уважением и, умываясь лапкой, казалось, говорила: „Теперь ты кормилец наш“.

Услышал шум меламед Алеф-Бейз и выглянул в окошко.

— Ой, у него голова! Еврейская голова!

— А руки? — ввернула слесарша. — Золотые руки!

Подошел грузчик, задрожали стекла.

— На эти плечи я положу мешок муки, и вы думаете — я буду бояться?

— С такими ногами я бы бегал и бегал, — пропищал на ходу посыльный и убежал с письмами, в которых были приветы и счета.

Цирюльник Морид, еврей с красными щечками и на-помаженной бородкой, взяв меня за руку, расписывал парикмахерский рай с газовым рожком, с цветами на стенах, никелевыми креслами, зеркалами, где все видят свои лица, тонкими запахами и приличным шепотом. О великое искусство намыливания, бритья бороды и макушки! А пульверизатор! Он даже боялся этого слова.

Бондарь сказал, что самое главное в мире — бочки, а часовщик дед Яков, — что если бы не он, все спутали бы день и ночь...

Но когда отец попросил: „Хорошо, еврей, возьмите его к себе“, — меламед захлопнул окошко, а слесарша, подняв руки к небу, воскликнула: „Господи!“ Трубочист же сказал, что все его заработки уходят, как дым из трубы.

Тетка плюнула в их сторону.

— У тебя будет пароходная контора! — сказала она мне.

Почему именно пароходная контора — она и сама не знала. Синее море с белыми пароходами было далеко-далеко, да еще неизвестно, было ли оно, а на нашей реке никто пароходов не видел. Гусак, перейдя реку, хватался перед своими женами лакированными сапожками.

Но тетке нравилась именно пароходная контора.

Когда я был одет и причесан, тетка, оглядев меня вблизи и затем отбежав и оглядев издали, поставила меня на табурет, чтобы поговорить со мной.

— Слушай же меня, мой мальчик! Не будь слишком сладким, чтобы тебя не проглотили, и слишком горьким, чтобы тебя не выплюнули! — с этими словами она сняла меня с табурета, взяла за ручку и повела по лестнице.

Изо всех дверей выглядывали женщины, и все вспле-

скивали руками и говорили, что это совсем не я, а другой мальчик, и тетка была очень довольна, что я — другой.

Она вышла на улицу в шляпе с розовыми лентами и желтых полосатых чулках и гордо поплыла, как самая большая бочка водовоза. И соседки смотрели уже не на меня, а на нее.

— Соль ей всю жизнь лизать! — говорили ей вслед. — Чтобы она сама в соляной столб превратилась, и козы бы его лизали и слизали весь до основания, а наутро чтоб она снова проснулась целым соляным столбом, и они бы его снова слизали. И так каждый день!

Вот как ее любили!

„Ах! — говорила она обычно. — Я хотела бы увидеть, что будет после моей смерти“. И все боялись, что она до этого доживет...

Дом наш — как голубятня: на самом верху, над маленьким окошком, откуда, кажется, вот-вот вылетят белые голуби, прямо на стене написано: „Фуражки. Чижик“. А в окошке сидит сам Чижик, среди гирлянд разноцветных фуражек, и вшивает в фуражки красные и зеленые канты. В центре дома — балкон, уставленный вазончиками и горшками с красными и белыми цветами, откуда стеклянная дверь, всегда казавшаяся мне в детстве зеркальной, ведет в столовую, где ест хозяин дома, господин Котляр, папа мальчика Коти. В самом низу, над косыми окошками, наполовину уже вросшими в землю, с одного края дома висит желтая вывеска: „Сапожная мастерская „Новый свет“, где рядом трогательно нарисованы крохотная туфелька и огромный сапог. А с другого края дома — синяя вывеска с изображением завитого господина в сюртуке и с тросточкой — „Парижский портной Юкинбом“. Из окошек выглядывали детки парижского портного и грызли хлебные корки. У порога, в кальсонах, грелся дед парижского портного — старик с белой бородой. И вот он вышел сам, в жилетке, с сантиметром через плечо, размахивая на ветру утюгом и напевая парижский мотив: „Ай-я-яй! я-яй...“

— Куда ты в таких лаковых сапожках? В чем дело? — кричал он, увидев меня.

— В чем дело? — крикнул и Чижик со своей голубятни. — Кого ты ограбил?

И Ерахмиель, сапожник, высунул в окошко „Нового света“ свою патлатую бороду, которая тоже, казалось, спрашивала: „В чем дело? Кого ограбили?“

Тетка им все рассказала: и какие я буду носить фуражки, и какие я буду носить сюртуки, сзади — карманчик для красного платка.

— О! — сказал Юкинбом и поднял палец, показывая, что красный платок в заднем карманчике — это как раз то, что нужно.

— Я сделаю тебе белую меховую шапку! — закричал Чижик со своей голубятни. — Шелковый картуз я тебе сошью — еврейский картуз из лучшего репса. Сколько фуражек я сделал, сколько мерок снял — волос у тебя нет.

— Лаковые лодочки! — сказал из окошка „Нового света“ Ерахмиель. — На высоких каблучках, с белыми бантиками и никелированными пряжками. Ты будешь ходить, как барин.

— Ой, маленький барин! — вскричала тетка. — Ты будешь ходить осторожно.

— А пальто тебе будет — кастор! — предложил Юкинбом. — Огонь!.. Штучные брюки, черные, как ночь, глубокие карманы!..

— Да, да, глубокие карманы! — обрадовалась тетка.

На балкон вышел господин Котляр с золотой цепью на животе и с такими же оттопыренными ушами, как у сына его Коти. И хотя он нас видел, но делал вид, что не видит, и смотрел на облачко. Тетка, заглядывая ему в лицо, сказала: „Здравствуйте!“ — и ущипнула меня, чтобы и я сказал „здравствуйте“, и только тогда он посмотрел на нас и, медленно приподняв котелок, ответил:

— Здравствуйте! — с таким видом, будто дал нам денег.

Тетка, заулыбавшись, трижды повторила: „Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!“

— Ведите его, — проговорил господин Котляр. — Довольно ему рвать чужие груши!

Но я-то отлично знал, что в садике у него нет ни одной груши, а растет только дикое дерево с черными ягодами, из которых мы делали чернила.

— Ой, его надо бить, ой, его надо шлепать, — крикнул из окошка рыжий ребе, — чтобы он знал, где „а“ и где „б“!

— Где „а“ и где „б“... — хором повторили мальчики...
Ребе, ребе!..

В темной, продымленной комнате, кишевшей клопами и пропахшей луком, чесноком и всеми сладкими и горькими еврейскими блюдами, сидели двадцать мальчиков, тесно прижавшись и изнывая, щекоча друг друга, царапаясь, пересчитывая друг другу ребра и обыгрывая друг друга на крючки от штанов.

Сзади нас стоял бегельфер — помощник ребе, рыжая морда — и держал наготове канчук.

Меня уткнули в желтую истлевшую книгу, и ребе, усмехаясь, пропел:

— Вот это будет алеф! Алеф — это начало...

И задремал.

Бегельфер притронулся к моей спине канчуком и, брызгая слюной, произнес:

— Вот это будет алеф!

И мальчики заорали, торопясь и заикаясь:

— Вот это будет алеф!

И я в тоске и отчаянии закричал:

— Вот это будет алеф!

Ребе проснулся и снова нехотя затянул:

— А-л-е-ф!

И все мы тотчас подхватили:

— А-л-е-ф!

Весь первый день я, раскачиваясь, напевал:

„А-л-е-ф!“

И весь второй день я, раскачиваясь, напевал:

„Б-е-й-з!“

А когда я вдруг сказал „А-л-е-ф!“, ребе встрепенулся и, напевая: „Б-е-й-з!“, стукнул меня кулаком:

— Грубиян!

И бегельфер, рыжая морда, вытянул меня канчуком:

— Грубиян!

И мальчики, раскачиваясь и не отрываясь от книг, зашептали:

— Грубиян! Грубиян!

Рыдая, я показал ребе фигу.

Протирая глаза, он рассматривал грязную мою фигу, не веря. Он ясно видел ее, ребе, и все-таки не верил.

Мне надосело, и я опустил руку.

— Мальчики, может, я сплю? — в ужасной тоске произнес ребе, все не веря.

Я снова показал фигу, чтобы уже не было никаких сомнений.

— Нет, вы не спите, ребе, — сказали мальчики.

— Что же он мне показывает? — спросил ребе и взялся за канчук.

— Он вам показывает дулю, — ответили мальчики.

И ребе с размаху ударил меня канчуком по голове.

Дома я сказал, что пойду к речке и утоплюсь, если меня снова пошлют в хедер. И мне поверили.

Так я постиг алеф и бейз, первые две буквы еврейского алфавита. По букве в день...

— Будь самым богатым! — кричали мне вслед.

— Самым богатым! — поддерживала тетка. — Сладкие тебе печеночки, трубочки с маком.

Мальчик Котя бежал впереди нас, рассматривая мои золотые пуговицы и заглядывая мне в лицо, как бы желая узнать, не изменился ли я оттого, что мне пришили две золотые пуговицы.

— Уйди, Котя! — сказала тетка. — Он уже с тобой не будет играть, он уже большой!

Появился трубочист с черной метлой, за ним бежали дети: „Трубочист, трубочист! Верхом на метле!“ Вышел пожарный в медной каске, и дети помчались за ним: „Пожарный, куда ты идешь?“ Из раскаленной пекарни выскочил длинноногий Мус, бубличник, обвешанный гирляндами бубликов, и дети тотчас погнались за ним: „Бублики, бублики! — И проводили рукой по сердцу. — Ах, как хорошо, как сладко пахнут бублики!..“

И мне тоже захотелось крикнуть: „Бублики! Бублики!“

Но тетка ущипнула меня:

— Ты уже большой!

Маляры с высокими кистями, черный угольщик, почтальон в зеленой фуражке — детство мое проходило мимо меня...

Жужжа, вертелось большое деревянное колесо, и сучильщики с пенькой у пояса прямо на улице плели веревки; стекольщик, сияя стеклами, стеклил окна; ножовщик, запустив свой станок и высекая огонь, кричал, что огонь вложит в ножи и будут ножи не резать, а жечь...

— Скорей, скорей! — кричала тетка.

У открытых окон сидели швеи над машинами и шили, шили, шили; гончары вертелись вокруг гончарных кругов, а медники с красными бородами стояли у красных самоваров; хмурый резчик раскаленной иглой выжигал на дереве узоры, черные узоры своих дум, а живописец с бантиком выводил на вывеске вензеля своего воображения; часовщик, дед Яков, ковырялся в часах, все время поглядывая на солнце: не остановилось ли солнце, пока он исправляет часы?

Я прощался с нашей улицей.

Вся она полна была решимости. Шли маляры с зелеными и красными кистями, обещая заказчикам и ад, и рай; грузчики с веревками на шее, готовые все перенести, и, если на дороге встречали телегу, смотрели на нее, как на пушинку; дровосеки в нательных рубахах, с большими топорами и длинными пилами, готовые рассечь и распилить все, что угодно: на лес пойдут, и леса не станет — только небо и земля!

А кровельщики кричали на крыше так, будто не крышу, а небесный свод они крыли; а стекольщики со стеклами так выступали, будто стоит только им заказать, и они вставят стекла во все четыре стороны света.

И я понял тогда, что мир сотворен человеком.

Сотрясая мостовую, проезжали огромные биндюги; краснорожые биндюжники, завтракая на ходу и пере-

кликаясь, передавали друг другу бутылку водки, и каждый, взбаламутив ее, опрокидывал в глотку, крикал на всю улицу и, дав еще лошади понюхать, передавал дальше. Глядя на них и слыша их голоса, верилось, что смеясь поднимут и дом, поставят на биндюг и повезут.

Неслись извозчики, свистя кнутами. И, обгоняя всех, пронесся, стоя на пролетке, рыжий Эли, держа вожжи так, будто впереди не лошади, а птицы, гикая на прохожих, на землю, на небо; сам рыжий, и лошади рыжие — словно огонь пронесся, оставляя за собою только искры, свист и пар да запах водки, которую Эли выпил. Прохожие только котелки снимали, а у кого была лысинка — вытирал лысинку от испуга. А господин русский учитель высунулся из окошка и показал детям иллюстрацию к только что пройденной цитате о колеснице пророка Ильи.

Бóчары катили с горы пустые бочки — как гром по небу; на горе гремела кузня, под горой тарахтела крупорухка, как будто уезжала куда-то по шоссе; догоняя ее, стучала маслобойня; клубились черным дымом трубы, окна и двери смолокурни; как пароход перед отходом, вся в белом пару, будто в облаке, плыла прачечная, и навстречу нам летела красильня в праздничном наряде. На бойне мычали коровы, и с резникова двора неслись предсмертные крики петухов.

Местечко

Местечко наше — Белое, которое евреи называли Черное, ибо давно известно: что для царя было бело, то для евреев — черно.

Это маленькое еврейское местечко, каких было много на Украине, до того маленькое, что когда кривой Афоня, зимой и летом шагавший по каланче в тулупе, кривым глазом обозревая окрестности, отчего, когда горело на западе, обыкновенно сообщал, что горит на востоке, — когда этот Афоня кричал жене своей: „Христя, а де ж рассол?“ — женщины на окраинах слышали это и гово-

рили: „Опять кривой черт напился“, зная, зачем Афоне понадобился рассол.

На Орлиной горе, окруженный лишь синим небом, — белый графский замок с серебряным куполом.

На рассвете, только коснется купола первый луч, вспыхнет он, как от спички, и кажется: это от него разливается белый свет и наступает день.

Для нас, мальчиков из Иерусалимки, замок был воздушной картинкой. Иногда казалось, что он оторвался от земли и плывет вместе с облаками, и мы, мальчики, смотрели: куда же он уплывет. Но небо прояснилось, и снова белый замок стоял на Орлиной горе, окруженный лишь синим небом.

У въезда в имение графини Браницкой стояли два чугунных столба с обвившимися вокруг них змеями. Говорят, графиня до того не любила евреев, что если у въезда появлялся еврей в лапсердаке, с пейсами и несчастным своим лицом, — даже железные змеи шевелились. Нам говорили, что там есть хижина из медных пятаков, пруд красного вина, гора рафинадного сахара. И лишь в год революции, когда все небо над Орлиной горой было залито огнем от горящего имения, мы при свете пожара увидели, что нет там хижины, сложенной из медных пятаков, пруда красного вина, горы рафинадного сахара. Это были легенды голодных евреев.

Вдали от больших дорог затеряно наше местечко в милом моему сердцу крае, где протекала река моего детства, где леса диких яблонь и вишен в пору цветения кажутся запущенными садами и вокруг, куда ни глянь, желтеют поля.

Мимо пробегали поезда, мимо, казалось, жизнь проходила.

Только несчастья не забывали нас. Вдруг, в ясный день, появлялась холера и ходила из дома в дом, из местечка в местечко. Ночью внезапно начинались пожары, и, если в одном местечке горело, небо зажигалось над всеми местечками, будто ветром переносило огонь. Но ничто на свете так быстро не докатывалось и так широко не разливалось, как весть о погроме: в тихой украин-

ской ночи вдруг вскрикивали в одном доме, крик подхватывала вся улица, и уже все местечко ревело, стучало в тазы и кастрюли; потом все стихало, и тысячи женщин, детей и стариков прислушивались к ночи.

В одну из таких ночей, которые помнит еврейский народ, по каменистой дороге брел с сумой калека-еврей, знаменитый гранильщик алмазов. В погром бежавший из Киева, неся на себе багровые следы нагаек, кочевал он из местечка в местечко, спрашивая по дороге, где местечко Белое, которое евреи называют Черное.

Он стучал костылем в двери высоких домов, спрашивая: „Здесь живут евреи?“ Его встречали еврейские вопросы и провожали еврейские советы, но из всех кварталов этого местечка только один — наша Иерусалимка приютила его.

Здесь находили кров все нищие, сироты и вдовы, погорельцы и калски, жертвы погромов и войны. Под крышами Иерусалимки укрывались беженцы со всей земли, изо всех стран, где только живут евреи, а где евреи не живут?

Здесь можно было встретить польских евреев с длинными пейсами и галицийских евреев в высоких шапках, и немецких евреев в коротких сюртучках, и литовских евреев с их крикливым голосом, и евреев-коммивояжеров, побывавших на Огненной земле.

И отсюда уезжали беженцы во все земли, ибо в какой земле, в какой стороне нет беженцев из местечка Белое, которое евреи называли Черное.

На нашей улице, среди стонов рожениц, бреда безумных, шепота сплетниц и поминальных молитв, среди грома кузниц и стука бондарей, люди, как везде на свете, мечтали о счастье, и нигде счастье не было от них так далеко.

На черной улице, среди сточных канав и выгребных ям, воображение вызывало оранжевые закаты неведомых земель, обетованную страну, обильную медовыми реками и тучными стадами.

Соседи наши бросали очаг и род свой и, гонимые погромами, исчезали. Дым и чад местечек таял вдали на украинской равнине.

Для них были закрыты все границы, перед ними возвели санитарные кордоны, им уготовили карантин, где их заражали болезнями, их поджидали острова слез, где они умирали, полицейские засады и коварные законы, швырявшие их из страны в страну. Но, слыша еще в ушах своих свист русских городских, они пробивались через все границы, кордоны и заставы.

Они приплывали ко всем пристаням и вступали в споры на всех языках.

Там, на чужих берегах, на гранитных и холодных набережных, в тумане, еврей ждет своего сына, своего отца, свою дочь, что-то бормоча и проклиная и все фантазируя.

Под ними горела чужая земля.

И они становились, местечковые евреи, жокеями, факирами, доминиканскими монахами. Они были брадобреями у султана и пекли бублики испанскому королю.

Никто из них не знал днем, что будет с ним вечером.

Они — коммивояжеры всех товаров, даже тех, что продаются на Формозе и в Исландии, и продавцы всех лекарств от всех болезней. Они — корчмари на всех дорогах, глашатаи на всех базарах, маклеры на всех биржах, поэты на всех языках. Они — на всех перекрестках. Они проникают во все трюмы и проливают слезы на всех островах.

Им нельзя было жить в Петрограде, Москве, Киеве, Харькове, Воронеже, Тамбове — нигде. Они заселяли Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Париж, Алжир, завели там Иерусалимки, Пески, Молдаванки, черные клубки несчастных улиц.

Им кричали: „Надувалы! Вы умеете только считать деньги!“

Они показали себя искуснейшими землепашцами, в поте лица своего разводили сады в Калифорнии, обрабатывали поля в Аргентине, выращивали рис в Китае, чай на Цейлоне, виноград на склонах Скалистых гор.

Не было лучших; чем они, скрипачей, а когда они

пели, женщины всего мира плакали. Они ужасали своими преступлениями, поражали математическими вычислениями, астрономическими наблюдениями и хирургическими операциями.

Они — часовщики на всех концах земли и думают, что по их часам движется солнце вокруг света.

И где бы они ни были — в пустыне Сахаре, на острове Ямайке или на Капской земле, — они встречали потомков и предков своих, рассеянных и развеванных по всему миру, похожих на китайцев, негров, индусов.

И еврейский Бог выслушивал из уст их молитвы за алжирского бея, за персидского шаха, за турецкого султана, за раджу мадагаскарского.

Но ничто не спасало их.

Они рыскали на всех ярмарках, и так уж повелось: без них не обходилось ни одно жертвоприношение, чтобы они не приносили жертвы, ни одни похороны, чтобы они не плакали, ни один погром, чтобы их не резали, наводнение, чтобы их не заливало, землетрясение, чтобы их не убивало, измена, кровосмешение, прелюбодейание, клязвопреступление, в которых бы не обвиняли их.

Они привыкли к сжигающему солнцу пустынь и к ветру гор. И солнце их сожгло и сделало черными, а горный ветер вызывал у них зобы. На юге они тряслись от малярии, на севере у них выпадали зубы и чернели от цинги десны. Они переносили язвы и выживали.

И все искали они землю, обильную медовыми реками и тучными стадами, и не находили ее. И все ждали обещанного золотого века, когда барс будет лежать рядом с ягненком и маленький мальчик стеречь их.

Со страстью еврейской молились они, обратив лицо к востоку, но горе шло от запада и от востока, от севера и от полудня.

Они клялись друг другу в верности: „Шма, Исроель! Слушай, Израиль! Господь Бог твой, Господь — единый...“ Но пока они молились, золото сделало многих из них господами, и рабы у них — евреи.

И он уже в чалме золотой, в мехах, атласе синем! Он уже разодет, жирноголовый, и жена его в шелку и белой

парче, и дети его в бархате желтом. Он уже забыл все унижения и вытер все плевки. И только и думает о том, как поскорей бы сбросить образ свой еврейский, только и боится, как бы не заподозрили, что он еврей. Позабыл он фамилию свою и имя, и улицу, где родился, и цвет обоев в комнатах детства, и друзей своих, и голос отца, и мать свою, братьев и сестер, и язык свой — все продал он за деньги. И не было радости больше, когда говорили ему, что не похож он на еврея: и говорит не так, и кричит не так, и любит не так, и нос совсем не еврейский.

Этот раб, этот каторжник, этот нищий, этот калека — его молочный брат, его сосед, родственник? Нет, он его не узнает. И душит он раба своего, еврея, как и нееврея, и смеется над говором его, над песнями его, над плачем его ужасным над его покойниками...

Приходили в наше местечко письма со штемпелями всех стран: круги, квадраты, треугольники, черные, синие, оранжевые.

Под аравийским небом и в полярной ночи раздавались стоны и песни моей родины, тоскливые песни беглецов о синем небе юго-запада, о шуме лесов, о местечках Киевской губернии.

Калека-еврей, нашедший приют в Иерусалимке, был Иаков, прадед отца моего, Симона, первый предок, имя которого сохранила память нашего рода. И о нем рассказывал мне дед Авраам, закатывая глаза.

От знаменитого гранильщика алмазов Иакова и повелось на Иерусалимке наше племя мечтательных и буйных евреев.

Были в нашем роду разбойники, чудесные гранильщики алмазов, могучие ковали, искусные швеи, прекрасные комедианты, горькие пьяницы, изобретатели перпетуум мобиле, висельники, утопленники, коробейники.

Голодным евреям снились горячие яства, и они облизывались; а детям — цветные мячи, и они вскрикивали во сне.

О род мой, затравленный, замордованный! Морил тебя голод, сушила чахотка, душила грудная жаба. Тря-

сучка и косноязычие одолевали твоих сыновей. Женщины твои страдали истерией и кровоизлиянием. Слепота поражала глаза часовщиков; горб кривил спину сапожников; вода сдирала кожу с кровоточащих рук прачек; катар схватывал глотки торговцев; в сумасшедшем доме кончали жизнь свадебные шуты.

Поразил тебя Бог, как предсказал, горячкой, лихорадкой, воспалением, чтобы ты был истреблен. Но живуч был мой род. Потомки Иакова, десятки крикливых семей, цепко держась за жизнь, пережили несчастья, погромы, пожары.

И как бы в насмешку над судьбой, наперекор природе, в семьях евреев, чахоточных и налитых водянкой, рождались дети — прекрасные лицом, с железным умом, сильными руками и громкой речью, с черными глазами, полными огня, страсти и печали, которые слышали, как лист растет и движутся тучи. Воины, поэты, математики, скрипачи.

Я — горячая капля крови этого рода...

Давид

— Пойдем к Давиду, — говорит отец.

— Господи, — восклицает тетка, — накажи этого еврея лихорадкой, горячкой, воспалением!

— Пойдем к Давиду, — повторяет отец.

— Господи, — всхлипывает тетка, — у других людей дети — доктора, раввины, фабриканты. У нас — биндюжник, сапожник...

— Пойдем к Давиду! — уже кричит отец.

И пока мы поднимаемся в гору, тетка причитывает:

— Зачем я тебя одевала, зачем я тебя причесывала, зачем я тебе лаковые сапожки доставала, золотые пуговицы пришивала?.. Чтоб ты ковалем был? Если б твоя мама на том свете проснулась!..

На краю Иерусалимки, высоко на горе, над рекой, стояла кузня. День и ночь горели огни кузни, и в детстве я был уверен, что кузнец никогда не спит.

Много лет назад, далеко отсюда, на краю большого украинского села, у опушки леса на горе, жил рядом со своею ветхой кузней коваль-еврей по имени Нафтула.

На голову был он выше всех людей, и сыновья росли в него, и когда они выходили все вместе и шли с горы, казалось — лес пошел.

От пращура, знаменитого коваля Гедали, повелось в этом доме: после обрезания, как только мальчик становился евреем, его сразу вносили в кузню, чтобы понюхал огня и дыма. Люльку подвешивали у ворот кузни, в красном свете огней. И как, наверное, сыну рыбака первые видения являются в море, сыну лесника — в темном лесу, так сыновья Нафтулы в огне увидели первые свои сны. И как правоверного еврея, перед тем как опустить в могилу, во дворе синагоги обносят священным свитком торы, так умершего коваля обносили вокруг кузни, чтобы простился навеки с огненным дымом, в котором провел свою жизнь.

Предки Нафтулы делали колеса с тех пор, как люди стали ездить на колесах. И когда бы мимо ни проезжала телега, а ездят телеги по земле день и ночь, всегда можно было у Нафтулы достать новое колесо, и все мужики вокруг ездили на его колесах.

Проезжая или проходя мимо открытых ворот кузни, мужики всегда снимали шапки и кричали: „Бог на помощь!“

Но вот приходит день, и приходит сотский в синих шароварах с лампасами и красным носом и говорит: „Жид! И жена жидовка, и дети жиденята, и колеса — не колеса, а жидовский обман!“

А ночью, когда сыновья были в местечке, налетели хищные птицы в мохнатых шапках, и запахло водкой на версту.

— Эй, вы, жида, языческие дети! Зачем обманом живете? Зачем на одной версте становили по три кабака, поили дурманом проезжего и пешего, зачем не пропускали ни бедного, ни нищего, отбирали у него пшено и яйца?..

И вот уже лежит Нафтула в крови, вниз лицом, лежит с железом в руках.

Утром пришли три сына, а сотский в синих шароварах с лампасами и красным носом кричит на них:

— Эй, вы, жида, языческие дети! Зачем подняли вы этот страшный бунт и тревогу? Зачем обманом живете?

Подняли отца сыновья, и старик нищий — тот, что с еврейской торбой проходил через эти места, дети бежали за ним и кричали: „Сумаспешший, сумаспешший!“, а сошел он с ума, когда на глазах его убили сына, — этот безумный старик с полной разумностью и спокойствием обмыл еврея Нафтулу от копоти и сажи, и человека, который всю жизнь прожил в черном кожаном переднике коваля, быть может, впервые одели в белое — в саван, так что прибежавшие бабы, глядя на него, не узнали его.

И кузнец, к которому шли мы, был не кто иной, как один из сыновей Нафтулы, правнук Гедали, Давид. Здесь жил он с тремя своими сыновьями — Ездрой, Нафтулой и Енохом. Так, пройдя сквозь погромы, несчастья, пожары, как бы бессмертный, снова жил еврейский род ковалей.

Как и предки их, они поселились на горе, близко к небу, будто им для работы их нужны были молнии и громы.

Там, рядом с кузней, всегда в облаке белого пара, Ездра, в широкополой соломенной шляпе, старший сын Давида, гнул ободья колес, а в кузне Давид и сыновья его Нафтула и Енох ковали железные шины.

День и ночь Давид с сыновьями делали колеса и выкатывали их из своей кузни, белые и высокие, уже окочеванные железом.

И дед мой Авраам говорил мне: если бы можно было так толкнуть колесо, чтобы оно полями-равнинами, перепрыгивая через горы, перелетая через моря-океаны, обогнуло бы всю землю кругом, колесо Давида вернулось бы обратно без единой трещины, запыленное пылью земли, но со скрипом, словно его только что выкатили из кузни. Потому что знал Давид, как делать колеса: отец Давида и дед Давида делали колеса, и отцы мужиков и деды мужиков ездили на этих колесах, и одни

из них даже родились, а другие умерли в подводах, поставленных на эти колеса. Давид научил своих сыновей сгибать ободья и работал день и ночь, потому что много колес нужно человеку, чтобы проехать расстояние от люльки до гроба.

Ночью огни кузни полыхали в небе, и тогда нам, детям, казалось, что и там кузнецы куют, и когда гремел гром и сверкали молнии, мы говорили: „Кузнецы разошлись“.

Летом, на рассвете, просыпаясь и видя над головой огненное облако, мы, дети, думали, что это восходит заря. Но то работал Давид с сыновьями, отковывая железо для колес, чтобы не боялись колеса ни ям, ни камня и везли мужиков к счастью и к несчастью, ко всему, к чему везут колеса...

Только стали мы подниматься в гору, донесся кузнечный гром.

Среди огня стоял Давид, в дымящемся кожаном переднике, в дымящейся рубахе, изодранной на груди, с длинной черной бородой, казалось, тоже дымящейся, и длинными клещами держал в раскаленных углях побелевшее железо. Секунда — и оно расплавится. Я посмотрел ему в лицо, но Давид был спокоен, и я подивился величавому его спокойствию.

— А! Пароходная контора! — сказал Давид.

— Грех смеяться! Грех смеяться! — строго отозвалась тетка. — Мы пришли серьезно поговорить с вами, как еврей с евреем!

Но только она открыла рот, чтобы начать говорить, как говорит еврей с евреем, Давид вырвал из огня пылающую полосу железа; огонь сверкнул по лицам сыновей; они на лету перехватили раскаленную полосу, со свистом промчали по кузне и кинули на наковальню, которая зазвенела.

И когда Давид поднялся во весь свой рост с молотом, занесенным над головою, тетка крикнула: „Ай!“ А я поразился различию человеческих существ: отец мой стоял сухой и маленький и, мигая глазами, смотрел на коваля:

— Вот еврей!

Давид со всей силой обрушил молот; мягкое железо поддалось, расплющилось, и, ощутив его, Давид с каким-то неистовством стал ковать.

— Вот так! Вот так!

Енох и Нафтула, чернобородые, как и отец, с высоко поднятыми молотами, полуголые, раздвинув багровые плечи и вдохнув воздух, ожидали только знака.

— Вот так! Вот так! Ну! — кричал Давид, отковывая.

И Нафтула, ахнув, с наслаждением опустил свой молот, а за ним Енох. Колесом — тяжелые молоты. Слышны только храп да стоны:

— Вот так! Вот так!

И внучонок Давида с закоптелым лицом тоже вертелся вокруг со своим молотом, приговаривал:

— Вот так! Вот так!

А Давид уже только стоял и смотрел на сыновей, посмеиваясь.

— Ты тоже будешь такой? — спросил он меня.

С завистью смотрел я на закоптелого кузнечонка, внука Давидова, важно раздувавшего мех и даже не желавшего смотреть в мою сторону.

В это время дочь Давида принесла пылающий горшок красного борща. Давид вынул из сундучка бутылку водки, поглядел ее на свет, полюбовался, понюхал и, убедившись, что это именно то, что он предполагал, опрокинул в глотку. Сыновья смотрели на отца, и если у него было сладкое лицо, то и у них по лицу разливалась сладость; когда отец крикал, крикали и они.

Давид передал сыновьям бутылку с одной каплей водки.

— Босяки! Вы терпеть не можете, когда отец на языке чувствует водку.

Сыновья покорно взяли бутылку и по очереди нюхали эту каплю.

А Давид приперчил красный борщ так, что он почернел, и глубокой деревянной ложкой стал есть, степенно вылавливая картофель, высасывая кости и все время покручивая головой.

— Ой, — говорила тетка, — так медленно?

— Я ни у кого не вырвал этот кусок. Я его заработал. И я имею время скушать его и почувствовать, какой он: сладкий или горький, — отвечал Давид.

И, пока он ел, тетка стояла перед ним, и громко им любовалась, и хвалила его силу, его грудь, его ремесло, копать на его лице, трещины на его руках; она забыла все, что выдумывала и говорила раньше, и теперь все ей здесь нравилось.

— Он умеет раздувать огонь, — говорила она про меня, — это же не мальчик, а разбойник. Дайте ему по-дуть — будет пожар.

— Он знает, где „а“ и где „б“, — торжественно заявил отец, и Давид посмотрел на меня с уважением. — Он вам будет письма писать, он добрый мальчик.

— В самом деле? — спросил Давид. — Такой маленький, и ты уже знаешь, где „а“ и где „б“. Поиграй с ним! — прикрикнул он на маленького кузнечонка, в это время показывавшего мне язык. — Он знает, где „а“ и где „б“, босяк!

Я испытал на себе завистливые взгляды кузнечонка, который плакать хотел от досады, что не знает, где „а“ и где „б“.

— Сделайте его ковалем, — сказала тетка.

Давид ущипнул меня за щеку, потом стал тискать мускулы на моих руках и несколько раз ударил в грудь.

— Это же коваль из ковалей! А ну!

Я взялся за клещи, схватил кусок железа, сунул его в огонь и стоял очень важно. Тетка восхищенно вздыхала, отец умилялся.

И казалось мне: кузня наполнилась гулом; зашумели мехи, раздувая огонь; свистя и разрезая воздух, пронеслись в темноте раскаленные прутья; подхватили их Давидовы сыновья и заковали, и закричали: „Молодец! Еще!..“ Горячий уют кузни обнял меня. Мне было душно и весело, и мир проносился передо мной, раскрашенный в радужные цвета.

— У него золотые руки, ему не железо ковать, ему зо-

лото ковать, — с сожалением сказал Давид, поглаживая меня грубой рукой, привыкшей к железу.

— Золотые ручки, — спохватилась тетка. — Ой, какие золотые ручки!

И она моментально передумала. Она уже ни за что не хотела сделать из меня коваля.

— Мой племянник будет ковалем? Как вам это нравится?.. Как тебе это нравится? — спрашивала она меня.

Разноречивые чувства охватили мою тетку: то она восхищалась ковалями, то презрительно смеялась над ними. Она всегда была такая.

— Мадам! — сказал Давид. — Вы не знаете, что говорите. Я — простой человек, я коваль, и отец мой коваль, и дед мой коваль, и отец моего деда был такой коваль, какого теперь не найти на всей земле. Когда царица проезжала в золотой карете и карета сломалась, он в секунду починил, она даже не проснулась. Он выпивал ведро водки и мог скушать четверть коровы. И нам никогда не было стыдно, что мы своими двумя руками зарабатываем хлеб. И коваль Давид никогда не скажет сироте: нет, не надо! Надо! Я его беру. Только что он будет кушать? Или вы, мадам, думаете, что ковалю не хочется кушать? Вы так думаете, мадам?

— Он ковалем будет, и я еще кормить его буду! — заverteлась тетка. — Отрубями я его буду кормить? Приплатите нам за то, что вы его ковалем делаете! Приплатите! Вы слышите? — настаивала она.

— Пусть мальчик остается, — уговаривал ее отец. — Надо же его чему-нибудь научить? Пусть свечки делает или монпансье, или подковы. И когда чужой человек берет кусок в рот, чтобы он не хотел вырвать этот кусок.

— Господи! — страстно воскликнула тетка, закатив глаза. — Пусть мои враги делают свечки и монпансье, а мой племянник пусть жжет эти свечки и сосет эти монпансье, чтобы ему было светло и сладко.

В это время звонари поднялись к небу и ударили во все колокола. Из домов выползали косые древние стару-

хи, окутанные тряпьем, полуголые очумелые старики, люди в черных перчатках и люди с крючками вместо рук — все, что гнездилось в недрах хижин.

Безногий солдат в красной фуражке бешено промчался на коляске; с сияющими лицами, о чем-то лопоча, неслись глухонемые. Приседая и раскачиваясь, приближались хромоногие, горбуньи, и цветные рублища их развевались на ветру.

Тяжело прошла женщина с железной ногой, пронесся загадочный человек в синих очках, с изрубленным или обожженным лицом; и тот, что обернул голову чалмой, и тот, кто разгуливал в шкуре зверя; в толпе замелькали: парень с отметиной на лбу и со свороченной челюстью, всегда готовый убить, странный человек с копачьими глазами — все, кто в детстве меня изумлял, восхищал и пугал.

Вытянув шею, с криком „Ой, ой-ой“ летели они вперед, и я со страхом смотрел на эту бесноватую толпу. Ее качало из стороны в сторону.

Понурые евреи вели танцующих медведей в железных ошейниках и ошалелых лысых мартышек, щелкавших грецкие орехи; колючих ежей, приученных к ласке, и наглых ярко-желтых попугаев, обученных матерщине.

Торопились шаромыжники, каббалисты, продавцы каленых каштанов, клязунник с длинным, изрытым оспой носом, тень от которого падала на все тело; еврей-гладиаторы в туниках, уличные фельдшеры с лекарствами от всех болезней, знахари со снадобьями для любви и нежности, напитками слабительными, укрепляющими, горячащими, — люди фантастических и мрачных ремесел.

За зверями и птицами кто-то провел бычка о двух головах; воровка Слониха показывала ублюдка с головой в кулак и живую черепаху. Соседи наши целой семьей привели своего рыжего мальчика Беню: он удивительно мог в уме все сосчитать, поделить и умножить; его водили по ярмарке, и он за грош решал разные задачки и отвечал на каверзные вопросы, подводил балансы, выво-

дил сальдо, и вся семья, все вместе — и отец, и мать, и дедушка, и малые дети охали и стонали от изумления, когда получалось.

О Бенья шепелявый, о друзья моего детства! Черные глаза, обведенные синевой, пламенные глаза еврейских мальчиков, полные слез, тоски и страсти!..

Под колокольный звон воскресных колоколов со всех четырех сторон, по всем трактам и дорогам двигались в местечко, на ярмарку, мужики 999 деревень пани графини Браницкой.

На всех дорогах их встречали маклеры, глашатаи, зазывалы в котелках и жокейках, еле державшихся на макушках, советуя, что купить и где купить. Выбегали навстречу пузатые торговки птицей и пискливые селедочницы и на ходу, прямо с подвод, шупали кур и вываливали в свои корзины живую рыбу. Метались среди возов румяные старички и, показывая мужикам нателенные кресты, уговаривали уступить им, а не обманным жидам. Важно надув щеки, стояли свиноторговцы в белых картузах и белых чесучовых пиджаках и улыбались только тогда, когда слышали хрюканье.

Корчмарь в ермолке выбежал на перекресток дорог, подняв руки. Он кричал, что его распяли и зарезали, дом его опустошили: почему никто к нему не едет? И он стонал и жаловался Богу, зачем он живет, зачем его не зарезали ножом, чтобы он этого не видел.

И когда донеслись звуки рогов, крики бегущих, орущих, скачущих, рев быков, мычание, стоны и хрюканье — далекий прибой ярмарки, — вдруг на площади все разом заорали; глашатаи, зазывалы, крикуны засви-стали, заревели. Они выбежали на площадь, бесноватые орали и, держась за животы, вздымая руки к синему небу, стали выкрикивать славу и хулу господину колбаснику, господину мельнику, мыловару и табачнику, шинкарю и рыбнику, дегтю, гробам и свечам, всем товарам, всем купцам, врагам и друзьям.

Рев и мольбы глашатаев!

Чтобы мыло розовое мылилось, табак душистый кужрился, монпансье сосалось, чтобы все жрали, пили и на-

слаждались. Ой, дай Бог, чтобы всем подвело животы, у всех сосало под ложечкой, чтобы всем хотелось и не терпелось.

Те, которые успели проснуться раньше, уже бегали, суетились, распалялись, продавая друг другу горчицу и банные веники, и всякий вздор. Люди уже сводничали и клеветали, и клялись, предлагая и покупая, и понукая друг друга.

Едут!

Заслышав крики и свистки, всё сходили с ума. Это звонили нам, это свистали нам, это призывали нас.

Глухие кричали, что они все слышат, слепые, что есть еще у них глаза. Ах, как безногие жалели, что не могут нестись стремглав; как безрукие плакали, что не могут протянуть рук к тому, чего хотят!

Калеки, не выдержав ожидания, вопя и жалуясь, потрясали обрубками, нищие торопились показать свои язвы. Жалкие желтые карлики все протискивались вперед, чтобы показать, какие они маленькие. И хотели быть еще меньше, совсем в землю врасти, чтобы одна голова торчала над землей, а руки собирали деньги.

Уже эпилептики бились в припадках, собирая восторженных зрителей, и дети с медными кружками обходили любопытных и угрожали тем, кто посмеялся и не заплатил. И эпилептики, встав с земли, тоже показывали им кулаки: для чего же они в кровь разбивались, над собой смеялись?..

Едут!

Пробудился весь город.

Уже дантисты схватили щипцы, подстерегая в своих домах гнилозубых; из окон кричали костоправы, хватаясь вправить и расправить все кости, цирюльники клялись побрить до синевы, массажисты обещали сделать тело нежным и розовым, и лекари, гордясь, вытаскивали клистирные трубки.

— Едут!

Наша соседка Ципа выбежала вся в волнении, плача, что опоздала. Она ломала руки: „Майн готт! Майн готт!..“ За нею, теряя по дороге пуговицы, катушки,

иголки, бежали Дина, Зина, Минна, девочки с такими длинными носами, что даже смешно, и Зюзя и Кузя — тоже с длинными носами, всхлипывая и нахвалявая товар. Ах, пуговицы для веселой жизни — бронзовые и серебряные, свечи для учености и смерти, шикарные шнурки для свадеб и венчания, иголки длинные, помады нежные. Зина, Дина и Минна надевали ленты и банты, всем показывая. Зюзя и Кузя расстилали кружева.

Едут!

Разгильные девицы бегали среди подвод:

— К нам во двор, к нам за стол, к нам в постель, у нас стеганое одеяло!..

На всех улицах и площадях вдруг вспыхивала торговля. Из всех окон, ворот и дверей вопили зазывалы, каждый дом превращался в лавку. Во всех дворах, этажах кричали и хвастались барышники, бесстыдно клялись купцы, горланили цыгане. На всех перекрестках оглушали барабаны, лебезили карлики, ломались великаны.

Раскосые китайцы со свистом раскрывали огнекрылые веера, сиявшие, как радуга; в руках китайчат были пестрые бумажные фонтаны. Высоко над ярмаркой, изумляя толпу, вертелись и плыли крылатые воздушные игрушки, похожие на раскрашенные детские сны.

В обжорках уже спивались, обжирались, кричали, хлопали пробками, дрались на ножах.

Евреи-гладиаторы в туниках схватили в зубы лестницы; по лестницам взбирались мартышки, щелкали орехи и плевали с высоты на зрителей. Закричали попугаи; понуры евреи затанцевали со своими медведями; музыканты заиграли в костяные дудки, охнули в барабаны, покрывая свист и вой.

— Ша! Ша! — сказала тетка. — Бульба!

Бульба

Сколько я себя помню, помню я и пузатого городского Бульбу — Бульбу в оранжевых шнурах, при усах и круг-

лых глазах, которые словно что-то увидели, выскочили из орбит и так и остались.

Впервые ослиные уши увидел я не у осла, а у Бульбы: длинные и узкие, они торчали и были видны за две улицы, и если спереди его узнавали по носу, то сзади по ушам. Нос его издали можно было принять за картошку, Бог весть какими путями попавшую между кирпичных щек Бульбы, если бы не фиолетовые жилки, выдававшие, что это все-таки нос, да еще нос не дурак.

Бульба стоял у полосатой будки на площади в тени огромной двуглавой птицы, повисшей над белой аркой, точно собравшись в полет. Люди, проходя, со страхом смотрели на нее, а птицы, пролетая в небе, всегда кричали над этим местом. Бульба же ухмылялся и все следил за большой и страшной тенью птицы, которая до полудня уменьшалась, а потом увеличивалась, и казалось: Бульба охраняет эту тень.

Кто такой Бульба и откуда он — никто не знал. Говорили, что и Бульбой его не зовут, а звали Бульбой того, кто стоял до него и кого прозвали так за красный нос бульбой. Но тот был в точности такой же, и никто даже не заметил, что его уже нет, а стоит другой; и этого продолжали звать Бульбой, и он сначала хрюкал, а потом привык и стал откликаться. Вскоре все уверились, что и фамилия его Бульба, и мать его стали звать Бульбихой, а сына Бульбенком, и они, видя, что Бульба откликается, и сами откликались.

И всем казалось, что Бульба стоит вечно и что не было такого времени, когда бы он не стоял, и уже не могли себе представить птицу без Бульбы и Бульбу без птицы.

Одну сторону площади занимал длинный глухой деревянный забор тюрьмы, опутанный колючей проволокой; поверх нее виднелись решетки, и за ними всегда кто-нибудь стоял и, если замечал, что на него долго смотрят, показывал фигу.

Рядом, на пустынной стороне, — похожая на мельницу в стели — „Португалия“, с венником над воротами, этим некогда международным гербом заезжих домов.

В центре площади — белая церковь, так как давно известно, где пан ставил корчму, там поп — церковь.

На той стороне, где стоял Бульба, — высокая белая арка ворот с хищной, точно собравшейся в полет птицей. Ворота вели на пустырь, заросший бурьяном, где была когда-то богадельня. Однажды ночью старичок, сошедший с ума в богадельне, поджег ее, и она сгорела так быстро, что многие старички и старушки, особенно крепко спавшие, не успели даже проснуться. Двенадцать раз хотели богадельню отстраивать и собирали пожертвования, но никак не могли собрать достаточной суммы, и тогда недостаточную сумму делили между собой те, кто ее собрал. Когда в тринадцатый раз все-таки собрали, уездный начальник решил, что число 13 несчастливое, и положил деньги себе в карман, строго наказав ежегодно белить арку и в чистоте содержать птицу, собравшуюся в полет.

Так и остался пустырь, куда выбрасывали дохлых кошек и где калеки и нищие подсчитывали свои доходы и в густом бурьяне устраивали свои свадьбы. Бульба видел, как по вечерам у безруких вдруг в рукавах появлялись руки и этими руками они считали деньги, вырученные за то, что у них не было рук; как слепые подсчитывали, не ошибаясь в счете, немые грубо ругались, а глухие оскорблялись, слыша эту брань. Бульба видел и молчал. Но когда они после проходили или проползали, или, подсакивая, хотели пронестись на тележках мимо, как ветер, Бульба поднимал правый ус, и они знали, почему он поднял именно правый ус.

Здесь же воры, несмотря на близость тюрьмы, делили краденое. И так как одному доставался кафтан, а другому подсвечник, тот, кому достался кафтан, зарился на подсвечник, казавшийся ему золотым, а получивший подсвечник хотел получить и кафтан и часто тем же подсвечником проламывал голову владельцу кафтана. Совестливые воры одному такому владельцу даже поставили крест, и если приходилось им выпивать, делали это не иначе, как на могилке усопшего, рассказывая про него разные истории. Так и стоял этот крест воров по-

среди местечка, никого не удивляя. А Бульба получал и с кафтана, и с подсвечника, и за проломленную голову отдельно.

И, наконец, четвертую сторону площади занимал удивительный дом, всегда мертвый, с закрытыми ставнями и дверью, на которой кто-то дегтем нарисовал крест. Изредка какое-нибудь окно раскроется и, как птичка, выглянет девица, но тотчас же за ней появятся усы и будто съедят эту птичку, и снова никого нет в окнах. На крыльцо дома поднимались господа в котелках, важные, словно шли в банк, и стучали три раза, а за ними бежал старичок и предлагал библейские картинки. На крыльцо выходила старуха в белом чепце и подмигивала Бульбе, и Бульба отвечал ей тем же подмигиванием, точно оба они знали что-то такое, о чем никто, кроме них, не знал.

Здесь же на площади стояли два старых еврея — Рубинштейн и Гольдштейн. Рубинштейн продавал клистирные трубки разных размеров, а Гольдштейн — шляпные булавки разных фасонов. Если долго не было покупателей, Рубинштейн и Гольдштейн торговали друг с другом, производя обмен трубок на булавки, причем Гольдштейн давал в обмен булавку с летающей бабочкой, а Рубинштейн требовал со змеиной головкой, на что Гольдштейн язвительно отвечал: не захочет ли он еще булавки с львиной головкой? Так он ему заранее говорит: все его трубки не стоят одной львиной головки. Бульба, слушая их, загадочно ухмылялся, но если они слишком громко ругались, свистел.

О площадь моего детства!.. То вынесется на нее пьяный гецель на своей сумасшедшей коляске, полной затравленных собак, и с криком „убью!“ пронесется дальше, и Бульба выпучит глаза, будто и сам кричит „убью!“. То солдаты проведут арестанта. То, размахивая котелком, прибежит и закружится по площади Пунцум, сумасшедший в белых кальсонах, крича в небо „у-у-у“, будто рассказывая о чем-то Богу, и Бульба, если хочет, слушает Пунцума, а если не хочет, засвистит и свистит до тех пор, пока Пунцум не убежит. То пьяный, выйдя

из корчмы, доплетется до центра площади, свалится и захрапит, точно ему удобнее всего спать именно здесь. Если Бульбе не лень, то подойдет и стащит пьяного в глубокую канаву, где квакают лягушки, а если лень, то так и хрюкает пьяный посредине площади, и свиньи ходят вокруг него и тоже хрюкают, а Бульба загадочно ухмыляется.

Стоит Бульба и, как собака, вытягивает голову и вынюхивает — повернет ее то в одну сторону, то в другую: „А?!“

Никто не спасется от круглых глаз его, от красных Бульбиных усов.

Скачет длинноногий Муе со связкой бубликов и уже заранее развязывает веревочку. „Я какой вчера брал — яичный или маковый?“ — спросит Бульба. „Яичный“, — ответит Муе, дрожа за бублики. „Ну тогда сегодня — маковый“, — говорит Бульба и выбирает самый большой маковый.

Вдруг выбежит на площадь коробейник с пузатой коробкой. Коробейник, коробейник, не беги через площадь! Бульба, вылупив глаза, говорит: „А?!“ И пока тот объясняет, откуда несет, куда несет и вообще зачем он всю жизнь разносит, Бульба только шевелит ушами и выберет иголочку, или катушечку, или наперсток и отнесет в будку.

Если подвода проедет, Бульба свистом остановит подводу и уже несет назад в обеих руках по яичку. Если старушка пронесет в церковь деревянное масло, Бульба перекрестится, перстом поманит и старушку и спросит: что несет? И отольет себе немного масла в бутылочку, припасенную на случай, если масло пронесут, чтобы горели у Бульбы лампадки под образами. И если кто обронит пуговицу, Бульба выждет, пока тот пройдет, и пуговицу поднимет и спрячет в коробочку для пуговиц; туда же он кладет и кнопки, а крючки кладет уже в другую коробочку. Вечерней порой, пригорюнясь, пройдет девица в красных или зеленых чулках, но Бульба, несмотря на то, что она плачет, ей ухмыльнется, показывая, что знает, отчего она плачет, и уже шевелит пальцами, и де-

лица дает в шевелящиеся пальцы гривенничек, а если гривенничка нет, Бульба и семечки примет и спрячет в будку, в мешочек для семечек.

Все коробочки и мешочки старая Бульбиха очистит, все пуговики, крючки, пряжки, катушечки и наперсточки разложит, рассортирует и вынесет на базар, а если будут копейки и грошики — в копилочку их.

А сам Бульба торговал только на пасху, продавая орешки еврейским мальчикам, зная, что они любят играть в орешки, и на копейку давал не стакан, как на базаре, а полтора стакана. В эти дни мальчики совсем не боялись Бульбы и даже кричали на него, чтобы скорее давал орехи. Когда они прибежали к нему, Бульба поднимал усы, но узнав, что за орехами, — ухмылялся; но когда Бульба уже продал и выходил с мальчиком из будки, он снова поднимал усы и, уже как городской, брал несколько орешков и в кулаке относил обратно в мешочек.

Но особенно был он рад, когда несли покойничка. Покойничек еще за три улицы, но Бульба уже чувствует и, подняв усы, выглядывает — из какой улицы понесут. И если Бульба издали видит иконы, то снимает фуражку, перекрестится и с обнаженной головой ждет, пока пройдут; если же слышит вой и еврейские крики, плюнет три раза — вправо, влево и впереди себя и ждет, не снимая фуражки, так как знает, что нельзя снимать ее на еврейских похоронах. И только покойничек поравняется с Бульбой, Бульба вкладывает свисток в зубы и пучит глаза, показывая, что сейчас засвистит. Родственники, еще громче плача, раскрывают кошельки и делают складчину, причем если хоронят старичка, стараются собрать больше: у Бульбы со старичками свои счета, ибо уверен, что с неподатливых старичков он при жизни недополучает. К Бульбе отправляют посланца, обязательно в котелке и с золотой цепью на пузе, а если без золотой цепи, то с пюзом обязательно, и тот говорит Бульбе, что нынче хорошая погода, с чем Бульба соглашается и незаметно принимает складчину. Продолжая смотреть за порядком, Бульба в карман опускает по монетке, ощупывая каждую. Но как бы обильна складчина

ни была, Бульба на покойничка смотрит сердито, жалея, что с него самого получить не может, и то, что его закопают в землю, считает своим убытком.

И если где свадьба, обрезание или просто веселье, у Бульбы уже першило в глотке, он уже глаза раскрывал и спокойно стоять не мог у своей полосатой будки, хрюкал и хмыкал, и показывал, что и ему хочется коржиков, еврейских коржиков! И Бульба, подняв красные усы, ловил сладкие запахи на лету. Но возвращаясь домой, он обязательно заходил на свадьбу и в оранжевых шнурах, круглой фуражке с медной бляхой и со свистком проходил прямо на кухню. Тамстряпухи угощали его фаршированной шейкой, которую Бульба очень любил. Он знал, как ее есть, и раскрывал ее с такой же ловкостью, как и дедушка мой, так что мне казалось, что вот он и благословенье произнесет, как мой дедушка, но Бульба, расправив усы, отхватывал полшейки сразу, заедал шейку золотым бульоном, а затем еще ел кисло-сладкое мясо, которое тоже очень любил. Но, поев и кисло-сладкого мяса, не уходил: он знал, что еще должен быть кугель-цимес, и если кугель-цимеса не оказывалось, Бульба делал удивленное лицо: „Какая же это свадьба без кугель-цимеса?“ Тогда ему давали фисташки или сладкие фиги, чем любят евреи закусывать на свадьбах, и, закусив фисташками или сладкими фигами, Бульба уходил, говоря: „Лапсердаки!“

И если у евреев праздник „пурим“, Бульба пахнет маком, потому что евреи пекут на „пурим“ маковые пироги, и на пасху Бульба пьет только пейсаховку; не надо и в календарь заглядывать, а надо идти к Бульбе и узнать, какой праздник.

Накануне нового года, по еврейскому летоисчислению, нафабрив усы и даже завив кончики усов кольцами, Бульба, в новых сапогах с лаковыми голенищами, с синей лентой на пузе, выходил словно царя встречать; тогда шел посредине улицы, ни на кого не глядя, и свиньи, лежавшие на его пути, уходили, ворча, уступая Бульбе дорогу.

Хрюкали свиньи, кукарекали петухи, трубили гуся, а Бульба шел среди них.

Старая Бульбиха, с жесткими волосками на подбородке и такими же круглыми глазками, как у Бульбы, с торбой ходила за ним, все шепча, шипя и подговаривая, а позади на одной ножке прыгал маленький Бульбенок — весь вылитый отец, так что казалось: только надеть на него круглую фуражку, сунуть в зубы свисток, и готов городской — сразу засвистит и, выпучив глаза, скажет: „А?!“

Бульба — в подкованных сапогах, высокая Бульбиха — тоже в башмаках на подкованном ходу, и даже Бульбенок, и тот с подковками; когда они шли, то звенели, и все уже заранее знали, что Бульбы идут. Тогда бежали навстречу с костью для борща или жареным языком. Если Бульба сам подойдет, он на десять борщей возьмет, глаза его завертятся, глаза его — глаза городского — не имеют дна. И несли — кто печенку, кто лапки, а кто и крылышко, Бульба только усом поводит, а Бульбиха торбу раскрывает, все шепча, все шипя и подговаривая.

Дойдя до торгового ряда, Бульба входил в первый же магазин и поднимал усы, и все понимали: Бульба поздравляет с еврейским новым годом. На прилавке появлялась рюмка и наполнялась свежей осенней вишневкой. Бульба привычным движением опрокидывал рюмку в рот, кричал и, вытянув ладонь левой руки, указательным пальцем правой, кончик которого был отрублен, рисовал на ладони кружочек и посередине ставил палочку. При этом, если кто-нибудь думал, что это копейка, Бульба шептал: „Рублик“.

Именно тогда и говорили, что Бульба даже со стены берет.

Но и на христианский новый год Бульба в тех же новых сапогах с лаковыми голенищами, с синей на пузе лентой и еще с синим башлыком, так же шел посредине улицы и входил в те же магазины, на этот раз поздравлял с новым христианским годом и, выпив рюмку, но не вишневки, а перцовой настойки или наливки, вытягивал

ладонь левой руки и указательным пальцем правой рировал кружочек, шепотом объясняя, что это за кружочек.

И тогда тоже говорили, что Бульба даже со стены берет.

И так шел Бульба по всем рядам: с каждого рыбака — по рыбке, и все спрашивал золотую рыбку; с каждой бабы — по яичку, проверяя на свет, и, если не отливало розовым светом, требовал два яичка; с каждого пекаря — по калачику, выспрашивая, почему не посыпаны маком, не заплетены как следует, по-еврейски; с каждой селедочницы — по селедке; пищали селедочницы, а Бульба спрашивал: где такая селедка поймана, в каком море?

Кричали стряпухи, а Бульба, ухмыляясь, выбирал колбасы, с которых кровь текла, и глотал галушки, как фокусник шпаги, и блины брал со сковород, и пампушки из кастрюль, и еще спрашивал, нет ли сметаны к пампушкам.

„Сладко ли или кисло?“ — спрашивал Бульба и ел сладкое и кислое, и кисло-сладкое, — все, чем богата ярмарка на Украине, над которой, точно сладкие птицы, несутся запахи украинских, еврейских и польских кушаний, и давал Бульбихе пробовать и Бульбенку; и Бульбиха указывала стряпухам, что недосолено и что пересолено, а Бульбенок просил еще.

Наевшись, Бульба шел к кваснику, мирно стоявшему у своей бочки. „А?!“ — спрашивал Бульба, будто квасник отраву, а не квас продавал, и, расправив усы, выпивал жбан квасу: нет, нельзя отравиться! И наливал еще в бутылочку, чтоб и Бульбиха и Бульбенок подтвердили, что нельзя отравиться. Раздувая нос, шел Бульба к табакам. „А?!“ — спрашивал он коробку с табаком и, понюхав, чихал, а чихнув, удивлялся, и так, чихая и удивляясь, набирал в кисет, и в карман, и еще в нос про запас, чтобы весь день чихать и удивляться.

И была еще у Бульбы копилка — серебряная, с узорами. Копилочку несла Бульбиха, а Бульбиху боялись еще больше Бульбы, потому что она родила городского.

Увидев знакомую копилочку, евреи как бы украдкой рассматривали копейку: а на самом деле показывали Бульбихе, как она блестит, пробовали на зуб, не фальшивая ли, и даже причмокивали: „Ах, хорошая копейка!“ И только после этого, украдкой, бросали в копилку, которую тоже украдкой подставляла Бульбиха; и Бульба только усом показывал, что видел, где она, эта копейка, а Бульбиха головой трясла, что слыхала звон.

Когда мы с теткой вышли на площадь, Бульба, увидев нас, тотчас поднял усы:

— А?!

— Ша! Ша! — шепнула тетка и сунула ему в шевелящиеся пальцы монету.

Приняв монету, Бульба сразу успокоился.

— Бульба, — сказала тогда тетка, указывая на меня, — скажи ему что-нибудь ласковое.

Бульба смотрит на меня: лучше бы перед его глазами убивали, сидели бы верхом и резали острым ножом, — ему было бы легче: он взял бы свисток в зубы, а там — свисток бы его вывез.

Бульба растирает нос: Бульба думает! Усы его сходятся и расходятся, даже уши его вытянулись от крайнего напряжения мысли.

Наконец Бульба, надувшись, сказал:

— Б-р-р! — и, ухмыляясь, показал кулак и даже присел, чтобы я лучше этот кулак рассмотрел. И тогда-то я увидел, что Бульба совсем не такой, каким он мне казался: усы его были не красные, а зеленые, и только снаружи крашенные; нос, весь в фиолетовых жилках, был, кроме того, покрыт волдырьчиками, — казалось, стоило только их тронуть булавкой, брызнет вишневая настойка; глянцевого лица его было на самом деле покрыто черными угрями, и под носом, в ушах и в других самых неподходящих местах торчали пучки белых волос.

— Видишь? — спросил Бульба.

— Вижу, — ответил я, рассматривая кулак и удивляясь его величине.

Мы были уже далеко, а Бульба все показывал кулак, словно радуясь, что нашел способ развеселить меня.

Госпожа Гулька

— Тебе нельзя в „Португалию“, — сказала тетка отцу, — там все попрыскано одеколоном!

Отец остался у ворот, а мы с теткой вошли в попрысканную одеколоном „Португалию“ и попали в ярко-красную залу с позолоченными столбами, увитыми пестрыми гирляндами бумажных роз. Низенькие двери вели из залы в меблированные комнаты. На дверях висели ярко-желтые занавеси с пышными красными цветами, больше похожими на птиц, а на стенах — картины, глядя на которые тетка ахала и кричала на меня, чтобы я не смел глядеть.

Во всю длину залы вытянулся торжественный стол с разбитыми блюдами, объедками и бутылками, в которых уже не было вина; посредине его стоял самовар, накрытый румяной куклой в широкой юбке, которая, будто напившись чая, отдыхала на самоваре. Крысы с писком пробегали по столу, а важный кот с пушистым хвостом и усами до пола, глядя на них, урчал, но не трогался с места — так он нажрался. С потолка, как гроб, свисала огромная потухшая люстра, и на входящих смотрела труба граммофона. В чадном воздухе, еще не остывшем от веселья, казалось, носились крики, стоны, хохот и пьяный храп — все, что было и будет, когда снова разгорится люстра над столом.

В это время поднялся спавший на бочках, в углу, человек с толстым красным лицом и без бровей, сам похожий на ожившую бочку.

Послышалось ворчанье, шипенье, шептанье, и сначала в дверях показалась клюка, которая как бы указывала дорогу, и за ней — нарумяненная старуха в рыжем парике, с длинным крючковатым носом — казалось, что он что-то искал на подбородке, и у старухи было такое выражение лица, будто она с самого рождения всем говорила: „У-у-у!“

Она шла и все шептала, как бы торопилась до смерти своей все высказать. У нее был полон рот золотых зубов, и, когда она шептала, они стучали.

Птичьи клетки висели вокруг, и птицы, увидев старуху, стали биться, выглядывая цветными глазками, но старая погрозила клюкой, чтобы не смели биться и выглядывать цветными глазками. Воробьи сели на подоконник и зачирикали; она и воробьям погрозила — нечего веселиться! Она удивлялась: какие они глупые — чирикают ни с того ни с сего. Кот дремал, жмурился на солнце и мяукал оттого, что ему было приятно дремать и жмуриться, а старой было неприятно оттого, что коту приятно, и она ударила его клюкой.

Из-за занавесок выглянула заспанная девица в буклях, и старуха сразу на нее: „У-у-у!“ Букли исчезли; вместо них выросли чьи-то огромные усы, и старуха им точас же: „Хи-хи!“, как бы извиняясь за свое „У-у-у!“

Увидев меня, старуха даже затряслась.

— Ты кто такой?

— Нам нужна госпожа Гулька, — сказала тетка.

— Я — госпожа Гулька!

Огромная эта зала с золотыми столбами и бумажными розами казалась моему детскому сердцу жилищем вечного праздника, и я поразился тому, что госпожа Гулька — старуха.

— Я — госпожа Гулька, — повторила она, стукнув зубами. — Ты кто такая?

И тетка, объяснив, кто она такая и кто я такой, и зачем я такой, — все в самых изысканных выражениях, — захотела подвести меня к ней.

— Не подходи близко! — вскричала госпожа Гулька. — Мыкита! — обратилась она к бочке, принявшей образ человека. — Понюхай — пахнет чесноком в „Португалии“?

Микита повел во все стороны носом и сказал: „Не чую“.

Госпожа Гулька наставила на меня клюку. Высоко надо мной колыхался ее рыжий парик и сверкали ее золотые зубы.

— А у тебя нет веснушек? — спросила она. — Если у тебя появятся веснушки, смотри! Я не люблю.

— Не появятся, — обещала тетка.

— Я тебе дам серебряные пуговицы, — сказала Гулька, — мы завьем тебе волосы, чтобы они курчавились.

— Ой! — воскликнула тетка. — Ты будешь стоять на балконе с серебряными пуговицами, в золотой фуражке. Ты махнешь рукой — и все двери раскроются.

— А ты не захочешь быть умным? — испугалась вдруг госпожа Гулька, и Микита тоже вдруг сделал испуганное лицо. — На тебя, мальчик, очень похоже, чтобы ты захотел быть умным.

— Боже упаси! — воскликнула тетка.

— Так я тебе говорю: в „Португалии“ не нужны люди с головой; ко мне приходи с одними плечами. Если ты не поймешь, твоя тетка поймет, если твоя тетка не поймет, я тебе голову отверну.

— Я сама отверну, не беспокойтесь, — сказала тетка.

— И ты, наверное, храпишь во сне? — спросила госпожа Гулька.

— Он спит, как голубь, — умилилась тетка. — Если б вы видели!

Но госпожа Гулька не хотела видеть.

— Я ненавижу храп, — сказала она. — Когда храпят, мне всегда кажется, что это смерть идет. Я не хочу смерти.

Микита, услышав этот разговор, побледнел: он тоже не хотел смерти.

Потом госпожа Гулька допрашивала — не громко ли я разговариваю? Не шумно ли дышу? Не люблю ли я сладкого? У нее уже был мальчик, который любил сладкое, этот мальчик ее обокрал.

— Я не терплю живых мальчиков, — говорила она, — мальчиков, которые смеются, улыбаются, бегают. Зачем? К чему? Чтоб тебя не было слышно: на цыпочках ходишь, на цыпочках живешь.

— Он умеет жить на цыпочках, — сказала тетка. — Его дед так жил, его отец. Как же ему не уметь?

— И не то хорошо, что хорошо, — продолжала госпо-

жа Гулька, тыкая в меня клюкой, — а то, что мне кажется хорошо. И если я говорю: это черное, так это черное, и хоть бы оно было белее сахара, все равно — оно кажется тебе черным.

— Ему покажется черным, — обещала тетка. — Он знает, что такое черное и что такое белое.

— И запомни: ты — ффу! — и Гулька подула на ладонь. — Ты даже не мальчик, ты — ффу! — и она снова подула на ладонь.

— Он знает, что он „ффу“, — сказала тетка, — он не имеет о себе понятия.

— Ну, теперь ты — мальчик на побегушках, — засмеялась госпожа Гулька. — А ты знаешь, что такое мальчик на побегушках?

И, как бы собираясь послушать, что я скажу, госпожа Гулька прикрыла глаз и стала похожа на злую птицу. И я вдруг вспомнил, что однажды во сне я уже видел такую птицу с глазом во лбу и длинным крючковатым клювом. Она сидела на дереве, а увидев меня, слетела и, накрыв черной тенью, хотела клюнуть. Когда я с криком проснулся и рассказал тетке сон, тетка сказала, что это была смерть, которая летит над землей и клюет зазевавшихся людей.

— Нет, я вижу, ты не знаешь, что такое мальчик на побегушках, — не вытерпела госпожа Гулька. — Так слушай!

Тут она широко раскрыла рот, вынула зубы и начала так:

— Еще темно на дворе, а твои детские глазки уже открыты. Не ты ждешь, пока петухи закричат „ку-кареку“, а петухи, услышав твой голос, кричат „ку-кареку“. Что же ты делаешь? — спросила она вдруг, и длинный крючковатый ее нос заудил на подбородке. — Слушаешь, как птички чирикают? На такого мальчика похоже, чтобы он слушал, как птички чирикают... Нет! — И она стукнула клюкой, которая тоже, казалось, сказала: „Нет!“ — К другому ты прислушиваешься! Ты на цыпочках идешь по „Португалии“ и прислушиваешься, как храпят клиенты: приятно ли, сладко ли им хра-

петь? И если храпят и посвистывают, то хорошо. Хорошая музыка! Приятная музыка! И тогда ты начинаешь. Они выставили ботинки. Ботинки — это человек. Лаковые ботинки — лаковый человек, грубые ботинки — грубый человек. Какие ботинки ты лучше чистишь?

— Лаковые, — подсказывает тетка.

— Лаковые, — отвечаю я.

— Молодец! — сияет госпожа Гулька. — На! Поцелуй за это руку. — И она сует мне в зубы свои холодные и дрожащие костлявые пальцы. — Они вывесили платя, ты и платя чистишь, чтобы ни одной пушинки не осталось. Сколько пушинок, столько щипков, и не красных, а черных! Я буду считать пушинки, ты будешь считать щипки и чернеть. Так смотри, будь лучше розовый.

— Мальчик мой розовый! — запричитала тетка.

— После начнутся звонки, — продолжала госпожа Гулька. — И каждой заспанной роже, какая бы она ни была: в рябинах или прыщах — не твое дело, — ты должен улыбнуться. Если клиент желтый, желтее смерти, ты удивляешься: „Ах, как вы поправились за сегодняшнюю ночь!“ Если он жирный, но не хочет быть жирным, ты говоришь, что он похудел. Если рябой от оспы, ты ни слова об оспе не говоришь. Нет на свете оспы. — И она постучала клюкою, которая подтвердила: „Нет на свете оспы!..“ — Один, просыпаясь, зевнет: „А-а“, другой скажет: „Б-р-р!“ И ты должен знать, кто зевнул „А-а“ и кто сказал „Б-р-р“, чтобы одному принести лед, а другому кипяток. Пятый номер начинает день с табака, шестой с варенья, седьмой тоже с табака. Но одному табак нужно натереть мелко, а другой умрет, если увидит мелкий табак...

Ты думаешь — конец? — ехидно спросила госпожа Гулька. — Нет! Теперь я встала, и я звоню. Ты подаешь мне утренний стакан чая, и он возвращает меня к жизни. — И она завыла, зашипела, зашептала, словно она вот сейчас возвращалась к жизни. — И чтобы чай не был слишком горячий, но чтобы и холоден не был, Боже тебя упаси! А как раз такой, как я люблю, не темный и

не светлый, не сладкий, но и не горький. Утром я злая! Но и вечером я злая. Я всегда злая, если захочу... И если этим стаканом чая ты захочешь меня отравить, я узнаю. Меня десять раз травили, ты слышишь? Ты еще только думать будешь и спрячешь яд, а я узнаю и этот яд вложу тебе в ротик, и не на своих тоненьких ножках ты отсюда уйдешь, а зелененького, на черных носилочках, тебя вынесут. А я буду пить свой утренний стакан чая!..

— Бу-бу-бу, — засмеялся Микита.

— А внучки еще спят, — умильно сказала госпожа Гулька, — на розовых подушечках, под голубыми одеяльцами. Ты прикладываешь им компрессики и должен знать, какой куда: горчичник к пяткам, тепленький на пупочек. Если ты перепутаешь и положишь тепленький к пяткам и горчичник на пупочек, я тебе положу горчичник на голову. Ты так хочешь?

— Он так не хочет! — ответила тетка.

— После этого ты их с ложечки кормишь вареньем: одну ложечку одному, а пока он глотает, другую ложечку другому. И горе тебе, если между первой и второй ты ложечку вложишь себе в рот. Я увижу, мои глаза всюду, в каждой ложечке мои глаза. — Она широко раскрыла глаза, пугая меня. — Потом ты их уложишь снова спать и глазки им закроешь. А уснут они сами. А если с ними что-нибудь случится, так и с тобой случится. Алешка! — закричала вдруг госпожа Гулька.

Никто не ответил.

— Алешка!! — завопила Гулька и застучала клюкой по полу, будто Алешка жил под полом. — Скотина!

— Я, барыня, — ответил за стеной сонный голос. И, звеня связкой ключей, вошел вышибала с синей мордой и мешками под глазами и пошел на нас, неся впереди себя рыжие кулаки, разросшиеся от частого употребления. Казалось, встань на дороге буфет, он и буфет прошибет своими кулаками и пройдет сквозь буфет.

— Алешка! — сказала госпожа Гулька. — А ну, что ты с ним сделаешь, если с детьми что-нибудь случится?

— Убью! — равнодушно ответил Алешка.

— Вот видишь! — обрадовалась госпожа Гулька. — Иди, Алешка, дрыхай! Молодец!

И Алешка, так же неся впереди себя свои рыжие кулаки, пошел досматривать свой разбойничий сон.

— Ну а теперь ты берешься за грубые дела, — сказала, вздохнув, госпожа Гулька. — Гостиница должна быть не гостиницей, а куклой. Это — „Португалия“, а не какая-нибудь грязная „Аргентина“! Ты убираешь тарелки и бутылки и все объедки и кости. Но ты их не пробуешь! Я пересчитаю вечером все кусочки, которые останутся на тарелках, и пересчитаю утром, когда ты их соберешь с тарелок. И если ты скажешь: съела кошка, я не поверю. Кошку я кормлю из своих рук самым сладким и жирным, и она не станет есть то, что готовится для гостей. Запомни: кошка не съела!

— Он запомнит, — обещала тетка.

— Ты натираешь все дверные ручки, начищаешь все кастрюли, месишь тесто, моешь полы, приносишь все, что надо принести, выносишь все, что надо вынести. Ты хочешь сказать, что ты сразу не сумеешь? Сумеешь ты или не сумеешь, хочешь или не хочешь — это не мое дело. Не я должна все это делать, а ты...

Госпожа Гулька передохнула, нос ее потянулся к подбородку, и она продолжала: — Приходит гость — ты уже возле него, со своей детской улыбочкой, снимаешь с него калоши, всякую пушинку снимаешь и подаешь ему пить. Ему не хочется — ты его уговариваешь, что ему хочется. Ты лучше его знаешь, хочется ему или нет. Один тебя смажет салом, другой горчицей, третий уксусом напоит, четвертый на голове тарелку сломает: они за все заплатили деньги. Деньги у меня завязаны. Вот! А ты что, сморкач? Ты смеешь думать, зачем и почему? У тебя еще течет с носа. У твоего папы течет с носа. У вас всех!

Все это госпожа Гулька не говорила, а выкрикивала, и крючковатый ее нос будто клевал меня. Мне казалось, что она продолбила мне макушку, и у меня даже заболела голова.

— Если тебе выбили зуб, ты зуб не выплевывай, по-

том выплунешь — не подавишься. Лучше хихикни. Можешь и не хихикать, я не требую, но если ты хихикаешь, будет очень хорошо.

С ненавистью она посмотрела на меня. — Но тебе же захочется в орешки поиграть, на одной ножке постоять, и не просто постоять, а кричать: бим-бом! бим-бом! — чтобы все знали, что ты стоишь на одной ножке.

— Что вы? — обиделась тетка. — Ему уже восемь лет!

Но госпожа Гулька не слушала.

— Или ты вдруг появишься перед зеркалом, высунешь язычок и будешь смотреть, как там мальчик, с таким же носиком, высовывает язычок, или нарисуешь на стене кружочек и будешь плевать в этот кружочек, или сделаешь дудку из бузины и день и ночь будешь дудеть или свистеть. Сначала — дудка из бузины, потом конфетку украдешь, потом ночью меня зарежешь! Я знаю, к чему приводит дудка из бузины!

— Ему ничего не захочется, возьмите его только! — упрашивала тетка.

— Я тебя знаю, — не успокаивалась Гулька, — ты еще вздумаешь на веревочке повеситься, утопиться, отравиться. Так я тебе заранее говорю: веревочка тебя не выдержит, вода не примет, отравы не отравит, и в огне ты не сгоришь. Раз я за тебя деньги заплатила, никуда ты не денешься.

Тут госпожа Гулька раскрыла рот, вставила зубы, и они, сверкнув, стукнули друг о друга.

— Сладкие тебе печеночки, трубочки с маком, — прошептала тетка. — Уйдем отсюда...

Бен-Зхарья

— Ты будешь кантором! В белых чулках и бархатных туфлях с серебряными пряжками, — сказала тетка и потащила нас в синагогу.

— Кантор не кричит, не плачет, не бьется головой о стенку, — говорила тетка по дороге, — он поет всю

жизнь, как птичка, и жрет, как конь. Он каждый день с Богом разговаривает и выставляет ему „за“ и „против“, задает вопросы и сам на них отвечает. Что же стоит ему задать вопрос о себе и для себя ответить? И вы же видите: если он даже не поет, а кукарекает, как петух, он все равно кушает желтки с сахаром. Он слова вам не скажет, если перед этим не скушает желток.

— Мальчик мой, — шептала она, — ты тоже будешь кушать желтки, растертые на сахаре, курица для тебя снесет, и я тебе поднесу. Ты скажешь: „Ах, хорошо!“ — и зальешь горячим молочком, и у тебя будет бархатное горло, как у райской птички.

Картины рисовались ей в блеске свечей.

— Ты будешь стоять, как святой, и чистый твой голос вознесется к Богу. Ты небо расколешь своим голосом, и Бог выглянет в щелку, чтобы посмотреть, кто это так поет. Вот тогда ты задашь вопрос и ответишь в свою пользу и мою, — и она злилась на меня, будто я забыл задать вопрос, а если и задал, то ответил не в ее пользу.

— Одним словом, ты будешь кантором! — сказала тетка, и с этими словами мы вошли в синагогу.

— Не надо кантором! — воскликнул служка Бен-Зхарья, рыжий, любивший табак еврей с такими большими ноздрями, словно Бог заранее знал, что Бен-Зхарья будет нюхать чужой табак. — Вы смóтрите на меня — на еврея, что стоит у замков, у дверей в отхожее место с большой связкой ключей у пояса, и думаете: „Что это за поганый еврей? И что он понимает в желтках, растертых на сахаре?“ Я был кантором в белых чулках. И стоял в блеске свечей, на самом высоком месте в синагоге, и только спину мою видели евреи, лицо же мое было обращено к Богу.

„Воспоем Богу новую песнь!“ — пропел он, протягивая пальцы к открытой табакерке отца, и, взявши добрую понюшку табака, показал эту понюшку носу, точно спрашивал, какая ноздря больше хочет. Но угостил сначала более любимую правую ноздрию и, держась за сердце, подскочил; чихнул, также держась за сердце, и присел; затем будто заново рожденными глазами по-

смотрел на остаток понюшки в пальцах и угостил менее любимую левую ноздрю, и тут уже подскакивал и приседал не один раз, а три раза, а когда глаза его наконец были раскрыты, то, полные слез, они словно спрашивали: „Неужели я еще жив?“ Но тут Бен-Зхарья закривил носом и так чихнул, что не только он, но и проходившие по улице узнали, что Бен-Зхарья жив и любит по-старому чужой табак. И они были правы, потому что от своего табака так не чихнешь.

Пальцы Бен-Зхарья были в шрамах, их и прищемляла и зажимала в табакерках, а один даже закрыл табакерку с его пальцами и хотел положить в карман.

— У вас желтые пальцы, — говорили ему, намекая на то, что они пожелтели от чужого табака.

— А что вы хотите, чтобы они были красные? — отвечал Бен-Зхарья и брал двойную порцию, угощая сразу обе ноздри.

И вот Бен-Зхарья, начихавшись и велев нам открыть уши, начал так:

— Когда я пел, женщины рыдали, дети бросали свои игры и бежали на мой голос; даже господин Дыхес переставал считать на своих жирных пальцах, сколько он заработал, забывал даже о своих лотерейных билетах и смотрел, икая, мне в рот. Голос мой раскалывал небо, и в эту щелку, вслед за моим голосом, проникали все крики и мольбы евреев. Еще помнят меня в этой си-нагоге, еще слезы не высохли от моего пения — только двадцать лет прошло.

Но разве им угодишь? — спрашивает Бен-Зхарья и ждет, чтобы мы сказали: „Нет, им не угодишь!..“

Но мы молчим, и Бен-Зхарья продолжает:

— Кантора всегда ругают. Поешь плохо — кричат: „Бандит!“ Поешь так, что ангелы на седьмом небе радуются, — все равно кричат: „Бандит! Он куски мяса из сердца вырывает“. А ты заливаешься, слезами заливаешься, воспевая Богу новую песнь... Теперь уже вы хотите знать, почему я стою здесь, у этих грязных дверей, и разговариваю с мальчиками, а не с Богом, и надо мной мальчики смеются?

И с этими словами Бен-Зхарья снова лезет в отцовскую табакерку с таким видом, будто ответить на этот вопрос можно только понюхав табак. Тут снова происходит угощение сначала правой, а затем левой ноздри, и когда наконец, начихавшись, Бен-Зхарья открывает полные слез глаза, то удивленно спрашивает:

— Вы еще ждете от меня ответа? Спросите у господина Дыхеса. Узнайте у него, что он хочет и чего не хочет. Он сам не знает, что он хочет и чего не хочет, — так он объелся. Если бы свинья имела рога, хорошо было бы жить на свете, я вас спрашиваю? То же самое, когда такой человек, как Дыхес, имеет деньги.

Был веселый праздник Симхасторы. Я вам скажу — это же раз в году, когда в синагоге не плачут, а смеются, и евреи забывают, что они евреи, и выпивают—таки рюмку водки, а кто водки не имеет, пьет квас.

А я в тот веселый праздник похоронил своего сына, наследника своего, я больную жену при смерти оставил и пришел петь Богу хвалебную песнь. Два человека поют от горя: кантор и нищий.

Я взошел на святое место, к священным свиткам среди блеска свечей, и поднял к Богу глаза: „Бог мой!..“

Это не я, это душа моя пела, все кости мои пели. И евреи слышали, ибо слышит одна душа другую, словно уши в ней. Каждый вспомнил свое горе, свое несчастье, свою боль, и полились слезы. И застонали евреи. Не те евреи, что у святой восточной стены, за деньги купившие место, самое близкое к Богу, с толстыми щеками и шелковыми пейсами, которые, выставив пузо своему Богу, заикаясь и спотыкаясь, бредут по молитвеннику, перемежая молитву отрыжкой, а те евреи, что загнаны в темный угол синагоги, где бегают крысы, жирные, как свиньи, где и сидеть негде, а на ногах нужно выстоять всю молитву, евреи — в цветных заплатках, пропахшие дымом и несчастьем, с рыжими патлатыми бородами, где можно найти и косточку и понюшку табака, — они заплакали и застонали.

Я не знаю, как потолок не расколосся надвое и Бог не явился посмотреть, кто это там стонет, чья душа это

плачет, разрывается. Душа моя полетела к Богу, мокрая от слез, и я чуть не упал. Но кто-то взял меня за плечи и повернул к себе. Я поднимаю глаза, я думаю — Бог сошел узнать, почему так плачет мое сердце. Но передо мной красная рожа господина Дыхеса, и она еще краснее, чем всегда, — от крови, смешанной с вином.

— Что вы евреям праздник портите? — кричит он, и вином пахнет от него, как от бочки. — Самый веселый праздник в году? Вам плохо? Сидите дома и войте. У вас хлеб черствый, обливайте его слезами и кушайте. Но что вы хотите от евреев, чего вы им из сердца куски вырываете, кровь из них высасываете, мало из них высасывают?

— Это я кровь высасываю? — говорит Бен-Зхарья, осторожно нюхая желтые свои пальцы, чтобы не чихнуть и не прервать своего рассказа. — Я, который за них перед Богом заступался?.. И при блеске свечей он меня выгнал...

Хоть бы обождал, пока погаснут свечи, пока праздник пройдет и перестанут все смеяться и ликовать.

Так нет, среди блеска свечей, среди ликования выгнал он меня и так кричал вслед, будто именем Бога говорил, и Бог не крикнул, не поразил его молнией...

А этого только и ждали. Тридцать других евреев захотели быть канторами и уже распевали: а-а-а! Когда каждый еврей может быть кантором!

— Хватит! — сказал Дыхес. — Ты лаешь, как собака, а жрешь, как лошадь. Кантор без голоса — это то же самое, что овца без шерсти. Кантор и лошадь хороши только до сорока лет.

Так он говорит шуточками, а у меня сердце кровью обливается.

В это время отец выудил из табакерки понюшку табака и на ногте поднес ее к носу, но Бен-Зхарья увидел ее и вынюхал на лету.

— И вот я уже служка, — сказал он, чихая. — И без меня никто не родится и никто не умрет, никто не женится и никто не разведется. И как не бывает грома без молнии, так и без меня не бывает ничего.

И я верчусь. Я верчусь целый день со свечами и молитвами: с обрезания на кладбище, с кладбища на новое обрезание, от цветущей невесты, приготовленной к венцу, к желтой голове покойника, приготовленного к аду, и снова — от черной ямы, откуда еще никто не возвратился, к венчальному балдахину, куда все стремятся. И еще в моих ушах „Песнь песней“, как я уже в синагоге, у свечей, и пою зауспокойную молитву... „Сын праха — подобен дуновению, дни его — тени исчезающей... О, если бы они разумели и размышляли об этом, о, если бы они подумали о конце дней своих!..“ И я пью и напиваюсь на всех обрезаниях и плачу у всех смертей. И вот уже не знаю, где свадьба и где похороны, и врываюсь с ликованием в дом покойника и со слезами в дом венчания.

И я таки имею кусок от всех свадебных пирогов, но каждый кусок слезами облит! Я даже не чувствую, что там — ливер или яблоки? Где пьют — и я с полным стаканом: это все видят; но то, что там половина слез, — не видит никто.

Им, конечно, весело. Они могут кричать и прыгать, как цапли, но мне — дома у меня темно и холодно, и мыши под полом, и мыши на чердаке, и мыши в шкафах, — отчего мне танцевать? Вы скажете, пока здесь светло, можно радоваться; но я же еврей: я думаю о том, куда я приду, я заранее обо всем думаю.

Ликуешь — и вдруг кусок остановился в горле: вспоминаешь, как твой Шлоймеле или Биньюминке проглотили бы то, что ты ешь, пальчики облизали, и кладешь в карман кусок, не чужой, свой кусок. А на тебя уже смотрит глаз хозяина, как будто ему не все равно — вложил ты кусок в рот или в карман. Но если в рот — ты честный человек, если в карман — жулик. Иди объясни ему, когда он красный от вина, веселый от веселья и зол на тебя. И стыдно, и больно, но вынешь кусок из кармана, как будто ты его туда случайно вложил на одну минуточку, и кладешь в рот. Хороший вкус тогда, я вас спрашиваю?

И танцевать ты должен больше всех, и кружиться

быстрее всех на каблуках и на носках, поднимать ноги до потолка и нестись с красным платком, и кричать, как извозчик. Жених здесь, потому что он — жених, невеста — потому что она — невеста, Дыхес — потому что он — Дыхес, — почет ему и уважение, и самый лучший кусок, и самый сладкий глоток, и еще улыбка к глотку: „Выпейте еще глоток!“ А ты — для того, чтоб им весело было!

Вдруг захочется им фокусов, показывая им фокусы — требуют взять грош, дунуть, и чтобы грош исчез. А куда его деть, я вас спрашиваю, когда все только и смотрят, как бы он не исчез. И недовольны, если ты не умеешь. А почему я должен уметь, в каких книжках написано, каким умным человеком выдуманно? Покажите мне палец, я скажу — палец, покажите два, я скажу — два, но когда показывают десять пальцев, могу я сказать — два пальца? Кричи, рассказывай им сказки и такие сказки, чтобы чай без сахара показался с сахаром, соус острее, а огурец кислее: все по своему вкусу.

И вот уже несут фаршированного гуся, нос твой раздувается, сердце твое радуется. А мадам Канарейка посмотрела на тебя и вспомнила, что забыла зонтик. Почему именно тогда, когда она на тебя посмотрела, она вспомнила о зонтике? И почему именно о зонтике, который находится дома, а не о платке, который у нее здесь? И почему именно тогда, когда несут фаршированного гуся, где, наверное, — я могу поклясться, — яблоки? Почему, почему? Еврей всегда спрашивает — почему? Потому что она Канарейка, а я Бен-Зхарья.

И пока они пьют и едят, и кричат — ты бежишь за зонтиком. Ты уходишь, а гусь с яблоками остается, ты приходишь, а его уже нет.

Умер еврей с шипкой под носом, а я должен плакать. Когда не любил я его с его ехидной улыбочкой, с его разговорами и его рассуждающим пальцем. Не любил. Вы понимаете, что такое „не любил“? Я сам просил ему смерти, а теперь я должен плакать! Он жрал свиное сало, он прелюбодействовал, он, на петуха похожий, грешил и лукавил и желал не только осла соседа, но и

жену его, — я должен плакать и молиться, просить Бога за него и омыть слезами все его грехи. А родственники стоят вокруг меня и следят, чтобы я плакал достаточно и пролил все слезы, за которые заплачено, чтобы я мокрый был от слез; иначе не поверят, от свечей не отойдут.

Ты — служка? Беги! И я бегу, высунувши язык. А посылают меня — ни вам, ни детям вашим туда не ходить — за долгами. Как по-вашему, будете вы меня любить, если я приду к вам напомнить, что вы не отдали долг господину Юкилзону? Когда вы брали, вы его любили всем сердцем, а теперь, когда нужно отдать, вы его ненавидите, и каждого, кто только назовет его фамилию, вы тоже начинаете ненавидеть. А ты приходишь со своей улыбочкой и говоришь, что господин Юкилзон просил отдать; ты не требуешь и ничего не хочешь: больше того, ты за то, чтобы он не отдал долга такому быку, — мало у него без этого? Ты бы сам не отдал, тебе нравится, что он не хочет отдать. Но он-то не знает, что в твоей душе. Ты с фамилией Юкилзона пришел, с блеском его глаз, с его голосом, и в тебе видят того, кто дал в долг.

Или посылают сказать родителям невесты, что родители жениха передумали: они еще будут думать, а пока воздержатся; когда невесту уже кормят к венцу и попрекают будущим мужем. Спасибо вам скажут за такое известие, чаем напоят? Отныне вы же будете самым худшим врагом, словно вы жених и вы отказали. С вами больше не кланяются и говорят, что вы самый ужасный человек, кривой и ехидный, и с особым удовольствием передаете плохие вести. Они замечают улыбочку на твоём лице и выгоняют поленом по спине, чтобы знал, как отказывать честным невестам.

Я родился с улыбочкой, я живу и плачу с улыбочкой, и в могилу меня спустят с этой улыбочкой, и когда мессия придет будить евреев, он поднимет меня и спросит: „Что это за еврей с улыбочкой — один на весь свет?“ Но что я могу сделать, если нельзя согнать ее с лица. Я бы хотел, но не могу — это же не чернильное пятно, кото-

рое можно стереть: это живая улыбочка, и она смеется, она улыбается, на то она и улыбочка, чтобы смеяться, а не плакать, но я-то плачу от нее, Боже мой!

Я стою у свечей и рыдаю, родственники ждут от меня чудес. И тогда — что я могу сделать со своей улыбочкой? Я только Бога прошу, чтоб она им показалась несчастной, и я заливаю слезами свою улыбочку.

И всегда и везде я кругом виноват: у невесты красивый нос, покойник плохо выглядит. Кто виноват? Служка. Боже мой! На то он и покойник, чтобы плохо выглядеть.

И сгорбленный ты ходишь по белому свету, детки бегут за тобой и мелом пишут на твоей спине, и маленький мальчик не стыдится говорить тебе слова горькие — он не знает, что говорит, он слышал, что папа его жирный во время отрыжки говорил, и он повторяет. И кричат вокруг тебя, и танцуют, и смеются. А ты идешь со своей улыбочкой и думаешь: „Боже, зачем я живу?“

— А что же, не жить? — спрашивает Бен-Зхарья и нюхает понюшку, приготовленную на ноге. — Богатые ругаются, а служку бьют; куда они ни глянут — везде спина служки, куда я ни взгляну — кулак! Что они такое кушают, какие лекарства принимают, хотел бы я знать, что у них такой тяжелый кулак?

Я не простой служка. Дыхес знал, что я за служка, и все мне передал: все расчеты я веду, все дела я делаю, с канторами я разговариваю; над бухгалтером — я бухгалтер, над кассиром — кассир, над сторожем — сторож.

Кажется, Дыхес лучше родного отца?

Нет, собака остается собакой.

Ему показалось, что я украл. А когда богачу покажется, что бедняк украл, — кричи, вой, — украл!

На всю жизнь я запомню кулак господина Дыхеса.

Когда я стоял на своем месте, у священных свитков, с глазу на глаз с Богом, и пел Богу новую песнь, Дыхес глаз на меня не смел поднять, а теперь, когда я служка и хожу между рядами и молюсь на ходу и на ходу харкаю кровью, он на меня руку поднял. И я еще не встал — кровь из меня хлещет, как из свиньи, а уже со-

рок других нищих целовали ему руку. А он мне кричит: „Вор!“

— Я? — говорит Бен-Зхарья, запуская пальцы в отцовскую табакерку. — Я? — переспрашивает он так, как он тогда Дыхсса переспрашивал, не вынимая пальцев из табакерки и растирая табак между пальцами, а затем угощая ноздри любимым порядком. — Я — вор? — кричит Бен-Зхарья, держась за сердце и кляня крепость табака.

Я беру бумагу и считаю: веник — 15 копеек; веник жесткий и веник пушистый — вот вы уже имеете 30 копеек. Дрова. Холодно или тепло должно быть в синагоге, я вас спрашиваю? Если бы было холодно, вы бы мне голову оторвали, а потом евреи бы вам голову оторвали — 30 рублей. Так я говорю или нет? Побелка женского отделения — у них тоже душа человеческая, они тоже хотят в чистоте сидеть и молиться, — 4 рубля 30 копеек. А Бульбе на пасху? А стекла, что выбили? То, что вам не хочется, вы не помните. У вас вылетает из головы — 3 рубля 80 копеек. А писарю за записывание в праздники, или вы хотите, чтобы я сам писал, писал и писал, пока сам не превращусь в стальное перо, — 7 рублей 36 копеек. Теперь дальше идем: тенору Рухле за пробную субботу — пять рублей ноль шесть копеек, два рубля мало ему, петуху, чтоб в горле у него кололо и рвало, как он с нас рвет, этот разбойник с большой дороги, в лаковых туфлях с серебряными пряжками! За мойку кителей и пелеринок хора, — грязные они должны перед Богом стоять, хористы они или кузнецы, я вас спрашиваю? — 3 рубля. Вы моргаете? Не моргайте, вам надо смотреть и считать деньги там, а не здесь. Сколько вы уже имеете? Но он не считает. Я считаю. Я все в уме держу.

Расход через Пискуна в Одессу. Вы же знаете Пискуна, он не китаец, он еврей — 27 рублей 58 копеек. Общественному шамесу — это я! — 5 рублей (пять пишу я прописью). О! Тут вас и взорвало. Это расход! И в ваших глазах это уже не пять, это пятьдесят, сто, пятьсот! Вы встаете утром, вы хотите кушать? Разве Бог мне не

дал таких же зубов, как и вам? У вас золотые, но мои не золотые хотят еще больше ваших золотых. Вы не хотите ответить? Вы не можете ответить... Идем дальше: в счет долгов Пирожнику, Печенику, Гуральнику; они же не такие люди, чтобы простить долги, — а почему они должны простить, я вас спрашиваю? — первому 13 рублей, второму 16 рублей, третьему 9 рублей. А теперь туда-сюда — три рубля. О! Этого вам только и надо. Вы уже хотите схватить меня за горло. Чтоб вас лихоманка так бросала туда и сюда, сколько у меня этого туда и сюда (это я ему не говорю, это я так думаю и желаю). Бронзу надо почистить? Посмотрите, как она горит, — огонь! — 1 рубль. Починка замка. Или, по-вашему, сигнагову надо раскрыть, чтобы свиньи приходили сюда рыться в священных книгах? — 30 копеек. Мойка фонаря — чтоб вам на том свете так светло было, как он светит! — 1 рубль 70 копеек. И вот вам 3 рубля, три серебряных рубля, как будто они лежат в кармане. Они же не из железа, они размениваются.

Слюнявим палец, подводим черту, сальдо... И что же вы думаете? Он смеется. Арифметика для него — не закон. Желание его, черная душа его для него — закон. И он берет и выбрасывает меня, как щенка. И я уже стою перед вами и плачу, а он смеется.

Тут Бен-Зхарья неожиданно запускает свои длинные пальцы в отцовскую табакерку и, крякнув, очищает ее до зеркального блеска; вся его рожа, с ее улыбочкой, желтыми зубами и толстым носом, раздувшимся от чужого табака, вдруг мелькает в этом зеркале. Но на этот раз Бен-Зхарья не угощает ни правую, ни левую ноздрю, а кладет табак в красный платок, аккуратно его складывает и прячет в задний карман. Лишь совсем маленькую понюшку, не больше булавоочной головки, кладет на ноготь и приближает к носу.

— Бог, ты дал нам зубы, дай нам и хлеба! — восклицает Бен-Зхарья и втягивает ноздрей понюшку табака. — Сколько стоит такой табак?..

— Ай, рассол, ай, запах! — пищал у селедочной бочки человек в засаленном картузике, с засаленной улы-

бочкой, сам похожий на селедку, купивший эту бочку у богатого бакалейщика.

Еврейки ходили вокруг и принохивались и, наторговавшись всласть, обозвав человечка селедкой без головы и вонючей селедкой, покупали селедочный запах. И если в рассоле случайно оказывался хвост селедки или глаза селедки, то человечек, не смотря на возражения о том, что хвост — не хвост и глаза — не глаза, брал отдельную плату за хвост или за глаза.

— Вот спячки так спички! — выкрикивала женщина с коробком спичек, а муж ее приговаривал: „Из каждой такой спички можно сделать две!“

— Соль! Соль! — кричал еврей с белой бородой и, у кого были толстые пальцы, давал самим брать щепотку, а у кого тонкие, не пускал и давал щепотку сам.

— Перец! Перец! — вторил ему еврей с рыжей бородой. — Чтоб вам горько было.

— Уголь! — как труба, ревел, покрывая всех, трубочист с ведром золы из богатых домов.

Женщины, переругиваясь, отбирали угольки и не хотели золы, а он уговаривал их, что зола лечит семьдесят семь болезней.

Цади в дырявом котелке и туфлях на босу ногу, стоя перед ящиком, где были навалены галоши с кожаными каблуками, туфли с вывернутыми носками, фуражки без козырьков и козырьки без фуражек, и показывая то туфлю, то козырек, выкрикивал: „Туфли на все вкусы! Козырьки на все характеры!“ А перед ящиком, как особые ценности, были разложены пуговицы с орлом, старые длинные ключи, которыми когда-то что-то открывали, черные гвозди пожарищ, подкова, найденная на дороге, ржавая пружина, крючок от брюк, потерянный соседом и найденный Цади, и, наконец, перья для шляп, страусовые и гусиные, которые можно принять за страусовые, и, если примут, Цади не будет возражать.

— Пух, пух, еврейский пух! — кричал старый Бенцион, весь засыпанный пухом.

Немой продавал пачку чая, уже бывшего в употреб-

лени, но снова высушенного и завернутого в серебряную бумагу, даже акциз наклеен, и хватал всех за рукава, приглашая взглянуть, как он нюхает чай и мычит, проводя рукой по сердцу, оттого что такой приятный запах у чая.

И кто несется с пачкой иголок, кто с катушкой ниток с таким видом, будто у него единственная на весь свет катушка, а длинноногий Муе — с бубликами. „Дырочки от бубликов хочешь?“ — спросил он меня и, рассмеявшись, полетел дальше: „Внимание, ванильные бублики! Сахарные!“

И когда даже нечего было продавать, хвалить, показывать, они все же продавали, хвалили, показывали, предлагая молоко голубиное, слезы соловьиные.

Вот у этого старого еврея одна-единственная пуговица. Он мечется с ней по ярмарке и предлагает пуговицы белые, пуговицы черные, пуговицы желтые, пуговицы-кость, пуговицы-кастор, пуговицы-перламутр. Пусть скажут только, что нужны пуговицы, — будут и пуговицы! И белые, и черные, и желтые, и кость, и кастор, и перламутр. И перламутр из перламутра!..

— Иди домой. Мы пойдем к аристократам, — сказала тетка отцу.

Мадам Канарейка

Она проносила по местечку в лаковой коляске с белой сеткой на конях, которых со свистом гнал кучер с разбойничьим лицом, готовый раздавить каждого, кто попадется на дороге мадам Канарейке.

И хотя видела она, как смотрели на нее евреи в лапсердаках, мадам Канарейка не оглядывалась, а сидела прямо с таким видом, будто ей интереснее смотреть на толстый зад кучера, чем на них.

И как ей было смотреть на них, когда она, мадам Канарейка, знала вкус того, чего им и не снилось и, если захотят, не приснится? Она рябчиков ела у графини Браницкой. А ну пусть еврею приснятся рябчики!

Какой-нибудь меламед с рыжими пейсами брел из дома богача, где он до хрипоты втолковывал жирному Цюце, что „А“ — это не „Б“, а именно „А“, но Цюця сосал конфетку и назло говорил, что „А“ — это „Б“, именно „Б“, и показывал язык. Он останавливался, когда проносилась мадам Канарейка со своим кучером-разбойником, и, чувствуя за спиной еще одного еврея, указывая вслед ей пальцем, говорил: „Она уже съела рябчика!“ Но, оглянувшись, видел, что и тот, кто шел за ним, — еврей в бабьей кофте, с мешком пуха на спине, — также указывал пальцем и говорил ему: „Она уже съела рябчика!“

Актеры у нее играли. Бароны у нее ели. И в доме — лампы голубые, свечи золотые.

Вот куда повела меня тетка.

— В таком доме! С такими мальчиками! С такими девочками! — восхищалась тетка. — Ты тоже будешь в глубоких галошиках, с гербом и пряжкой! Барашковый воротник мы тебе купим. Трубочки с маком ты будешь купать. Тебе уже хочется трубочек с маком? Ему уже хочется! А потом тебе золотую медаль, синий бантик на шею. Инженер путей сообщения! Фуражка царского цвета, бумажник кожаный, часы и палка с костяной головкой. Ты будешь нас костяной головкой бить?

И она вычищала мне нос, загибая его, печальная и гневная, со слезами на глазах, за то что костяной головкой будут ее бить.

Вот и высокое крыльцо с красным петухом, который будто кукарекает, что здесь живет мадам Канарейка.

И тут же, на двери, в подтверждение петуху, написано: „Канарейка“. Но так затейливо, с такими завитушками, что даже и прочесть трудно: пусть подумают, что на неизвестном языке написано, которого никто и не знает, только одни Канарейки. А на крыльце — резные украшения, напоминающие кресты, и нарочно напоминающие: пусть знают, что могут быть и кресты, если захотят.

Раскрылись двери, а в дверях лакей в красных штанах. И нарочно в красных, а не желтых: сразу напугать,

чтобы поняли, в какой дом попали, где нельзя громко разговаривать, нельзя сопеть, кряхтеть, вздыхать, нельзя евреем быть, мертвым надо стоять и ждать.

Увидев красные штаны, тетка вдруг стала оглядываться, и, я видел, ей хотелось сказать: „Не туда, совсем не туда мы попали, надо было за версту отсюда, а мы попали сюда“. Я слышал, как, стоя на цыпочках, тетка просила извинить нас и не беспокоиться (как будто красные штаны беспокоились) и сказала, что у нас есть ноги и мы пойдем с черного хода, с кухонного дыма.

Когда она сходила с крыльца на цыпочках, велел и мне сойти на цыпочках, она все оглядывалась, а у меня было такое чувство, будто сейчас мне выстрелят в спину.

Черный ход не был похож на черный ход. И здесь было крыльцо и даже свой петух.

— Если бы у каждого еврея был такой парадный ход, не было бы счастливее народа, — сказала тетка.

Кто-то выглянул в форточку, в форточке же угостил свой нос табаком и, когда тетка сказала „Здравствуйте!“, чихнул и закрыл форточку.

Когда мы через кухню, где все было бело: и кафельная печь, и кафельные стены, и посуда на стенах, по бархатной дорожке прошли в круглую залу, мне показалось: мы попали в рай — здесь все было бледно-желтого цвета: и стены, и мебель, и потолок в бледно-желтом шелку, и даже фарфоровый горшок под кроватью, и тот бледно-желтого цвета.

Было удивительно тихо. В нашем доме, заставленном старыми комодами с подсвечниками и широкими кроватями, на которых всегда кто-то кряхтел, я не привык к такой тишине. Я впервые в своей жизни вдруг почувствовал, что шумно дышу. То же, очевидно, почувствовала и тетка. И мы оба, стоя на цыпочках, затаили дыхание.

Со стен из золотых рам грозно смотрели на нас богачи в цилиндрах и пышных париках, допрашивая: „Как вы сюда попали? Кто вас пустил?“ А один ехидный ста-

ричок, изображенный со сложенными на груди руками, так глядел на меня, будто говорил: „Твое счастье, что у меня руки сложены“.

Но странное дело. Сквозь грозные черты вдруг стало проглядывать что-то давно знакомое. Изображенные на портретах, как бы раздеваясь, сбрасывали цилиндры и парики, и вдруг мы узнали их.

Это румяная дама, в белых кружевах, увешанная ожерельями, с бриллиантовой диадемой в огненных волосах, да ведь это же Лейбехе, нищенка, мать мадам Канарейки. Она ее выгнала из дому, и та ходила под окнами и под чужими окнами умерла. А теперь дочь столько ей надарила самого лучшего золота, и самых огненных красок не пожалела на сверкание диадемы. Если бы она знала, Лейбехе, она бы проснулась и пришла с того света, чтобы взять ее: наверно, очень далеко ходить с того света, если она не пришла.

А этот старик с голубыми глазами и серебряной бородой, похожий на первосвященника, дядя мадам Канарейки. Тетка, увидев бороду, даже всплеснула руками: борода, расчесанная надвое, закрывала ему грудь, но было хорошо известно, что ему ее выдрали за кражу общественных сумм.

Пока мы рассматривали портреты и удивлялись, в серебряной клетке вспорхнул ярко-желтый попугай с хвостом, окрашенным во все цвета.

— В еврейском доме попугай? — восхитилась и ужаснулась тетка.

Попугай посмотрел на нас круглыми, в цветных очках, глазами и, стукнув носом, закричал:

— Виват, ура! Виват, ура!

— А если бы ты сказал: „Шолом-алеихем“, — у тебя бы крылья отсохли? — проговорила тетка.

— Попка-дурак, — сказал я.

— Попка-дурак! — повторил попугай и захохотал. — Попка-дурак! — закричал он, высовываясь из клетки, как бы желая разглядеть, кто научил его этому.

Тут появились красные штаны и гневно сказали, что попугай из породы какаду или жако в миллион раз ум-

нее нас, евреев. Тетка, испугавшись, толкнулась в первую же дверь, и я за ней.

И мы попали в комнату, на этот раз уже не желтую, а всю голубую, как раз в то время, когда мадам Канарейка произносила:

— Мефодий Кырылович! Разрежьте поросенка!

И стало тихо, как в пустой церкви.

Холодный поросенок, со всех сторон украшенный зеленью, — даже из ноздрей его торчала петрушка, — вытянувшись на боку, лежал на серебряном блюде, точно спал, головой к хозяину, хвостиком к гостям; если бы он проснулся в это время, то увидел бы занесенный над собою нож.

Мефодий Кириллович, господин Канарейка, надо сразу сказать, имя свое получил не в церкви при крещении, ибо при обрезании был наречен Аврум-Бер в память умершего деда Аврум-Бера, умевшего задавать такие мудрые вопросы, на которые никто, кроме него, и ответить не мог. Это был чистенький, румяный человек, с пылячьим пушком на голове и большим черным бантом на груди, по которому сразу можно было определить, что принадлежит к людям, которые не сами одеваются, а которых наряжают.

Мефодий Кириллович водил ножом над поросенком, выбирая место, где бы лучше его разрезать, и все время шептал, точно уговаривал поросенка не беспокоиться: как только выберет место, так сейчас же его и разрежет. И было видно: ему нравится водить ножом над поросенком и хочется это делать подольше. Он даже вспотел и поглядывал на сидящих за столом так, будто хотел им сказать: „Вот задача!“

И все, кто сидел за столом: старичок с похожей на муху бородавкой на кончике носа, влюбленными глазами смотревший на поросенка и, когда Мефодий Кириллович повернул серебряное блюдо, даже раскрывший рот, приглашая поросенка прыгнуть в него, и бабушка в чепце с лиловыми лентами, будто приготовившаяся к смерти, ненавидевшая старичка и следившая, чтобы поросенок не прыгнул, и мадам Канарейка, похожая на по-

пугая, с такими же круглыми и глупыми глазами, которые только одно и выражали: „Разрезают поросенка“, и выглядывавшие из-за стола два Канарейчика, хотя и одетые в черкески с костяными патронами на груди, но все равно похожие на попугайчиков, — все они вместе с попугаем в клетке казались одной семьей.

Мосье Франсуа, человек с завитой головкой и маленькими усиками, коммивояжер, продающий духи и пудру, и какой-то домашний музыкант в сюртуке с бархатными отворотами, и какой-то домашний репетитор с серебряными пуговицами и голодными глазами, и карлик в синих очках — лица его и видно не было — одни синие очки, — и важный господин с подвязанной щекой, будто у него зубы болели, хотя, когда он открывал рот, виднелся один только зуб наподобие клыка, — все они понимали, что разрезание поросенка — это задача! И вот, когда нож Мефодия Кирилловича, уже описав круг, готов был разрешить эту задачу, он был остановлен появлением красных штанов, которые, указывая на нас, объявили:

— Из Иерусалимки!

И все взглянули на нас так, будто крикнули: „Из холерного барака!“

— Мыфодий Кырылович, не надо разрезать поросенка! — сказала мадам Канарейка.

Тетка в раздувшихся юбках присела во все стороны, отпуская реверансы каждому в отдельности, а мосье Франсуа, за его завитую головку, даже два реверанса.

— Скажи: „Приятного аппетита“, — шепнула она мне на ухо.

Но они на нас так смотрели, что, казалось, скажи я: „Приятного аппетита“, — они нас сразу же съедят.

И, ущипнув меня за то, что я не сказал этого, выставила меня вперед и сладким голосом, которого я и не предполагал у нее, объявила:

— Он как раз подойдет вам! Он тоже умеет кушать вилоккой и, когда пьет, не чмокает. Вы не думайте!

Бабушка посмотрела на старичка с мухой на носу, старичок на мадам Канарейку, мадам Канарейка на мо-

сье Франсуа, а мосье Франсуа смотрел в потолок, показывая, что это ему интереснее, чем смотреть на нас.

— Мыфодий Кырылович, как вам это нравится? — спросила мадам Канарейка.

Но Мефодий Кириллович не сказал, как это ему нравится, потому что хотя и носил бант на груди, но был дурачком. Правда, рассказывали, что он не всегда был дурачком, а был и умный, и даже проиграл мадам Канарейку в карты. Но это было так давно, что не только другие, но и сам он забыл об этом. И когда ему говорили: „Мыфодий Кырылович, а вы ведь проиграли мадам Канарейку в карты“, — он хихикал, и видно было: не верит. И когда проходили мимо него, сидящего на крыльце с бубликом в руках, люди, помнившие, что Мефодий Кириллович был очень злым Мефодием Кирилловичем, отчаянным картежником, любил скачки и даже устраивал петушиные бои — все, чего не любили евреи; и именно за то и любил, что евреи не любили, и мадам Канарейку полюбил за то, что она не любила отца и мать, потому что они евреи, — даже эти люди никогда не вспоминали об этом и видели в нем только дурачка.

Ничего ему теперь не надо было, только бы его называли Мефодий Кириллович. Как же сильна должна была быть любовь к чужому имени, если он берег его, даже потеряв память и перестав любить все, что любил!

При гостях мадам Канарейка усаживала его, как главу дома, на самом почетном месте, доверяя ему только разрезание поросенка, и если злилась на него, то вдруг нарочно тихо скажет: „Аврум-Бер!“ И тогда он снова становился злым, как в молодости, и даже вырывал пух на своей голове.

И старичок с мухой на носу, не еврейский, а русский старичок, живший в доме из милости, зная все это, сидя за столом, вдруг шепнет: „Мефодий Кириллович“, — и тотчас улыбнется, чтобы Мефодий Кириллович знал, кто шепнул. Этот старичок, всячески угождавший Мефодию Кирилловичу, ходивший за ним, как за малым дитем, забавлявший его, рассказывая диковинные истории и даже приставляя пальцы к голове, делая рожки,

сейчас ответил, что Мефодию Кирилловичу все это очень не нравится и ему тоже не нравится.

— Мосье Франсуа, а вам как это нравится? — спросила мадам Канарейка.

И человек с завитой головкой, принадлежавший к самым почетным гостям дома, ибо, когда раскрывал рот, мадам Канарейка тоже раскрывала рот, чтобы не проронить ни одного слова, зашевелился и сказал: „Фуи!“ и замахал розовым платочком, отгоняя даже мысль о нас. Запахло фиалкой, ландышем, кипарисом. Канарейчики повели носами, а мадам Канарейка сказала: „Ах!“ и придвинула мосье Франсуа кусок торта с мармеладкой, за которым уже давно следил старичок, и старичок тут же возненавидел мосье Франсуа.

— Фуи! — повторил мосье, снимая мармеладку и объясняя, что у интеллигентных людей каждое слово попрыскано одеколоном и припудрено пудрой, и даже не чувствуешь, что это — слово. — А эти люди, — и он помахал в нашу сторону розовым платочком, — говорят все, как есть: и „кушать“, и „пить“! — И он съел мармеладку и запил чаем.

Мадам Канарейка не отрывала влюбленных глаз от завитой головки, шепотом повторяя слова мосье Франсуа, и, когда он кончил, сказала нам: „Так нужно говорить!“

И вдруг мадам Канарейка и сама заговорила, нос ее вытянулся и засвистел. Мадам Канарейка говорила только в нос, чтобы все думали, что она может говорить на таком языке, на котором надо говорить в нос.

— Вы сюда вошли, как входят в еврейский дом: открыли двери, вошли и не спросили, можно ли войти, хотят ли, чтобы вы вошли! (Она посмотрела на мосье Франсуа, и тот кивнул завитой головкой.) Так в этом доме, — продолжала она, — не едят фаршированной рыбы. Вот! — указала она на поросенка, как бы призывая его в свидетели, с таким видом, будто это она родила поросенка и на нем она въедет в покои графини Браницкой и сама станет графиней.

— У нас другой язык. И он любит не то, что он лю-

бит, а то, что любят люди интеллигентные! И пусть нам в рот положат перец — если люди интеллигентные говорят „сладко“, мы тоже будем говорить „сладко“. А вам будет казаться сахар сахаром и соль солью. Ну, так могу я с вами беседовать, скажите сами?

И пока она таким образом говорила в нос, у всех тоже вытянулись носы: „Стоит нам только захотеть, и мы тоже заговорим в нос“. Только бабушка в чепце с лиловыми лентами, как она ни кривилась, не могла достаточно вытянуть нос и с завистью смотрела на ненавистного ей старичка, который отлично вытянул нос и сидел, весь вытянувшись на стуле.

Но тетка моя ничего не видела и не слышала и продолжала свое.

— Он не положит руки на стол! — торжественно заявляла она. — Он не будет смотреть на кусок, как бы ему и ни хотелось, и, пока кусок на столе, он не будет чувствовать его у себя на зубах. Он не будет болтать ногами за столом и не будет свистеть в доме, — обещала она. — Ты не будешь?

И она задавала мне все вопросы, какие только можно задать, сама отвечала на них — и все в мою пользу.

— Посмотрите на него, — сказала тетка.

Но мадам Канарейка не хотела смотреть. Тогда тетка поставила меня прямо перед нею, чтобы она уже не могла не смотреть на меня. И мадам Канарейка пристроила к глазу стеклышко и стала так пристально меня разглядывать, показывая, что разглядеть меня трудно, что я вдруг сам себе показался совсем маленьким, и чем больше она смотрела, тем я становился все меньше и меньше и вскоре почувствовал, что действительно меня разглядеть невозможно.

А те, у которых не было стеклышек, шурились, показывая, что они привыкли смотреть в стеклышки и без стеклышек ничего не могут разглядеть. Особенно старался старичок, хотя я сам видел: когда вблизи его мухи присела другая, чужая муха, он все-таки, не шурясь, одним ударом поймал не свою, а именно чужую муху.

Она была привлечена на кончик носа каплей меда, ибо старичок недавно заглянул в определенную банку в соседней комнате, куда его посылали за выдержками из Евангелия, чтобы прочитывать за столом.

— Господи! — сказала мадам Канарейка, разглядев меня наконец. — Он шевелится! Как это его только ноги держат!

Старичок тоже очень удивлялся, как меня ноги держат.

— Ведь он из Иерусалимки, — говорила она мосье Франсуа, — на селедке вскормлен!

— На хвосте селедки! — поправил старичок.

— Как же он выжил? — спросила мадам Канарейка таким тоном, будто жалела, что я выжил. — И даже ямочки на щеках! — воскликнула она. — Скажите, пожалуйста, совсем как у приличного мальчика.

— Не может быть ямочек, — убежденно сказал старичок, — тут что-то не так.

— Я тоже думаю, что тут что-то не так, — проговорила мадам Канарейка и принялась разглядывать, что тут не так.

Особенно ее удивляло, что я не кривой, что голова моя не раздута, как шар.

— Ведь там, в Иерусалимке, они все кривые, все раздутые. А он нет! — И она спрашивала: может, ей кажется?

— Нет, не кажется, — отвечали ей.

— Боже, совсем как мои Гога и Мога. Милые мои Гога и Мога!

Гога и Мога — два косоглазых мальчика, только у Гоги глаза в одну сторону, а Моги — в другую, словно Гога и Мога ни за что не хотели смотреть друг на друга, — пока мадам Канарейка, мать их, меня разглядывала, — затеяли любимую игру: Гога высовывал язык, а Мога ловил его. Так как глазки Гоги стреляли в одну сторону, а у Моги — в другую, поймать язык было очень трудно; но должно же так было случиться: в ту минуту, когда мадам Канарейка со словами: „Милые мои Гога и Мога!“ — обернулась, чтобы расцеловать их, Мога из-

ловчился и поймал за язык Гогу, а так как глазки его глядели далеко в сторону, а, схватив язык, он изо всех сил потянул его вслед за глазками, то он едва не вырвал Гогин язык. И все закричали: Гога оттого, что чуть не вырвали язык; Мога оттого, что не вырвал его; мадам Канарейка оттого, что думала, что язык вырван; старичок — чтобы за беспокойство получить большую порцию поросенка, а бабушка — чтобы выругать старичка. Все кричали. Только Мефодий Кириллович молчал и, ничего не слыша, все водил ножом над поросенком, выбирая место, где бы лучше разрезать.

Мадам Канарейка хотела упасть в обморок, но передумала и, осматривая язык Гоги и поглаживая по головке Могу, указывала на меня:

— Вы хотите быть такими же разбойниками, как он?

И она рассказала им, какой я и какие у нас в доме клопы, красные, как коровы, и что они едят нас живьем.

Гога и Мога, перестав плакать, уставились на меня и тут же провели мелом черту, сказав, чтобы я не смел переступить ее. Мадам Канарейка закричала:

— Какие они умные, как они догадались так сделать?

Мосье Франсуа сказал, что медицина требует сейчас же, немедленно, дать им горячее молочко с сахаром и медом.

— Медицина требует, — забеспокоились вокруг.

— Молока, — крикнула мадам Канарейка, — с сахаром и медом! Скорее!

— Не хотим молока с медом! — закричали Гога и Мога. — Хотим хвостик от поросенка.

— Нельзя хвостик, — сказала мадам Канарейка. — Я вам дам еще пампушек.

— Не хотим пампушек!

— Сладкие шишечки...

— Не хотим шишечек, хвостик!

— Блинчики с маслом, творожные коржики...

— Хвостик! — кричали Гога и Мога.

— Вот я сейчас ему отдам молоко с сахаром и ме-

дом! — закричала мадам Канарейка. — Он уже тогда не будет кашлять, вы будете кашлять! Правда, они будут кашлять? — спросила она меня.

Я подтвердил.

— На! Пей за то, что подтвердил, и капли им не оставь. На тебе сахар, соси его!

Но только я взял молоко, Гога и Мога закричали, чтоб им дали молоко; они умрут тут же на месте, если им не дадут этого молока.

Старичок вырвал у меня чашку с молоком и отдал Гоге и Моге.

— А-а, — говорил Гога, — а мы пьем молочко с медом. Мы едим пампушки, сладкие шишечки.

— У нас петух на крыше, — говорил Мога.

— У них каменный дом, — шептал старичок, — у них мельница с крыльями, — и радовался, словно это у него каменный дом, у него мельница с крыльями.

— Тьфу! Тьфу на него, — говорила бабушка.

И Гога и Мога повторяли: „Тьфу! Тьфу!“ — и плевали в мою сторону.

— Дайте им уже хвостик тоже, — посоветовал старичок, который боялся, как бы ему не достался хвостик, — им легче станет, я вам говорю.

Гоге и Моге дали хвостик, и они, разглядывая поросячий хвостик, закрученный штопором, спорили, почему он так закручен.

— Что за умные мальчики, — говорила бабушка в лиловых лентах, — золотые мальчики...

Мадам Канарейка снова взялась за меня.

— Не крути носом! На месте должен быть нос у приличного мальчика. И не смотри мне в рот... А теперь ты уже смотришь в землю? Когда с тобой говорят, не надо смотреть в землю. Боже, откуда взялся такой мальчик? Он даже не знает, куда смотреть.

Все ей не нравилось, и все было не так, все я делал наоборот. И когда она смотрела на меня, лицо у нее было такое, будто родили меня специально для того, чтобы мучить ее.

— Ну конечно! — воскликнула мадам Канарейка. — Что можно ожидать от мальчика из Иерусалимки, где только молятся, плюют на пол и спят, чтобы, выпавшись, снова молиться и плевать на пол, и от тети, у которой лиловая лента на желтом платье и которая дышит, будто она всю жизнь провела в воде и теперь ее выбросили на горячий песок.

Тетка затихла так же, как и я, только выпучила глаза, оттого что ей трудно было тихо дышать, и, поглядев на нее, я подумал, что она действительно всю жизнь провела в воде и теперь ее выбросили на горячий песок.

— А говорить-то ты можешь? — спросила мадам Канарейка. — Рот у тебя открывается?

— А? — спросил я, не поняв, чего от меня хотят.

Если бы я, мальчик, вдруг кукушкой закуковал, лягушкой заквакал, она бы так не испугалась, так не поблуднела. Ей показалось, что вот это „а“ я произнес по-еврейски, а не по-русски.

— Что значит по-еврейски „а“? Как у тебя язык повернулся? — допрашивала она меня. — Ты понимаешь, в какой ты дом пришел, ты имеешь понятие? Боже! — обратилась она со страстью к еврейскому Богу. — Они имеют понятие?

И старичок тоже сложил руки, спрашивая уже своего Бога: „Они имеют понятие?“

— Вы можете по-еврейски ругаться, торговаться, Богу молиться, друг другу головы разбивать, — говорила Канарейка, — но разве можно в таком доме говорить по-еврейски? — Она оглянулась на портреты, и те, казалось, отвечали: „Ни в коем случае нельзя!“

— А что, если бы услышал поручик Беребендовский, танцевавший у меня на паркете? — ехидно спросила Канарейка. — Или грек Попандопуло, который ел у меня сливочный торт и говорил: „Сколько я ел, а такого сливочного торта еще не ел“. Они бы ничего не сказали, но мы бы уже больше не слышали, как звенят шпоры поручика Беребендовского, мы бы уже больше не видели, как господин Попандопуло ест сливочный торт.

— Он еще будет по-еврейски улыбаться, — сказал

старичок с мухой. — По-еврейски хохотать, по-еврейски хлеба просить.

— Я не люблю еврейской улыбки, — вскричала Канарейка, — еврейского смеха, еврейской просьбы! Я у графини была, я у нее рябчика съела.

Мадам Канарейка долго еще о чем-то говорила, но я ничего не слышал: непонятный Попандопуло носился передо мной со своими греческими усами и грозил мне за то, что я задал еврейский вопрос.

— Скажи: ку-ку-ру-за! — сказал вдруг старичок с мухой.

— Кукуруза.

Все засмеялись, даже господин Канарейка, уже разрезавший поросенка, улыбнулся.

— А ну, а ну, скажи еще раз! — воскликнула мадам Канарейка, и на глазах ее появились слезы смеха. — Боже! — обратилась она снова к еврейскому Богу. — Что это у них, евреев, такое в горле, что они не умеют даже сказать „кукуруза“!

— Ах, эти евреи! — сказал мосье Франсуа, хотя по черным глазкам его, по выгнутому носу видно было, что и он еврей, но весь его вид говорил, что у него случайно черные глазки, случайно выгнутый нос.

— Как по-вашему, — спросила мадам Канарейка, — если бы поручик Беренбеновский услышал бы это, он бы умер?

— Конечно умер, — ответил старичок. — Вы еще спрашиваете?

— Боже, — проговорила она, закрывая глаза, — я себе представляю эту картину.

И старичок тоже закрыл глаза, тоже переживая эту картину, но сейчас же открыл их и посмотрел: цел ли еще поросенок, не съела ли его бабушка, пока он закрывал глаза. Но, открыв глаза, он только увидел на своем носу муху.

Эта муха, которая на самом деле не была мухой, сидела на самом кончике носа; старичок, на что бы ни смотрел, всегда видел муху и всегда все преувеличивал.

Вдруг он заметил у меня прыщик и воскликнул:

— А не нарыв ли у тебя?

— А он не заразный? — испугалась мадам Канарейка.

— Конечно заразный! — воскликнул старичок, глядя, на какие куски — большие или маленькие — Канарейка делит поросенка.

— Опасно заразный! — радостно проговорил он, увидев, что ему достался большой кусок, и поспешно стал есть.

— Дети, он вас заразит! — пролепетала мадам Канарейка, заедаая испуг вареньем и запивая чаем.

Она отхлебнула чай и вдруг схватила за грудь, будто ей всадили иглу в сердце. Дело в том, что весь чайный прибор — и чайник, и чашечки, и блюдечки были с изображением птиц с синими клювами. У Гоги и Моги — маленькие птицы, у старичка — побольше, а у мосье Франсуа — самая большая птица, но все с синими клювами. И вдруг мадам Канарейка увидела, что на чашке, из которой она пьет, птица — с зеленым клювом.

— Я что-то вижу... — прошептала она. — Чай горький...

И старичок проверил: не зеленый ли клюв и на его чашке? И отхлебнул чай: сладкий ли? И только тогда успокоился.

А за столом уже шло обсуждение: что можно от меня подцепить и как можно вылечиться. Высказывались самые ужасные подозрения: нет ли у меня глистов, и не едят ли меня черви, не пьют ли они мою кровь? И бабушка в чепце с лиловыми лентами советовала подвесить меня за ноги и подставить ко рту чашку с горячим молоком — черви сейчас же вылезут.

Каждый хотел найти у меня такую болезнь, которой он сам болеет, находил ее и после этого чувствовал облегчение, словно половину болезни передал мне.

— А не заикается ли он? — говорили они и ели поросенка. — Или, может быть, наоборот — у него пулеметность?

— А может, у него заячья губа?

В суматохе кто-то даже предположил у меня мягченность мозга, и, увидев в углу человечка с лысой головой цвета зеленого помидора, с тоской жующего по-рясачью челюсть, я понял, кто это предположил.

— Все возможно, — шептала мадам Канарейка, — у такого мальчика из Иерусалимки все возможно...

И уже все, кто ел и молчал, бросили есть и, угождая мадам Канарейке, увивались вокруг меня, чтобы хоть что-нибудь еще найти — прыщик какой.

Старичок протиснулся ко мне, уверяя, что знает все болезни и по одному пятнышку откроет болезнь, и не только ее, но и те, что тянутся за нею. Его опередил горбун, оттолкнувший старичка и вставший передо мной.

Вьюном он вился вокруг меня, таща за собой горб, все оглядывая, все высматривая.

И наконец нашел: он увидел пятнышко, нежное черное пятнышко, какое было и у матери моей на том месте, где шея переходит в грудь, — мать передала его мне.

— А-а, — засмеялся он. — Вот же оно! Я же знал. — И ногтем пытался скovyрнуть пятнышко, чтобы всем показать.

И все окружили меня и смотрели: какое это пятнышко, как оно могло очутиться на мне, и хотели немедленно знать, какие болезни оно с собой несет.

— А что, если б и это пятнышко увидела графиня Браницкая? — сказал старичок с мухой и, увидев, что мадам Канарейка побледнела, стал потирать ручки от удовольствия.

Я стоял среди них, в золотых эполетиках и лаковых сапожках, сковавших мои ноги.

— Вот так, вот так! — говорили они, поворачивая меня и осматривая, напудренные, растрепанные, хитрые рожи. Пискливый скопец и тот толкался, и тот хотел сказать свое.

Но горбун громче всех кричал, злее всех придумывал.

Искра в нем горела.

Он с Богом рассчитывался за горб, за синие очки, закрывшие все его лицо. И особенно мстил он за душу, что вложил в него Бог, — душу злобную и завистливую, что горела в нем, спать не давала, дыхание теснила.

Никто не находил у меня столько болезней, как он.

Одно слово перегоняло другое и все злее, все ехиднее. Горбатый, он до того увлекся, что даже выпрямил спину.

И так он мне надоел, до того въелся в душу, столько раз лазил мне в уши, что я, изловчившись, плюнул ему в рот, который он раскрыл, чтобы еще наврать.

Все закричали, что я убил его, что я сломал его очки, что они уже не синие, а белые.

Даже бабушка, не та бабушка, что с лиловыми лентами, точно приодевшаяся к смерти, а та, что лежала за занавеской и которой уже надоело носить ленты в ожидании смерти: из тех бабушек, что заживаются дольше, чем земля их может вынести и дети могут вытерпеть, и которые с каждым днем кушают все больше, чмокают все громче и давно уже перестали кричать, а, наоборот, иногда даже хихикают, и всем начинает казаться, что они никогда не умрут, — так вот даже и эта бабушка, уже лет двадцать пять не молвившая ни одного слова, там у себя за занавеской вдруг спросила:

— А он не отравит меня? — И голос точно из могилы.

Все вздрогнули, а бабушка с лиловыми лентами вся затряслась, будто смерть пролетела над ней.

Даже младенец в люльке под кружевным одеяльцем, разглядывавший колыхавшийся над ним красный шар, и тот вдруг закричал: „Уа-уа!“, словно предупреждал, что я — кровопийца. И все именно поняли это как предупреждение, как пророческий голос из люльки, и говорили: „Даже ребенок почувствовал!“

— Если бы надо было поджечь дом, он бы мог, как вы думаете, он бы мог? — добивалась мадам Канарейка.

— Вы еще спрашиваете! — закричал через весь стол

старичок с мухой и побежал с блюдечком. — Мадам Канарейка, дайте мне вот этот кусок с лимонным кремом.

И мадам Канарейка дала ему кусок с лимонным кремом и еще прибавила кусок с шоколадным кремом — за ответ, и старичок побежал назад, поглядывая на блюдечко и прижимая его к себе.

Гога прошелся раскорякой, показывая, как я хожу, а Мога прокартавил, показывая, как я говорю. И хотя Гога прошелся так, как всегда ходил, а Мога говорил так, как всегда говорил, но получилось, что это я так хожу и говорю, и все смеялись не над ними, а надо мной.

Мосье Франсуа сказал, что Гога и Мога будут министрами, у них министерские головы.

Они не останавливались, они не хотели останавливаться. Дураки они были бы — лишиться такого удовольствия! Они продолжали врать, глядя мне прямо в глаза, ничуть не стыдясь.

— Он, наверное, выкидыш, — решили они. И на этом сошлись.

Тетка умирала от несправедливости. Но когда они уже особенно увлеклись и, забываясь, кричали, что все это по наследству, она не выдержала и заскрежетала зубами.

Гости переглянулись и перетрусили. И тут же, краснея и торопясь, стали меня расхваливать.

Моментально оказалось, что я совсем не такой, каким меня хотели представить: и я — тихий, и вежливый, и не заразный, и кто-то даже нашел у меня молочный цвет лица.

— На тебе грушу! — сказала мадам Канарейка. — Но ты знаешь, как надо есть грушу? Ее надо держать вот так: за хвостик и не болтать перед ртом. На, покажи! — и дала мне редьку.

И на редьке я показывал, как надо прилично есть грушу. Слезы мои лились на редьку, и, только убедившись, что я прилично ем, мадам Канарейка дала мне грушу.

— Хорошо, я возьму его выносить за моими детьми, — сказала она, и Гога и Мога закосили глазками. — Только вымойте его, вымойте карболкой, остригите ногти, волосы, чтобы ничего не осталось!

Стало тихо. Только в соседней зале кричал попугай из породы какаду или жако.

Иекеле

Появился маленький Иекеле — в белом переднике с лотком. На лотке — пузырьки с рецептами для выведения пятен, точильные камни, паяльные палочки, золотые краски.

Иекеле затрубил в медный рожок и закричал:

— У кого лопнули стаканы, заржавели ножи, отупели мозги — бегите ко мне! Все, кто ненавидит плесень и моль, кривое и тупое, — Искеле вас ждет! Несите все, что трещит и ржавеет, рассыпается в прах, — ядохну, я притронусь, и все запоет, заблестит, засверкает золотом, серебром, бриллиантами, будет крепче железа, острее еврейского языка!..

Раскрылись все окна, выглянули дети и женщины, и Иекеле снова затрубил в свой рожок и закричал:

— А ну-ка, детки, пригоните к моей дудочке всех злюк, ехидных, ворчливых, сплетниц и шептуний: они засмеются первый раз в жизни! У кого болят зубы, у кого чешется язык, кто плачет, вместо того чтобы смеяться, кого грызет червь, кто грызет другого, — послушайте сказочку, веселую песенку, шуточку и прибауточку!.. Бегите, а то уйду!..

— Иекеле, Иекеле! — закричали из всех окон.

И как при виде служки Бен-Эхарья табакерки закрывались и прятались в самые глубокие карманы, так при виде Искеле они вдруг появлялись; даже тот, у которого никто и не предполагал табакерки, раскрывал табакерку и с улыбочкой, обозначающей: „И мы нюхаем!“, — говорил:

— Загляните, реб Иекеле, своим носом, очень прошу! Каждый хотел, чтобы Иекеле понюхал из его табакерки.

— Реб Иекеле, у меня табак турецкий! Угостите нас — обрадуются все косточки.

— Иекеле, а ну вдохните мой самодельный, вы такое делаете „апчи“, что душу выплюнете с этим „апчи“!..

Кто же такой Иекеле? И что он умеет делать?

Иекеле выведет пятно, такое, что никто и не помнит, когда его посадили — еще на свадьбе прабабушки, когда ели сладкое блюдо. И пятна будто не было. Весь кафтан завидует тому месту, где было пятно.

Иекеле починит часы, даже если из них вытащили все винтики, все равно, он найдет на своем лотке точно такие же винтики, и часы вдруг тикнут и пойдут.

Иекеле склеит и лопнувший стакан: из кусков — новый — ставьте перед самым почетным гостем. И если в нем даже укус, гостю покажется: вино.

Иекеле перешьет и перелицует. Из старого, смятого, в пуху и пятнах картуза с изломанным, как у злодея, козырьком, — он только перевернет — и выйдет новый картуз, и самые надутые баре поклонятся вам, и городской козырнет, и вся улица прошепчет: „Какой важный прошел“.

Иекеле хотел сложить вечную печку, которую надо топить только раз в году; изобрести вечные чернила: сколько бы ни наливали воды — все равно черные; и вечные горшки, которые переходили бы от бабушки к внучке, — все вечное, чтобы не надо было каждый день покупать... И евреи, встречая его, спрашивали: „Иекеле, а как печка?“ А дети по дороге в хедер кричали: „Иекеле, у нас все деньги на чернила уходят“.

Вот такой это был человек...

Реб Иекеле обошел и обнюхал все табакерки, чихая и подпрыгивая у каждой.

— На здоровье, реб Иекеле! На здоровье! — кричат мальчишки.

И уже бегут со всех сторон женщины в салопах и кацавейках с дырявыми кастрюлями и черепками и еще издали кричат:

— Реб Иекеле!

В руках Иекеле горшки вдруг слетаются из черепков, и они звенят, они блестят снаружи и изнутри.

Старик принес свой кафтан.

— Что я вижу? — говорит Иекеле, разглядывая кафтан. — Сало, мед, варенье и уксус. Теперь я вижу, сколько вы в себя влили, вижу все праздники, свадьбы и обрезания, на которые вас приглашали и не приглашали, но вы приходили и ели. И мед шипел, будто пчелы в нём еще жили, и гусиное сало было розовое: вы же любите не просто сало, а сало с гузки, вы знаете, откуда любить!..

— Э-э-э! — восклицает вдруг Иекеле, заметив черное пятно на груди. — Эти пятна пусть полицмейстер выводит, я с кровью дела не имею, я только веселые пятна вывожу...

Явился франт в круглой шапке, отороченной лисьим мехом, и требует сделать мех снова пушистым.

Иекеле говорит:

— Я не лисица. Или вы думаете: прибежали весной, так я что-нибудь сделаю? Нет, не сделаю; донесите шапку, чтоб весь мех вылез, и тогда мы пришьем новый мех. О!..

Тетка подвела меня к нему.

— Реб Иекеле! Научите его. У него министерская голова!

— Ну, так чему я его научу, — говорит Иекеле, — когда у него министерская голова? Выводить пятна? Пусть лучше сам их сажает. Самые сладкие, самые густые пятна, чтобы даже я — Иекеле — вывести их не мог.

В центре местечка белокаменный пассаж с высокими колоннами, воздвигнутый графиней Браницкой. Лавки кожаные, мануфактурные, галантерейные,

звонящие меняльни, темные утробы керосиновых складов, белые мучные лабазы, бесящийся люд.

Распахнут настежь магазин красок. Двери и окна, и стены разукрашены: круги, зигзаги и молнии. Ультрамарин, бордо и золото. Они пылали, слепили и ходили кругами в глазах; их нельзя было не купить. Фабрикант готов был расписать своих детишек, как зебр, — пупки в золоте, чтобы расхвалить свои краски, самые огненные, самые зеленые, самые желтые в мире.

— Краски вечные, краски из Индии и Китая, выжатые из водорослей океана, из перьев тропических птиц! Ни вода, ни солнце, ни время не губят их — не линяют, не тускнеют, не шелушатся!

О кадки оранжевых красок! Я упивался их цветом и блеском. Они мучили безумной недостижимостью своей.

— Не притрагивайся! — кричала тетка.

Рядом в роскошном магазине продавали бронзу, красный бархат и обои для комнат молодоженов, обои на все вкусы и характеры: для бешеных и молчаливых, для нежных и грубых, и для завистливых. Еврей привез из невероятных стран фарфоровых слонов, огромные гудящие раковины; с замиранием сердца я слушал их вечный гул.

Какие-то люди с медными лицами, в расшитых тюбетейках носились по ярмарке, расстилая по ветру шелковые шали, и украинское солнце переливалось и сверкало в их руках, и шелка казались то ярко-алыми, то золотыми, то серебристыми.

В толпе, стонущей и орущей, появлялись продавцы птиц, веселые, беспечные евреи. В клетках порхали, свистели, шелкали, рыдали птицы украинских лесов. Но продавцы забывали о них, они готовы были продавать черных лебедей, страусов, жирафов, когда речь заходила о птицах. От их воображения можно было сойти с ума.

Евреи все продавали, даже иконы. Они со страстью предлагали чужого Бога:

— Ах, купите Богородицу, Богородица улыбающаяся, Богородица плачущая, Богородица во всех видах.

— Вы видите этот клетчатый платок? — говорила торговка, разложившая платки прямо на земле. — Спи-те на нем, кушайте на нем, заворачивайте в него детей, варите в нем, пеките в нем, целуйтесь в нем — ему ни-чего не будет. Он будет клетчатый, и каждая клетка — это деньги!

— Ах, какая радужная ножка, — лепетал приказ-чик, стоявший на коленях перед дородной щеголи-хой. — Подтяните еще чулочек, выше, выше, вот так! Вы уже дрожите, как птичка? — усмехался он. — Вы уже хотите этот чулок, я вижу! Ну, так я вам его уступ-лю за полцены. — И он охал и жалел, без конца жалел, что уступает.

— Господин хозяин, господин хозяин! — умилялась и отчаивалась маленькая женщина. — Ну разве вы где-нибудь достанете такие полосатые кальсончики? Нигде вы не достанете такие полосатые кальсончики.

— О горчица, моя горчица! — отчаянным голосом выкрикивал желчный еврей в бабьей кофте. — Купите горчицу!

— Дрожжи, дрожжи! — пытался перекричать его со-сед. — Ой, без дрожжей вы долго не проживете!

— Уксус, уксус! — заглушал их обоих третий. — Ку-пите уксус. Не уксус, а вино!..

— Купите, купите! — кричала ярмарка.

— Купите! Ой, купите! В ва́шей душе есть еще Бог? Почему вы не хотите купить?

Хаскеле-факир

Вдруг над ярмарочной толпой из-за ширмы балага-на появилась в желтой изодранной чалме голова с длин-ными усами. Поглядев выпученными глазами на толпу, голова развела усы в стороны и снова сложила их, как муха крылыпки. В толпе засмеялись.

Голова зашипела и, ворочая глазами, стала медленно подниматься вверх и, вытянувшись над толпой, закричала: „Ку-ка-ре-ку!“

Так началось представление.

Ширма раскрылась, и вышел в желтых штанах и заплатанных розовых шароварах, испачканных дегтем, удивительный еврей — Хаскеле-факир.

Тетка, стоя за спиной, что-то мне объясняла и щипала меня, чтобы я запомнил ее объяснения, но я ничего не слышал и ничего не запоминал. Я видел только его, удивительного еврея — Хаскеле-факира.

У всех на глазах он собирал и проглатывал брошки, кольца и серьги, а проглотив, разводил руками: нет, мол, ваших брошек, колец и сережек. И когда женщины хотели уже кричать и плакать, он с жалкой улыбкой залезал в карман первого же мужика, с разинутым ртом стоявшего возле него, и вытаскивал оттуда точно такие же брошки, кольца и серьги, к возмущению женщин и ужасу мужика.

Только он прикасался к вещам — они исчезали. Бесследно испарялись серебряные портсигары, курительные трубки, дорогие запонки; и Хаскеле-факир находил их в самых неожиданных местах — в жилетах евреев, у франта в перчатках, в кошелках у баб.

С удивительной ловкостью запускал он свою руку куда угодно и вытаскивал что угодно: коралловые ожерелья, живых бабочек, белых мышей.

Он хвастался и грозился, что залезет кому-нибудь в ухо и вытащит оттуда живого рака. Он все умел, этот Хаскеле-факир, он смеялся над вещами, играл ими, в его руках они превращались в ничто.

Он жонглировал шестью предметами, среди которых был живой дрозд; в воздухе сверкали кольца, диски, дротики и крылья дрозда.

Он проталкивал соломинки в нос и вытаскивал их через рот; он курил, и его уши дымились, как трубы; мужики принимались к сладкому дыму и удивлялись.

Восторженно прокалывал он себя тонкими длинными спицами и, сверкая ими, танцевал и тузил себя по животу и надутым щекам.

Он заговаривал зубную боль, зачаровывал беременных, изумлял сумасшедших.

Вдруг он закричал совой. Серебряные колокольчики зазвенели, и мальчишки-уроды, мальчишки-головастики, чуда-юда, ублюдки, недоноски вышли себя показать.

Хаскеле-факир нажал кукле нос, и кукла кричала: „Ура!“ и „Караул!“ Оловянные солдатики маршировали сомкнутым строем. Попугай ревел: „Смирно!“ Игрушечные пушки открывали пальбу.

Я изнемогал от удивления. Мужики в свитках, не веря своим глазам, тыкали в него пальцами и все же не хотели верить, что он существует на самом деле; рыжая еврейка пребольно ущипнула его, дабы убедиться, что она не спит, и, когда он вскрикнул, успокоилась. Цыганка трясла плечами, хохотала и всему верила; молодой попик шептал и крестился, оглядываясь по сторонам.

Тетка моя так громко восхищалась, что фокусник наконец заметил нас и позвал за ширму, где играли мальчишки-уроды и в клетках пели и стонали птицы.

— Такой чудесный мальчик! — сразу приступила тетка к делу, выставя меня вперед. — Это тоже фокусник, тоже паяц.

Хаскеле-факир недоверчиво поглядел на меня. Да, ему нужны мальчишки-идиотики, сопатые, горбатые, гнилозубые, карлики, чтобы их с земли не было видно.

Тетка доказывала, что я смогу всем этим стать, стоит мне захотеть.

Но Хаскеле-факир не верил. Он осматривал, ощупывал меня со всех сторон и очень сожалел, что у меня прямые ноги, прямые руки.

— Вот если бы руки или ноги были завернуты кренделями, — сказал он, — или лучше — совсем не было рук, тогда можно было бы научить писать ногой, это очень хорошо! А сейчас что я буду с ним делать? Если бы у него хоть был шестой палец. Ведь этим пальцем

ты бы загребал бриллианты! — сказал он таким тоном, будто приобрести шестой палец зависело от меня.

— Он же зеленый! — вскричала тетка. — Его можно будет показывать, и все будут удивляться.

— Это значит зеленый? — презрительно сказал Хаскеле-факир. — Это значит — красный! Когда положишь на траву и трава рядом кажется желтой, вот тогда значит зеленый.

— Господи! — говорил Хаскеле. — Нос у него на месте: ни вправо, ни влево, не лезет на лоб, не опускается и на подбородок. Ах, как было бы хорошо, — сказал он вдруг, замечтавшись, — если бы вдруг нос вырос на затылке!

И это желание его было так велико, что он даже повернул меня: не выскочил ли у меня на затылке нос.

— Бывает счастье, я вам скажу! — сказал Хаскеле и поднял свой фокуснический палец. — Еще дите у матери под сердцем, ничего оно не знает, ничего не хочет, ни о чем не догадывается, а Бог уже над ним фокусничает и помещает глаз во лбу. Такой мальчик есть в Америке, и это не мальчик, а бриллиант. Но я от вас не требую глаза во лбу.

Хаскеле-факир вдруг ущипнул меня, и я заплакал.

— Я так и знал, — сказал Хаскеле, — он плачет, когда ему хочется плакать. Он еще будет смеяться, если ему станет смешно. Ну так что я могу сделать с таким мальчиком? А плакать, когда смешно? А смеяться, когда больно? Смеяться, когда дадут тебе щелчок по носу, бросают в тебя корки, плюют тебе в рот и показывают деткам, какой ты дурак, — не знаешь, когда плакать, когда смеяться. А ты еще громче смеешься, чтобы окончательно уверить, что ты действительно дурак, а они умные.

Хаскеле-факир пробовал протолкнуть мне нитку в нос и вытащить ее через рот, но я чихал и кусался. Я не мог даже глотать песок и ракушки. Я до смерти боялся мышей и жаб и не мог даже подражать петуху, как кричит он на заре. Ой, плохо, плохо!

— Он может икать! — вскричала в отчаянии тетка.

— Когда я хорошо поем, — сказал я.

— Господи! — причитывала тетка и закатывала глаза. — Прости меня, Господи, такую дуру! Многого я не хочу, ну хоть бы два пупка!

И так она жалобно всхлипывала, так искренне горевала. И я готов был пожалеть, что появился на свет с одним пупком.

— Идем в золотые магазины, — сказала тетка и снова потащила меня мимо страшной птицы, тень от которой легла уже на всю площадь.

Увидев нас, Бульба поднял усы.

— Разбойник! — сказала тетка. — Ты же с нас уже взял!

— Эге, — отвечал Бульба, — так то ж за то, что пошли туда, а теперь за то, что идете сюда.

Тетка сунула ему в руку пятак, и Бульба опустил усы, точно открывал нам дорогу.

Вокруг стояла такая тишина, что даже гусак, до того величественно шествовавший по площади, увидев, что не перед кем хвастаться, стоя задремал у забора, хвастливую свою голову сунув под крыло, как в карман.

В такие минуты Бульба запрокидывал голову и вместо свистка вставлял в рот бутылочку. Постепенно усы его поднимались все выше, усы выросли из-под фуражки, и люди за версту узнавали, чем сегодня Бульба дышит — малиновой, или анисовой, или же еврейской пасхальной, что свистит и кипит.

Проходя мимо него в это время, евреи неизменно спрашивали: „Бульба, чи не хочешь чарочку и за мое здоровье?“ — на что Бульба, закручивая свои красные усы, обычно отвечал хрюканьем.

Итак, всем был доволен Бульба. Только солнцем и ветром был очень недоволен. Они осушали Бульбино горло, и Бульбе так часто надо было вместо свистка вкладывать в зубы бутылочку, что к полудню он уже видел ее дно. Тогда во вторую половину дня Бульба де-

дал вот что: со всей силой выдыхал воздух и старался понюхать его, чтобы снова охмелеть, но только он вытянет нос — водочка уже на ветру улетела, даже облачко видно, если это зимой.

И удивительное дело: быстрее всех уносится еврейская пасхальная, будто она ни за что не хочет лезть в Бульбин нос. И Бульба грозит ей вслед кулаком, зная, чьи это проделки. „Назад в бутылки к Пейсе или Ципке?! И хитрые все эти жиды, Пейса и Ципка!“ — так, наверное, думает Бульба, нюхая табак и глядя на удаляющееся облачко. И на обратном пути он обязательно заходит к Пейсе или Ципке и снова заглядывает в бутылки. А люди тем временем, встречая по дороге облачко, по запаху узнают, чье это облачко, и, если торопятся по делам, обходят его.

Бульба любил предаваться научным исследованиям. Поймав в кулак муху, он понемногу раскрывал кулак, но как только показывалась головка мухи, тотчас снова закрывал его и долго дразнил муху, изредка прикладывая кулак к уху и прислушиваясь, как она жужжит, и удивляясь тому, что жужжит. Затем Бульба, изловчившись, брал муху в пальцы и разглядывал странное ее устройство: отчего это ей так хочется летать? Бульба обрывал крылышко и, положив на ладонь, смотрел — улетит ли, и если муха, ковыляя, ползла, Бульба хохотал и покачивал головой, как бы говоря: „Эх, ты!“, и брал однокрылую муху, осторожно клал на забор или другое высокое место, чтобы могла улететь.

Часто Бульба закрывал глаза и стоял не шевелясь, будто спал, со своими длинными ушами и красным носом, так что гусак — не гордый гусак, который любил пройтись по центру площади, а глупый, который всему удивлялся, подходил близко к Бульбе и удивлялся, отчего пахнет водкой, когда вокруг нет ни одного живого человека?

Целый день, вылупив глаза, со свистком и загадочной ухмылкой, поворачивался Бульба то в одну сторону: „А?!“, то в другую: „А?!“

И к вечеру раздувался как бочка, а нос его окрашивался в разные цвета, будто все, что он выпивал, влиялось в нос. Тогда за ним приходила старая Бульбиха и под руку уводила домой. Она несла в руках бутылочку, а Бульба кричал деревьям, собакам и воронам: „А?!“

Если Бульба встречал в это время двух беседующих евреев, то ни за что не проходил мимо, а говорил: „Гэр! Гэр!“ Если же видел, что сидели за вечерней трапезой, стучал в окошко или просовывал нос в открытую форточку и кричал: „Жидки-худки!“ Встретив еврейского мальчика, Бульба брал его за ворот и крестил, а мальчик и все, кто видел это, кричали так, будто он его убивал. Проходя мимо синагоги и видя в окнах большие белые лица евреев, шевеливших губами, Бульба поднимал полу шинели и показывал свиное ухо. Евреи закрывали глаза, продолжая шевелить губами. А старая Бульбиха шла за сыном, все указывая, все подговаривая и распаяя. Так они доходили до своего домика над речкой, домика с петушком, синенькими ставенками и цветочками на окнах. Здесь, сняв наконец с шеи свисток, Бульба садился возле пузатого красного самоварчика и обычно со словами: „А ну-ка, жидко Юдко!“ — ибо самоварчик он выгадал у стекольщика Юдки за то, что тот не явился вовремя на призыв, — наливал чаю и любил пить до тех пор, пока в самоварчике ничего не останется. За это время он выкушивал баночку варенья, вишнёвого или малинового, или из лепестков чайных роз, ибо от всякого варенья, которое варилось на улице, Бульбе полагалась баночка. Если Бульбиха замечала костер, тут же приходила с баночкой и требовала для себя пенку. Бульба, кушая варенье, обычно спрашивал, чье это варенье, и если было закислено, говорил: „Хитрый жид!“, но если и сладкое было, все равно говорил: „Хитрый жид!“ — и ухмылялся.

Выкушав чай с вареньем, Бульба, если был не очень пьян, раскладывал стульчик, на каких обычно сидят сапожники (и который Бульба и отобрал у сапожника Ерахмиеля за то, что тот не заплатил пошрины), усажи-

вался на этот стульчик и тогда обычно вязал шерстяной чулок, ибо говорил, что и городовому нужны шерстяные чулки.

„Диамант и братья“

Магазины сверкали, как могут только сверкать богатые магазины. У дверей стояли румяные евреи, выставив пуза и заложив ручки за спину, всем своим видом как бы говоря: „Имея такие магазины, можно постоять и заложив ручки за спину“. Освободившиеся от работы приказчики, похожие на цыплят, выглядывали из-за спин хозяев, и, когда хозяева смеялись, они тоже улыбались.

Тетка подходила к каждой двери и — с поклонами — показывала меня.

Узнав, в чем дело, хозяева косились, а приказчики, увидев, что хозяева косятся, тоже косились. Все говорили, что я им нужен, как кашель, как скарлатина, как колики в боку.

— Как, по-вашему, мне нужны колики в боку, — попытывался торговец кастрюлями, — или они мне не нужны?

На одной из вывесок золотыми бубликами было выложено „Диамант и братья“, и под этим висели золотые крендели, показывая, что это за братья.

Завертелась зеркальная дверь. Три приказчика в острых белых колпаках с розовыми бантиками умильно выглянули из-за стоек, и мне почему-то показалось, что это и есть „братья Диамант“. На самом же деле „Диамант и братья“ в клетчатом жилете стоял среди всяких окороков, сам похожий на окорок, и будто предлагал: „А ну-ка, разгадайте — где окорок, и где я?“

В магазине — удивительная тишина. Все здесь говорило: это вам не бакалейная лавочка — не деготь и не колесная мазь, а китайский чай, какао и желатин! Только пощелкивала счетами сидящая в клетке старая дева с очками на длинном красном носу, да тихонько сопел

Диамантов дядя, убогий еврей в дырявом цилиндре, торжественно бродивший среди бочек. Остановившись у какой-либо бочки, он вопросительно глядел на нее и, накручивая бороду на палец, казалось, рассуждал: „Мед в этой бочке действительно мед или только выдает себя за мед, а на самом деле медом не является?“ И, запустив палец в бочку, осторожно облизывал его и с покорным видом, — мол, мед так мед, — направлялся к другой бочке. И так, полный сомнений, он переходил от меда к варенью, от варенья к повидлу и если слишком сомневался и пробовал несколько раз кряду из одной и той же бочки, старая дева в клетке, которая, несмотря на то что шелкала на счетах, все время поверх очков следила за ним, до того расстраивалась, что, стукнув счетами, начинала счет сначала. И тогда дядя отходил к следующей бочке с жалкой улыбкой: „Понимаете! Не могу определить!..“

Когда тетка сказала, зачем мы пришли, с лиц приказчиков будто тряпкой стерли умильную улыбку, и они стояли серьезные в своих белых колпаках. Только один дядя, в это время вертевший перед своим носом палец, обмазанный патокой, доброжелательно улыбнулся, да и то неизвестно чему: патоке или мне.

— А если в магазине что-нибудь пропадет? — спросил „Диамант и братья“ и важно надулся.

— Да, если что-нибудь пропадет, — вдруг с жаром крикнула из своей клетки старая дева.

И три приказчика, бледнея, прошептали:

— А если что-нибудь пропадет?

Больше всего они боялись за халву.

— Халву ему показывать нельзя, ни в коем случае!

— Особенно шоколадную, особенно миндальную...

— А орехи? Ой, орехи, — вдруг вспомнил „Диамант и братья“.

— Изюм! — крикнула из своей клетки старая дева.

— Ты любишь изюм? — спросил дядя, как раз в это время незаметно кинувший в рот несколько изюминок. — Он уж не так изюмист, как о нем говорят...

Три приказчика в острых колпаках, один за другим, тоже высказали свои предположения, причем каждый назвал свое любимое кушанье и оглянулся: цело ли еще это кушанье. И у одного был нос в меду, у другого язык в сметане, у третьего на зубах халва.

— А серебряные колбасы вы забыли? — все не успокаивалась старая дева. — Он их утащит из-за одних серебряных бумажек. А свечки? — И она высунулась из окошка.

— Ну, свечек не сожрет, — сказал дядя, — он не такой бандит.

— А варенье? — ехидно спрашивала старая дева. — Что вы на это скажете?

— Дайте ему только понюхать! — сказал Диамант.

— Не давайте нюхать! — закричали приказчики.

— Зато синьки он уже не тронет, — обрадованно сказал Диамант. — Как вы думаете?

Соль, цикорий — все это отметалось. Даже старая дева не допускала, чтобы я съел цикорий.

Тут она из своей клетки заметила, что я улыбнулся, и сразу закричала, что я сейчас что-то съел: иначе зачем я бы стал улыбаться? И она говорила, что ее вот сейчас в сердце уколело, — ее всегда так колет, когда в магазине что-нибудь съедят.

— Не может быть, чтобы он ничего не съел, — настаивала она, — язык у него красный, видно, что сладко ему было.

— У ребенка всегда такой язык, — уверяла тетка. — У папы его такой язык, у дедушки был такой язык, даже у меня — далекой родственницы — тоже такой язык, у нас у всех такой язык.

Но они не хотели верить и говорили, что не может быть, чтобы язык был такой красный, и что тут что-то такое есть, и они искали, что тут такое есть.

— Где шоколадная бомба?! — вскрикнул вдруг „Диамант и братья“, оглянувшись. — Я только что ее видел, разбойник!

— Ой-ой-ой! — завертелась в клетке старая дева. — Он съел бомбу.

— Ой, в ней шоколад, она в серебряной бумаге, — кричали приказчики.

— В ней розовый крем, — сообщил дядя, жующий бомбу: он схватил ее за спиной у всех, пока они рассуждали, какие сорта маринованной селедки я предпочитаю. — Какой бандит! В одну секунду он скушал такую бомбу!

— Ой, скорее, — кричала дева, — вложите ему два пальца в рот, а то он ее проглотит и будет поздно!

— Покажи язык. Больше! — требовал Диамант.

— Поставьте его к окну, — советовал дядя.

— Скажи громко: „А“, пусть все увидят, что у тебя во рту, — говорили приказчики.

Они осмотрели мой язык, потом разжали мой кулачок и осмотрели каждый пальчик в отдельности: не липкие ли пальчики, не побывала ли в них шоколадная бомба?

Им уже казалось, что карманы мои полны чернослива и желтослива, и они стояли вокруг меня, чтобы я не мог украсть.

Они смотрели на меня и боялись, как бы я лавровый лист не сожрал, уксус не выпил.

— У нас все в каменных и железных сундуках, под большими замками, за тридцатью тремя запорами, ты не думай! — пугал Диамант.

Гремели орехи в ларях, сверкали на полках рафинадные головы, сладким огнем горела посуда с вареньем. Я дрожал и облизывался.

А они стонали: какой я вор!

— Он хочет работать? — спрашивали нас по дороге и посылали к табачнику, посуднику, конфетчику, собачнику — самым богатым евреям.

И вели меня к табачнику, посуднику, конфетчику, собачнику и показывали меня, как показывают на ярмарке обезьяну, хорька, белую мышь.

Господин посудник, не успели мы войти, тотчас же закричал, что я перебую у него всю посуду, и замахал руками — зазвенели блюда во всем магазине.

Конфетный фабрикант закрыл глаза и сказал, что он и смотреть на меня не хочет, и все спрашивал конторщика: ушли мы или еще стоим?

Табачник прогундосил, что он заранее знает: я стану харкать кровью и буду говорить, что он виноват, а он не хочет быть виноватым. И пока он говорил, приказчики засунули мне в нос махорку и смотрели, что будет? Я глотнул махорку через нос и чуть не задохся, тетка меня еле отходила. А они, смеясь, смотрели в окно.

Мясники в кожаных передниках, точившие ножи, смазали мне лицо свиной кровью, и я плакал, а они удивлялись, отчего мое еврейское лицо не стало свиным.

Хозяин писчебумажного магазина встретил нас ласковой улыбкой и сказал, что он все понимает (недаром он продаст книги и чернила!). Он и рад был бы, и даже видит, что у мальчика выражение умное, еврейское выражение, но ничего не может сделать: у него паны покупают, а они не любят еврейского выражения.

— Они войдут в шляпках, в фижмах, с всерами, что они скажут? — спрашивал он. — Еврейский мальчик — от него и редькой запахнет, и чесноком. Не возражайте! Я — сам еврей и знаю, чем кормятся еврейские мальчики. Вы себе представляете, что будет? Вы не представляете!

— Он может сойти за панича, — уверяла тетка, которой нравилось в этом магазине. — Он сделает польское лицо, мы польку ему залустим, мы научим его ручкой манеры делать.

— Уходите, уходите, чтоб я вас не видел! — говорил хозяин. — Они сейчас придут, в шляпках, в фижмах, с всерами.

Господин молочник, самый жирный, самый белый на ярмарке, указывая на бидоны, сказал, что от одного моего вида молоко скиснет, — и смеялся до слез.

Керосинщик предсказал, что я обязательно сделаю пожар: он уже чувствует дым. Главный золотарь вообразил, что у меня дух тяжелый. Собачник прокричал,

что мне самому надо петлю на шею, а мыловар — что он накормит меня мылом, если я еще раз приду.

Тетка обезумела от горя.

И вдруг она захотела, чтобы я стал зубным врачом. Чтобы я им всем зубы рвал!

— Всем! Всем! Всем! Особенно коренные, самые коренные!

— Ой-ой-ой!

— Пейте! Кушайте! Целуйтесь!

Из окон манили сладкоречивые сводни в белых чепцах, хихикали девицы в лентах, скопец пискливым голосом расхваливал любовную настойку.

Люди с лицами библейских пророков тасовали крапленые карты и бросали меченые кости.

Каббалисты читали сумасшедшие книги, предсказывая будущее.

Юродивые, беснуясь, предрекали бедствия.

— Судьба! — ревел попугай, вытаскивая в конвертах судьбу и счастье.

Воры, конокрады и коты узнавали будущее свое.

— Слаще меда! — кричал человечек, завитой, как ангел, и за копейку показывал в увеличительную трубку картинку с голыми красавицами. Мальчики прибежали с копеечкой, хихикая, смотрели и, отсмотрев свою копейку, стояли и смотрели, как смотрят другие, и хихикали вместе с ними.

Маклеры, советчики, зазывалы вились, как песьи мухи. Обеими руками они хватали мужика за ворот и предлагали ему на выбор: Евангелие или присыпку для младенцев. Ему нужны были гвозди, они уговаривали его купить граммофонную трубу. Он покупал кожу, они умоляли прибавить клистир. Он хотел дегтя, материи и ниток, ему навязывали куклы, склянки, соски и ночные горшки. Они обливались потом и стонали, а мужик совсем не торопился и только ощупывал карманы — при нем ли еще деньги? Он уходил и снова приходил, с дро-

жью выбирая погремушки, и вгонял всех в десятый пот, пока развязывал наконец узелок с медными деньгами.

Полный сомнения, досады и обид, он брел по улицам и площадям.

Его вызывали на посидинок борцы, осаждали бродяги, манили шулера. С ним бились об заклад обдиралы; конокрады продавали ему своих лошадей; ему рассказывали сказки, читали проповеди, его вертели на карусели, поили сладкой водкой.

Настежь были открыты кабаки, притоны, балаганы и церкви. Его встречали притоны, сводни и дьяконы. Его провожали звонари, пономари, вышибалы и служки, и каждый рвал себе, себе. Вслед неслись угрозы, наставления и советы.

А тень птицы, которую охранял Бульба, все увеличивалась и к вечеру, казалось, легла на все местечко.

Господин Дыхес и другие

Свист и крики над местечком.

Запах пареного, запах жареного, запах вареного.

Господин Дыхес продал все гнилое мыло на войну.

Музыканты, идите играть, дудочники, идите плясать! Мясники, рубите мясо, пекари, несите халы, стряпухи, горите в огне — пеките и жарьте! У господина Дыхеса весело на душе.

Дыхеса дом над рекой — самый высокий и красивый в местечке, с белой цинковой крышей, — она на солнце сверкает, как серебро. Дом — с большим золоченым балконом, круглыми окнами и широким парадным, как в синагоге, входом с изображением лежащего льва над ним, который будто стережет золото Дыхеса.

Когда господин Дыхес в боярской шапке утром выходил на золоченый балкон, он на все местечко смотрел как на свою собственность. И было отчего. Взглядит прямо: мельница в пять этажей, арендуемая у графини Браницкой, известная на всю Киевщину. Увидя

хлеб, белый как снег, все говорили: мука Дыхеса! Взглянет налево — черный дым над Иерусалимкой — то курят Дыхеса смолу и варят Дыхеса мыло. Взглянет направо — в небе красная труба сахарного завода. Плещутся ли старики в синагогу — поклон Дыхесу: Дыхес построил золотую синагогу. Везут ли мертвеца, и тут ему поклон: Дыхес — почетный глава погребального братства.

Но сегодня ярмарка — всем ярмаркам ярмарка. Никогда еще господин Дыхес не продавал столько мыла, и какого мыла! Никогда у него не покупали столько муки, столько сахара и смолы! Ручьями текло золото.

Во дворе господина Дыхеса ароматное пекло. Бараньи туши висели на крюках. Пар вился над горами горячей лапши. Гигантские пироги, начиненные тертыми яблоками, пеклись в печах, и хромой пекарь следил за ними. Кондитер в розовом колпаке белыми руками закручивал крендели, посыпал их маком и толчеными орехами. Старая женщина, вся в пуху и в куриной крови, начиняла брюхо огромного гуся орехами, яблоками и всякой всячиной, приговаривая: „Вот так любит Дыхес!“ Несколько уток, вытянув головы, смотрели с интересом на это: наверное, им казалось, что гуся усыпили и делают операцию, и они гоготали, спрашивая, когда им тоже сделают операцию. Старые стряпухи стояли у печей, подбоченившись, дерзко смотрели на огонь, будто вызывая горшки на кулачный бой, и рассуждали, сколько перца и сколько уксуса любит господин Дыхес; а молодые стряпухи больше всего боялись пересолить или недосолить и рассказывали друг другу всякие случаи недосола и пересола. На кострах кипели медные тазы с вареньем, сладкий дым поднимался к небу, и птицы, пролетая над этим двором, замедляли свой полет.

И уже ходил по двору веселый еврей Кукла в соломенной панамке — свадебный шут. Где только кушать садились, уже Кукла сидел; где пить хотели — Кукла уже стоял со стаканом; где музыка заиграла — уже Кукла бежал в своей панамке. И свадьба без Куклы —

не свадьба: кто там пьет и кричит? И обрезание без Куклы — не обрезание: кто же обращается с речью к младенцу, кто вливает в рот ему первую каплю вина? И курица, которую съели без Куклы, — не курица. Какая же это курица, если Кукла не съел пупка? Если кто-нибудь ему говорил: „Кукла, нельзя же быть всегда веселым“, Кукла отвечал: „Вас колет от гордости, меня корчит от смеха, и вы пьете слезы, а я водку. Что я вижу на дне бутылки, трезвый никогда не увидит, что я съел на похоронах, вам на свадьбе не съесть“.

Кукла клялся, что закупили всю ярмарку, закололи вола и кишки его начинили кашей, зарезали сто самых жирных гусей и сто самых злых индюков. Кукла говорил: „Будем кушать, будем пить!“

Тетка умолила стряпух дать мне пропитаться дымом: „Что нужно еврейскому мальчику? Запах“.

Вошли музыканты: впереди мордастые трубачи, за ними — длинный флейтист и маленький барабанщик с барабаном на животе, похожем на барабан. Они вошли и встали в ряд, и барабанщик ударил два раза колотушкой по барабану: „Обратите внимание, какие у нас щеки!“ Стряпухи засмеялись и дали ему баранью ногу, а мордастым трубачам по куриному пупку, и трубачи, сказав: „Дай вам Бог здоровья“, проглотили пупки и заиграли парадный туш.

Съезжались гости.

— Эй, — закричал кучер, — берегись!

На лаковом фаэтоне — господин Прозументик, госпожа Прозументиха, три крикливых Прозументика в желтых атласных штанишках стоя показывали всем язык.

Никого не видя и ничего не слыша, с пальцем у виска, прошел член правления банка с расчетами в голове.

Размахивая руками, бежали Колокольчик и Кухарик — два богатых еврея с румяными щеками, по дороге что-то доказывая друг другу. Когда добежали до крыльца, Колокольчик плюнул в сторону Кухарика: „Разговор окончен!“

Показался никому не известный господин с большим пузом и усами. Он нес свое пузо, как драгоценный сосуд. И хотя ни копейки у него не было, но, глядя на пузо и усы, все говорили, что у него много денег; и хотя никто его не приглашал, но, увидев пузо, широко открывали двери; и хотя никто его не знал, все сделали вид, что знают его уже давно, и даже спрашивали: „Как чувствуете себя после вчерашнего?“ Все ходили вокруг него и смотрели на него, но, если глядели только на пузо, он хмыкал, показывая, что и усы у него есть, расправлял усы и раздувал их. Калеки, нищие и плакальщицы, теснившиеся у высоких парадных дверей, спорили, сколько сейчас денег в его карманах: в боковом и заднем, где красный платок. „А жилетный вы забыли?“ — говорил карлик. И кто считал на рубли, а кто на копейки, прибавляя и гроши.

Прошел господин Глюк в цилиндре, а за ним вприпрыжку Цалюк в котелке; Глюк имел важное дело с золотыми вывесками, а Цалюк заглядывал ему пониже спины.

Госпожа Рацеле в газовом платье, содержащая дом, где пьют чай с вареньем, влетела на цыпочках, всем кланяясь и всем улыбаясь, зазывая пить чай с вареньем.

И все шли и шли: и богатый Гоникштейн, и Зюсман, и Эфраим — все самые хорошие фамилии, и Пискун, который тоже считал себя хорошей фамилией; и мадам Пури — дама с костлявой шеей и подбородком, как лопата, и мадам Тури — с жирной шеей и тройным подбородком, — и одна желала смерти другой; и мадам в тюрбане и мадам в бурнусе — и одна готова разорвать другую; появился еврей, разодетый, как падишах; за ним бежал мальчик с разинутым ртом и завернутыми ушами. И вдруг объявили: Василий Сидорович Юкилзон и Павел Ермилович Юкинтон!

Все были здесь: мазурики в бобровых шапках, и девицы в пунцовых шляпах, и модники в крахмале.

Последней прибыла мадам Канарейка, чтобы все видели, как она прибыла, и улыбнулась только портрету, где Дыхес изображен в боярской шапке, с золотой цепью на животе; улыбнулась так, будто никого, кроме портрета, в зале не было, будто все, кто стоял у стен, — это шкапы или подсвечники. Все лопались от зависти: почему они не прибыли последними, тогда бы все смотрели сейчас не на мадам Канарейку, а на них, и они бы тоже прошли медленно и мадам Канарейку приняли за подсвечник или шкаф. За мадам Канарейкой семенил на тоненьких ножках мосье Франсуа, словно неся шлейф мадам Канарейки, хотя никакого шлейфа не было. И все шептали: „Мосье Франсуа!“, „Кому это мосье Франсуа улыбнулся?“ И Козляк, дантист в оранжевых крагах, смотревший на всех так, словно хотел вырвать всем зубы, умирал от зависти и тоже желал, чтобы все шептали: „Козляк улыбнулся!“, „Козляк приподнял шляпу!“, „Вы обратили внимание, как Козляк приподнял шляпу?“

Каждый стремился пройти мимо зеркала, заговорить с теми, кто стоит у зеркала, а увидев себя в зеркале, улыбнуться, будто не себя увидел, а знакомого, которого давно не видел.

И так ходили взад и вперед, туда и сюда, и показывали: кто — зуб золотой, кто — бюст накладной, кто — зад подкладной, кто — парик удивительный, кто — живот с золотой цепью. А один ходил с висящими усами, больше ничего у него не было показать, и смотрели на него только те, у кого еще не было усов.

Чьи-то четыре сухие дочери прилепились у стен, с лентами в волосах, и лица их говорили: „Ни за что не выйдем замуж!“ И они злились на всех, говоря, что все только и думают выйти замуж. Но когда мимо прошел фармацевт, похожий на ягненка, и взглянул на них, они улыбнулись — сначала первая, потом вторая, потом все вместе: „Неужели вы не понимаете, почему у нас ленты в волосах?“ Но он был ягненок и больше всего боялся кого-нибудь обидеть.

Господин с брюхом и усами все басил, никого близко к себе не подпуская, а вокруг него вертелся хлюст в бархатных штанах с сумасшедшей жаждой поговорить. Он ему показывал и серебряный брелок на животе, и цепочку от часов, и коронку на зубах, и полусеребряный мундштук, и полулаковые ботинки, но ничего не помогало, и, когда господин раздувал усы, хлюст отскакивал к стене.

В одном конце залы мадам Канарейка, говоря в нос, о чем-то рассказывала дамам, и дамы слушали не то, о чем рассказывала, а как она рассказывала в нос, и некоторые даже засматривали ей в рот, желая узнать, как она это делает, куда она прячет язык.

В другом конце залы властвовала дама с голубым пером: она поворачивалась, и перо поворачивалось; оно было видно отовсюду и поворачивалось; оно было видно отовсюду и плыло над всеми дамами, и некоторые забежали вперед, чтобы посмотреть.

И сводня выдавала себя за пекаршу, а пекарша за кондитершу, а кондитерша за музыкантшу, а музыкантша и сама не знала, за кого себя выдать. И бандерша разговаривала только о калачах, а пекарша уверяла, что она в глаза калачей не видела, только крендели, а от кондитерши только и слышно было: „до-ре-ми-фа-соль!“, а музыкантша молчала, показывая, что она такое знает, о чем и говорить тут нельзя.

В центре стоял цирюльник, но с такими усами и такими бровями, и так рассуждал и так указательным пальцем подтверждал то, о чем рассуждает: доктор, непременно доктор! Вот сейчас вынет перо и напишет рецепт! И когда с ним разговаривали, то будто принимали за доктора, и у всех на лицах было написано: „Пожалуйста, пропишите нам лекарство“. Но только он отворачивался, они и цирюльника не хотели в нем признать, а говорили, что он собачник, и даже дрыгали ножкой, показывая, как ловят собак.

Все были злы, багровы, надуты и, казалось, только и ждали, чтобы кто-нибудь их зацепил. И только один

фармацевт, похожий на ягненка, в котелочке, с тросточкой и в бальных туфельках, вежливо бродил среди них, осведомляясь: не наступил ли он кому-нибудь на мозоль, не побеспокоил ли запахом лекарств? И худые на него шикали, толстые — пыхтели, а худые, которые хотели казаться толстыми, надували щеки и тоже пыхтели, пока не загнали его в угол, сказав ему еще вдогонку: „Мэ-э-э“.

Сюда же втерлись: крикливый служка в засаленном халате, который больше всего боялся, что не всем все понятно, и поэтому он все разъяснял; меламед Алеф-Бейз с рыжими пейсами, перед каждым словом говоривший: „Э!“; повивальная бабка с бантом на груди, сообщавшим, чтобы сегодня с ней не говорили о делах повивальных; Менька — вздорный еврей, который мог всюду сбегать, все достать, все сообщить и всем угодить; и у него всегда было такое выражение, будто он прибежал с новостью; и какая-то ехидная женщина Шпринца, и какой-то Цацель, все ходивший на цыпочках, словно боясь, как бы не сказали, что он шумит. А среди них три Диамантовых приказчика все время поглядывали на своего рассуждавшего хозяина и значительно улыбались, показывая, что им известно, о чем говорит их хозяин, и это очень важно — о чем он говорит. Старший из них каждую минуту вытаскивал часы на цепочке, с важным видом прикладывал к уху и затем смотрел, который час, а у двух младших были только цепочки, и они их не вытаскивали, но все-таки делали важные лица, когда старший смотрел на часы.

— Ах, — мечтательно вдруг сказала повивальная бабка, — я бы сейчас съела хорошую заднюю ножку.

И все точно зажглись от одного упоминания.

— Вы знаете, что бы я хотел сейчас? — таинственно сказал господин Прозументик, даже не глядя на повивальную бабку, а обращаясь к Колокольчику и Кухарик. — Вы знаете, что сейчас интересно скушать?

И все, затаив дыхание, прислушивались, что сейчас интересно скушать господину Прозументику.

— Я бы сейчас взял гуся и оттуда вынул бы фарш... фарш...

Повивальная бабка смотрела на него, выпучив глаза, Диамантовы приказчики застыли со сладостью на лице. Менька стоял так, как будто прибежал с новостью, но не смеет ее рассказать.

— Ах, гусь с орехами, это-таки хорошо! — подтвердила повивальная бабка, и даже бант ее раздулся от удовольствия. — А вы думаете, гусь с яблоками — плохо?

— Ах, фасоль, — слышалось кругом.

— Ах, редька с салом! — крикнул служка в засаленном халате и стал всем объяснять, что такое редька с салом.

— Фаршированная рыба, — говорили другие.

— И с хреном.

— И с соусом, чтобы перчик был.

Каждый называл свое любимое кушанье и вздыхал по своему любимому кушанью, и все неслись пожелания. И только Цацель ходил на цыпочках и боялся сказать, что он любит.

— Нет ничего лучше, чем кишка с кашей, — сказал вдруг господин с брюхом и усами, и так сказал, что никто и подумать не посмел, что есть что-нибудь лучшее, чем кишка с кашей, которую любит господин с таким брюхом.

— Я бы открыл кишку, — сказал он и показал двумя пальцами, как бы он открыл, — и осторожно бы съел жареную корочку, а потом кашу, только потом кашу...

И все были вполне согласны, что лишь потом кашу, только потом.

— Вы разве знаете, как кушать? — продолжал он, и все вытянули лица, признаваясь, что они действительно не знают, как кушать.

— Надо сначала попробовать на один зуб, и только когда все зубы заноят, так и на те зубы.

— Э! — решился вдруг произнести меламед Алеф-

Бейз и сам испугался своего „э“, но все уже хотели слушать: еврей зря не скажет „э“.

— Э, — повторил тогда Алеф-Бейз, — если взять и растереть, и в печь, и дать еще чуточку подгореть, а-а.

— А! — вдруг сказал даже Цацель.

— И тогда туда добавить корицы, — все больше увлекался Алеф-Бейз, — но надо знать, как добавлять корицу!

— Да, да, корицу, — поддакнула повивальная бабка, не слыша даже, что нужно взять и растереть, и в печь, и дать еще чуточку подгореть, чтобы было а-а-а.

— А я люблю пастернак! — сказал вдруг вдорный еврей Менька, но никто не слушал, что он любит, никому не интересно, что любит такой еврей.

Среди бального шума тетя вдруг громко чихнула, чтобы все увидели, что и мы здесь. Но они нас не видели и видеть не хотели. Только дама с пером еще чаще приседала, кондитерша еще громче говорила: „до-ре-ми-фа-соль“. Меламед еще протяжнее говорил: „Э“, общая, что он сейчас что-нибудь скажет.

Но вот вышел господин Дыхес, похожий на поросенка. Несмотря на такую морду, о которой он не мог не знать, он будто нарочно выпятил нос и губы, что сделало его еще больше похожим на свинью. Лицо его ясно говорило: „Мне и не надо казаться человеком, я и свиньей понравлюсь вам“.

Никто, казалось, и не заметил, что он похож на свинью, не улыбнулся, не крикнул: „Пшла вон!“ Наоборот, у всех были такие лица, будто им сейчас крикнут: „Ппли вон!“ А господин Дыхес, оглядев всех, вдруг икнул, словно сказал: „Здравствуйте“. И все именно поняли это как „здравствуйте“ и закричали вокруг:

— Доброго здоровья, господин Дыхес, как вам спалось?

Но господин Дыхес не хотел сказать, как ему спалось, и, оглядев всех, еще раз икнул.

Господин Дыхес всегда икал. Даже в Судный день, когда господин Дыхес, накануне вечером съев петуха,

постился до первой звезды, — даже в этот день он вдруг икнет в синагоге, и все отвлекутся от Бога и подумают: „Икнул Дыхес, что-то он сегодня поел?“ И даже Дыхес краснеет, будто он и в самом деле ел.

Как все изменилось! Глюк, который только что, как цапля, шагал по паркету, согнулся в крендель, а усач убрал свое пузо, чтобы шире был проход; а господин Прозументик выставил вперед маленьких Прозументиков, уговаривая их улыбаться, даже Диамантовы приказчики перестали смотреть на хозяина, а смотрели на Дыхеса.

И именно то, что он похож на свинью, казалось, им и нравится, их и умиляет. И кое-кто даже шептал, что шишка под носом господина Дыхеса — не простая шишка, а шишка мудрости, и что если бы эту шишку да поближе к затылку, а еще лучше на макушку, — так это совсем уже был бы министр.

Когда Дыхес, посмотрев на потолок, сказал: „М-да“, они все собрались в кружок и обсуждали, что должно обозначать это „М-да“, что он хотел этим сказать и как надо это понять. Каждый находил десять решений, с комментариями, и даже появлялись комментарии на комментарии, и это „да“ уже расшифровали в целую речь.

— Ты тоже будешь кушать с серебряных блюд, — шептала мне тетка.

Она все ближе и ближе придвигала меня к господину Дыхесу. У господина Дыхеса было столько денег, что обычно все уважающие себя мамы и папы приводили к нему своих деток в черкесских костюмчиках или матросках с золотыми якорями, или в кружевных панталончиках; и они, выставив ножку и подняв ручку, декламировали или пели, или пикикали на скрипке, или решали задачки, которые задавал господин Дыхес. А господин Дыхес уже точно определял, что это: кантор или разбойник, первая скрипка или водовоз. И если господин Дыхес сказал: „Водовоз!“ — так это водовоз — и скорее отпускаяте ему бороду, ибо какой же это водовоз без бороды!

Вот и сейчас перед Дыхесом стоял мальчик со скрипкой. Вокруг него вертелись папа и мама, и бабушка, и дедушка! Мама советовала, как выставить ножку, папа показывал, как держать головку, бабушка натирала смычок канифолью, а дедушка учил, как водить смычком. Но вот мальчик взял в руки скрипку, тронул ее смычком, будто спросил ее о чем-то, и вдруг заплакал, и скрипка тоже заплакала. А мальчик водил по ней смычком: „Плачь, плачь!“ И уже никто не знал, кто это плачет: мальчик или скрипка. И мама, и папа, и бабушка, и дедушка тоже плакали, и теперь было ясно видно, что совсем не знают они, как надо выставить ножку, как держать голову, как водить смычком, — зря они советовали, и если бы их сейчас спросить, они бы сами сказали, что зря. Все плакали, один Дыхес не моргнул даже глазом. Он долго смотрел на мальчика и вдруг сказал: „Зуб у него как-то не так!“ — и отвернулся.

Тут тетка придвинула меня вплотную к господину Дыхесу и сказала:

— Вот золотой мальчик!

Господин Дыхес взглянул на меня и пощупал голову с таким видом, будто хотел осведомиться, что в ней: мозги или солома. И все хотели, чтобы Дыхес сказал: „Солома!“ Но он сказал: „Мозги! — хоть с гримасой и с поправкой. — Мозги, которые еще надо вправлять и вкручивать, чтобы они сидели на месте“.

Господин Прозументик выставил старшего Прозументика, чтобы Дыхес пощупал и его голову и задал обязательно такой вопрос, на который он может умно ответить, и даже советовал Дыхесу: „Спросите, как зовут его папу...“

Господин Дыхес взял толстую русскую книгу в бархатном переплете, с серебряными застежками и, раскрыв ее, стал перелистывать и все хмыкал: „Какая, мол, умная книга“.

Остановившись на какой-то странице, он положил книгу передо мной; она лежала так, как держал ее господин Дыхес — ногами вверх. Но когда я посмотрел в

лицо ему и хотел перевернуть книгу, тетка так меня ушибнула, что я понял: правильно лежит книга, всегда так лежала, с тех пор как люди стали читать.

И так, вглядываясь в опрокинутые буквы, я стал читать, а он, улыбаясь, водил пальцем по строчкам, нараспев повторяя то, что я читал, и лицо его было такое довольное, точно это он написал книгу. Буквы, как муравьи, разбегались в разные стороны, а потом сбегались и танцевали в воздухе: вдруг какая-нибудь буква кувыркнется и улетит, а вслед за ней и другие буквы. И я бросил вглядываться в них и стал выдумывать свое и про свое, а господин Дыхес водил пальцем по строчкам и нараспев повторял все, что я выдумывал. При этом он оглядывал всех с улыбкой: „Какая умная книга!“ А господин Прозументик говорил, что такому мальчику нельзя давать такую умную книгу; надо ее отдать Прозументикам, и тогда — сколько в книге ума, они прибавят еще свой ум, и выйдет так умно, что никто и понять не сумеет.

— Скажи а-а-а! — сказал вдруг господин Дыхес и поднял палец.

— А-а-а!

— А ну, а ну повтори! — воскликнул он, держа палец наподобие камертона и прислушиваясь.

— А-а-а!

— Нет, певец из него не выйдет, — объявил господин Дыхес. — Это же смешно — представить его в опере! Правда смешно?

И папы в котелках, и мамы в кружевах, и интеллигентные бабушки, и розовые дедушки сказали:

— Конечно смешно!

— Он лентяй! — сказала неизвестно откуда взявшаяся госпожа Гулька и наставила на меня клюку.

— Заразный! — воскликнула мадам Канарейка.

— Вор! — сказал „Диамант и братья“.

— Чем же он может быть? — стали думать они.

— Пусть он тряпки собирает, — предложил маленький мальчик в матроске, и все тотчас же закричали, какой он умный мальчик, и спрашивали, кто его папа.

Предлагали отдать меня собачнику, в баню веники делать, ведра выносить, мух отгонять, хрен натирать.

А тетка моя все толковала, что я — певец и такого певца еще не было и не будет.

— Когда он пел на свадьбе, ангелы на седьмом небе радовались, — говорила она. — Вы хотите быть на седьмом небе?

Господин Дыхес хотел быть на седьмом небе.

Он сел в мягкое кресло, заложив ножку на ножку, взял с вазы конфетку, икнул и стал сосать конфетку и слушать, то ковыряя в зубах, то дрыгая ножкой, особенно на переливах. И все ахали: как чувствует пение, какой знаток!

Я заливаюсь, а господин Дыхес сосет конфетку и то чавкает, то языком прищелкивает. Но вдруг он, пригнув голову, затих и даже конфетку перестал сосать, не шелохнется, не икнет и даже выпучил глаза. Тетка, сложив ручки в умилении, стояла и слушала и все оглядывалась: все ли сложили ручки в умилении?

Вдруг господин Дыхес закричал:

— Ай-яй-яй!

Тотчас все забеспокоились. „Слишком громкая нота!“ — сказали одни. „Наоборот, слишком слабая“, — сказали другие.

— Ай-яй-яй! — повторил господин Дыхес и, показывая на пятку, засмеялся.

Выяснилось, что у господина Дыхеса щекотнуло в пятке.

— Я все прислушивался, защекочет или не защекочет, — рассказывал Дыхес, необычайно возбужденный.

А они уже обсуждали, какое это предзнаменование, и рассказывали друг другу разные исторические случаи щекотания в пятках.

Заиграла музыка, заорали граммофоны, раскрылись двери, и торжествующаястряпуха внесла фаршированную шуку, которая была приветствуема одобрительным шепотом гостей.

— Гости! — грубым голосом сказал Дыхес. — Я уже вижу, вам хочется до щуки?

— Щука их уже волнует, — сказала мадам Канарейка и посмотрела сквозь стеклышко, желая разглядеть волнение.

Гости застенчиво улыгнулись, как бы хотели сказать, что это, может, и неприлично, и слабость характера, но щука их действительно волнует.

Дыхес выставил ножку, подхватил мадам Канарейку, которая уже стояла возле него, зная, что он сейчас кого-нибудь подхватит, и двинулся к щуке. А за ним и мосье Франсуа, как бы неся шлейф мадам Канарейки, Глюк и Цалюк, мадам Пури и мадам Тури, дама в тюрбане и дама в бурнусе, и член правления банка, все держа палец у виска.

С шумом рассаживались гости, улыбаясь щуке.

— Когда я сажусь за стол, — сказал господин Дыхес, завязывая белую салфетку, — я люблю, чтобы все, что стоит на столе, было красно, как оскобленная собака, и жирно, как свинья. — И концы салфетки зашевелились по бокам его розового лица, как два свиных уха.

Господин Дыхес выпил перцовой водки и, покрутив головой, посмотрел на гостей: „У-у-у, горько!“ — и закусил медвяным тортом; потом налил лимонной водки и, выпив, тоже покрутил головой и опять взглянул на гостей: „Кисло“ — и закусил уже миндалем; тут он придвинул графинчик с малиновой и, поглядев на гостей, грубо спросил:

— А что, гости, я думаю, вам тоже хочется?

Гости задрожали.

— К счастью! — крикнул господин Дыхес, выпивая рюмку малиновой и закусив потрохами, приговаривая: — Люблю потроха!

— К счастью! — закричали гости, выпивая, кто — перцовую, кто — лимонную, а кто — малиновую, закусывая медвяным тортом или миндалем, или потрохами, приговаривая: — Хороши у Дыхеса потроха!

— Слава тому, кто дал нам счастье дожить до этого

дня! — воскликнул со слезами на глазах господин с брюхом и усами, намекая на Бога, но глядя на Дыхеса, и пока остальные выпили по рюмке перцовой, лимонной или малиновой, он выпил три раза — и перцовой, и лимонной, и малиновой.

Стали делить рыбу.

Тут вскочил Кукла в своей соломенной панамке и закричал торжественно:

— Господину Дыхесу голову, потому что он — голова!

— Господину Дыхесу голову, — повторило несколько голосов, и Рацеле улыбнулась голове, как бы надеясь, что голова передаст Дыхесу, что Рацеле ей улыбнулась.

— А господину Меньке хвост, потому что он — хвост! — прокричал ехидным голосом Кукла.

— Господину Меньке хвост! — закричали все, ликуя оттого, что он — хвост, а не они.

— А мне все остальное, — сказал Кукла, — потому что я люблю все остальное.

Все засмеялись, но забрали все остальное и оставили Кукле самый скверный кусок, ближайший к хвосту. А службе, который только что объяснял, что щука над всеми рыбами рыба, не дали ни куска, и меламену Алеф-Бейз, сколько ни произносил он „э“, тоже не дали ни куска, и он глядел на пустое блюдо с разинутым ртом, произносящим „э“; а Цацель, не посмевший даже сесть за стол, ходил на цыпочках, все боясь, как бы не сказали, что он мешает есть щуку.

В это время раздались крики, и в залу, где ели и пили, ворвались косматые женщины с мыловаренного завода. Гости закривили носами, некоторые даже икнули, а мосье Франсуа тотчас замахал розовым платочком, и запахло фиалкой, ландышем и кипарисом.

— Я спрашиваю, зачем они пришли? — закричал Дыхес. — Что, я замков уже не имею на своих дверях, вышибал я не имею, скотов я не имею? — закричал он, с ненавистью глядя на красную розу, стоявшую на по-

роге с поленом в руке. — Я рюмку водки спокойно выпить не могу? И вторую рюмку, и третью рюмку!..

— Не кричите, господин Дыхес, — сказала одна из женщин, — послушайте евреев.

— Что, пахнет там плохо? — спросил он таким тоном, что ясно было — он уже знает заранее, зачем они пришли.

— Собачьим салом пахнет, — заплакала женщина с ребенком на руках. — Уже даже от ребенка пахнет собачьим салом, от бублика его пахнет.

— А что, духи, наверное, лучше пахнут? — снова спросил Дыхес.

— Лучше, господин Дыхес, лучше, — утирая слезы, ответила женщина.

— Ну, так если бы там пахло духами, я бы сам пошел туда понюхать, и все мои гости пошли бы. Правда, гости?

И гости засмеялись и сказали: да, они пошли бы.

— Кровью харкаем, кровью дышим, — шептала женщина.

Но ее не слушали, гости смеялись, запивая смех водкой и заедая щучкой и мясом, густо намазывая горчицей, прибавляя еще хрен и рассол.

— Думаете, я не знаю, кто вам кусок красного мяса показал? Я знаю этого каторжника, уже Бульба за ним сегодня придет.

— Вы не поймаете Самсона! — закричали женщины...

Непонятный мне человек однажды появился у нас во дворе, в широкополой шляпе, какие у нас в местечке никто и не носил, в клетчатой куртке и неслыханно высоких ботинках, шнурованных до колен, длинноволосый, как поп; я даже пуговицу отстегнул, подумав, что это поп.

Чижик со своей голубятни сразу же стал рассматривать его шляпу, Юкинбом вышел и разглядывал клетчатую куртку, а Ерахмиель, высунув в окошко патлатую свою бороду, изучал его ботинки с интересом

сапожника. Это был Самсон — сын соседки нашей, бабушки Менихи.

Самсон весь день ходил по местечку в своих неслыханных ботинках: то я видел его на гребле беседующим с мужиками, приехавшими на ярмарку, то у мельницы среди грузчиков, белых от муки, то среди краснокожих биндюжников, грубыми голосами расспрашивающих его, как и что; то в кузне Давида, молчаливо наблюдающим за огнем, как бы что-то вспоминая, то у ворот, среди женщин, мечтающих о курице на субботу.

Иногда сын бабушки Менихи уходил из города с мешком на спине, где был утюг, большие портняжные ножницы, мотки черных и белых ниток: все, что нужно для бродячего портного, которых много в те годы ходило по шляхам Украины от села к селу. Там в крестьянских хатах пели они песни еврейских портных, накладывая заплаты на свитки и шубы.

Я обычно провожал его в эти путешествия за город.

Приличный мальчик Котя предлагал мне пупочек из бульона, лишь бы я сказал, куда я ходил, но я молчал. Тогда он вынимал из кармана серебряный грецкий орех, в котором, казалось, заключено было все счастье мира, но я со слезами на глазах молчал, потому что Самсон велел молчать.

Возвращался он из путешествий, но мотки черных и белых ниток были целы.

— Я вышиваю красными нитками, — говорил он.

Котя вертелся вокруг, выглядывая: целы ли мотки ниток, но вместо мотков я показывал ему фигу, а Котя, плача, бежал к маме и говорил, что я его ударил.

Странные слухи передавались с уха на ухо.

— Он хочет царя сбросить и сесть на его место, — говорили одни.

— Он звездочет, — говорили другие...

— Он бомбист, он бомбы делает! — кричал сейчас Дыхес. — Кто хочет надбавки, со мной не имеет дела. Ша! Идите домой, ложитесь животом на печку, и пусть вам наш великий Бог даст надбавку. Что вы хотите —

мои кишки вырвать? — заревел он вдруг и запрыгал на стуле. — Садитесь, пейте, грызите, рвите с Дыхеса.

— Ты хоть помри, — закричала на него женщина, и ребенок ее заплакал. — Но мы тоже кушать хотим. И мы выйдем через парадный ход и выломаем все двери!..

Господин Дыхес даже подпрыгнул от удивления.

— Вы, хозяйева, вы — злодеи, — сказала женщина. — В ваших стаканах не вино — наша кровь, посмотрите, какая она красная и сладкая. Вы пьете и еще смеетесь — вам сладко? Вы думаете — всегда война, и всегда ваше счастье, и всегда вы будете спать на мягких перинах?

— Хозяин! — закричали все женщины. — Мы выжжем серной кислотой твои рыжие глаза.

— Ой, люди, — закричал Дыхес, — у меня уже нет глаз!

— Ой, у нас уже нет глаз, — повторили гости.

— Кто обижает моих гостей? Где мое вино? Где моя водка? — заревел Дыхес, когда женщин выгнали.

Из погребца точно из-под земли выкатили бочонок водки; свистком она свистела, кипятком она кипела.

Десять стряпух, с отблеском печей на лицах, внесли на вытянутых руках большие блюда дымящегося мяса, еврейского мяса, залитого огненными соусами, то круто заперченного, то заслащенного изюмом.

Как лебеди плыли гуси.

— Гости, будем кушать, будем пить! — закричал Дыхес, как труба.

Запрокинув головы, гости выливали соус в глотку и сообщали друг другу — кисло это или сладко. Они как бы невзначай выуживали крылышки, а некоторые, заметив пупок, расправляли усы и ртом вылавливали пупок и, съев его, смотрели на хозяина с благодарностью.

— Жрите, гости! — говорил Дыхес.

Телячьи грудки, копченые языки, паштеты, шпинаты, форшмаки, напшигованное и рубленое, мучное и

овощное, мясо, печенное на углях, и мясо, сваренное на пару.

Господин с брюхом и усами, который советовал пробовать сначала на один зуб, жрал сразу всеми зубами. В руках он держал баранью ногу и ел ее с увлечением, два раза он уже подавился.

Соседи стучали кулаками по его спине, и, отдышавшись, он снова брался за баранью ногу. Я смотрел на него, а он все ел, прогоняя меня глазами. Покончив с бараньей ногой и вздохнув, он взялся за бараний бок.

Приказчики вежливо сидели за столом, и, пока хозяин смотрел на них, они, как птицы, клевали ягоды и орешки, но когда хозяин опускал глаза в тарелку, брались за самые жирные куски и закладывали за одну щеку и за другую; если же хозяин вдруг взглянет, делала вид, что клюют ягоды и орешки. И они уже дважды снимали котелки и вытирали с лысенок пот.

А гостей обносили холодным и горячим, заливным и подливным. Была уж челюстям работа, чреву забота, когда дело дошло до гуся со сладкими орехами и они захрустели на зубах, гости не могли нарадоваться и говорили: „Вот это гусь, гусь из гусей!“ А некоторые даже кричали: „Спасибо Дыхесу за гуся!“

Подали кугель из лапши с изюмом, и кугель из лапши с медом, и кугель из лапши с творогом, и кугель мучной с вареньем, и мучной с салом, и медвяные торты, и яичные торты, и миндальные торты, и струдели с изюмом, и струдели с виноградом, и струдели с маком. И все это съели.

Мадам Канарейка, осторожно поедавшая какую-то корочку, глядела на нас, стоявших в углу, говорила:

— Как они хотят кушать, эти нищие! Как они смотрят на стол! Они бы нас съели. Как по-вашему, если бы мы пустили их, они бы нас съели?

И госпожа Прозументиха, и мадам Пури, и мадам Тури, и дама в тюрбане, и дама в бурнусе — все, кого подпускала к себе мадам Канарейка, — ответили: съели бы, и Рацеле в розовом платье, которую не подпускала

к себе мадам Канарейка, тоже сказала: „Конечно съели бы!“

Музыканты, икнув в последний раз, взяли в руки трубы, и гости запели, застучали блюдами; закричали, засопели гундосые; взвизгнули бабы у дверей. И все закружилось, понеслось, захлопало фалдами, погналось за счастьем.

Господин Глюк с цилиндром в руке, мадам Канарейка с шалью над головой, мадам Пури и мадам Тури, дама в тюрбане, и дама в бурнусе, и дама с голубым пером; когда она подскакивала, и перо подскакивало, когда она приседала, то и перо приседало, даже на улице говорили: „Присела!“ За ними господин Прозументик — пальцы в проймах жилетки; хлюст в бархатных штанах; и Колокольчик и Кухарчик, по дороге предлагая друг другу партию присыпки для младенцев, которую перекупили у Дыхеса; и Рацеле, раздувшись в газовом платье, широко улыбаясь, приглашая всех в гости на чай с вареньем; и ягненок с тросточкой, изображая тросточкой состояние своей души; приподняв котелки, фирма „Файвиш и Зускинд“ шла навстречу фирме „Юкинтон и Юкилзон“; и вдруг между фирмами вынырнул Менька со своим извещающим лицом и красным платочком и затанцевал, улыбаясь тем и другим. Но они и не посмотрели на него, а пошли в обход, только выше поднимая ноги. А Менька один остался со своим красным платочком и вздорным носом, икая от сладкой водки, чихая от крепкого табака, в упоении рассказывающая новости, не замечая, что — один, что все его забыли и смотреть на него не хотят.

Сводня с улыбкой шла навстречу пекарше, но пекарша отвернулась и с улыбкой пошла навстречу кондитерше, но кондитерша отвернулась и с улыбкой — навстречу музыкантше, музыкантша отвернулась, но никому не улыбнулась, и так вертелся круг.

Кланяясь друг другу, хвастаясь друг перед другом, идя друг на друга на каблуках и уходя друг от друга на носках, капризничая друг перед другом, шипя друг на

друга, вертятся друг перед другом колесом, волчком, ползком, на карачках, — все кричали: а-а-а! Музыканты — потому, что они музыканты, сумасшедший — потому, что он сумасшедший. Глюк — потому, что он богат, а Менька — потому, что ему хотелось покричать возле богатого. А господин Дыхес стоял в середине, огненный от выпитого и съеденного, и только шевелил пузом вверх и вниз, точно говорил: „С меня и этого достаточно“.

Вечером

Давно уже луна заглядывала в окна господина Дыхеса, спрашивая, когда все это кончится. А они все неслись, притоптывая каблуками, прищелкивая языками, сопя носами, выкручивая ногами вензеля, туда и сюда.

Трубачи надували щеки, держась за сердце, барабанщик бил в барабан, и скрипач плакал над своею скрипкой.

Я потерял тетку и еле выбрался.

У парадного входа извозчики — в рваных архалуках, подпоясанные красными кушаками, старые — бородатые и молодые — усатые — пили водку и, насосавшись, падали тут же, храпя и яростно покрикивая во сне на лошадей.

Со двора донеслись крики нищих и калек, которым черным ходом выносили угощение, пусть помнят Дыхеса! Они стучали костылями и требовали еще: „Дыхес, хозяин, ты мало наградил!“ Две старухи подрались из-за кости и кричали: „Там мозг, там мозг, в этой кости“.

Я пошел по улице.

У фонаря сидел слепой, подвернувший под себя ноги в тряпье, чтобы казалось, что и ног у него нет. И когда я подошел поближе посмотреть — есть ли у него ноги, он, приоткрыв один глаз, закричал: ему показалось, что и я хочу сесть рядом с ним и то, что должно упасть в

его кружку, зазвенит в мой. Как тень, ходил по улице странный человек в дырявом котелке, с мешком за спиной и, заходя во дворы, разрывал железной палкой мусорные кучи, молчаливо вытаскивая тряпки и вскрикивая, если находил бутылку с этикеткой; я пошел за ним, но он погрозил мне палкой, боясь, чтобы и я не нашел бутылку с этикеткой. У булочной стоял франт с бантиком на шее и, умиляясь, смотрел на крендель, выставленный в окне, но, заметив, что и я смотрю на крендель и сосу палец, он прогнал меня и сам стал сосать палец; а крендель был из глины — я сам видел, как Яков Гончар лепил его и черными точками рассыпал по нему мак.

Сонный шел я по главной улице, которая была похожа на дорогу, проложенную луной на земле.

Они сидели на балконах в тени дикого винограда, образующего как бы беседки, у больших зеленых или красных ламп. Они пили чай с молоком и вареньем, рассказывая разные истории или басни; и если были гости, гости смеялись и, хихикая, как бы между делом, просили еще одну чашку чая, закусывая коржиками, если любили коржики, или же крендельками, если с детства предпочитали крендельки.

Увидев меня, они подзывали и спрашивали: кто я такой? Из каких это ангелов? Не из тех ли, что в Иерусалимке! И, узнав, что из тех, пересчитывали ложечки на столе и чашки и смотрели, целы ли китайцы на чашках.

Кто-то дал мне грош и посоветовал пойти в лавочку за юшкой и узнать, почему там лихо и где Кузькина мать.

— Ты хочешь знать, где Кузькина мать? — хрипя, спросил рыжий лавочник, толстым пальцем щелкая меня по носу.

И я сразу узнал, сколько стоит юшка, почему лихо и где Кузькина мать. Увидев юшку, хлынувшую из моего носа, он дал мне печатный пряник и посоветовал скорее бежать домой.

Я побежал.

Увидев меня бегущего, кишечник закричал, что это я, наверное, утащил у него вывеску, где были нарисованы кишки; злая старуха с помойным ведром набросилась на меня: не я ли в прошлом году ее обмочил, — что-то очень похожий мальчик! Господин Окс стоял на крыльце, страдая отрыжкой, и погрозил мне пальцем; мальчики в бархатных курточках свистели мне вслед, девочки в кружевных панталончиках, похожие на бабочек, удирали от меня. „Подкидыш из Иерусалимки! Подкидыш!“ — закричала одна девочка. Я поймал ее за косички и стал царапать, и вся улица закричала, будто я всю улицу царапал. Выбежали папы и мамы и объявили, что девочка Китти красавица, а теперь уже неизвестно, что будет с девочкой Китти; Китти — припарки, Китти — компрессы, Китти — банты, шоколадки и мармеладки.

С главной улицы, над которой кукарекал петух мадам Канарейки, свернул в грязные персулки. Беременные еврейки тихонько привлекали меня к себе и почему-то плакали надо мной, роженицы улыбались мне, пьяные клялись в верности и заплетающимся языком чего-то требовали от меня.

Здесь нигде не зажигали огней: при свете луны молились, играли в карты, ели фаршированную рыбу, целовались, бились головой о стену, и только, освещая покойника на столе, горели две бледные свечи.

Я заглядывал в окна домов: кто-то, ударив картой по столу, взглянул на меня сверкнувшими глазами, кто-то плачущий, увидев, что я смотрю, плюнул на меня через окно, кто-то ругавшийся изругал и меня; вор, укравший подсвечник, заметив, что я подсмотрел, погнался за мной. Я попался им на глаза, когда они плакали и вспоминали свои обиды, во время голода их и злобы их.

И пока я дошел до Иерусалимки, меня тысячу раз обидели, заплевали, защелкали лоб до черноты.

Здесь встретил меня старый Бенцион, сгорбленный так, будто нес на своих плечах горе всех евреев, в кар-

тузе и кафтане, таких же старых, как и он сам, с мешком пуха на спине. Утром он вышел с этим мешком, весь день с ним простоял и сейчас возвращался домой с этим же мешком пуха; весь в пуху, и пух слезами приклеен к лицу, и даже конфетка, которую он протянул мне, тоже была в пуху. Старый Бенцион взял меня за руку и повел домой. Что шепчет, что высчитывает он, идя дорогой луны, о перьях каких птиц мечтает старый Бенцион?

Шли маляры с голубыми и красными кистями, с кистями всех цветов, в которые они красили этот мир; еле переставляя тяжелые ноги, плелись грузчики с согнутыми спинами, будто все, что они перенесли, еще лежало на их плечах; кровельщики уже не летали как птицы, а еле сползали с голубых лунных крыш, и их раскачивало на ветру; трубочист вытащил из трубы в туче сажу мальчика, обвешанного метелками, и мальчик посмотрел на луну, как будто в первый раз видел ее.

Переругиваясь, катили свои тележки толстые базарныестряпухи; несли остывшие жаровни продавцы каленых каптанов, и старый шарманщик тащил на плече свою шарманку; облезлый попугай, весь день вытаскивавший конверты с судьбою, смотрел на луну и кричал: „Судьба!“

И вдруг из тишины возник стук бондаря.

Открылась наша улица вся в огнях, настезь были распахнуты двери пекарен, и у больших печей, точно черти, прыгали пекари с длинными лопатами и вытаскивали сладкие яичные булки. На горе пылала кузня. Под горой, как и утром, тарахтела крупоружка, будто уезжала куда-то по шоссе, и та же замученная лошадь ходила по кругу. Я пожалел ее, и, очевидно, почувствовав это, лошадь остановилась и посмотрела на меня, как человек.

Те же швеи сидели у окон, но уже не пели, а молчаливо шили при бледном свете луны, и казалось, не венчалные платья, а саваны они шьют.

Вот и дом наш. Парижский портной Юкинбом, в жи-

летке, с сантиметром через плечо, сидел на столе, подвернув под себя ноги, и метал швы: „Есть игла, нет иглы, я шью с большим почетом!“ В мастерской „Новый свет“ Ерахмиель, согнувшись, с деревянными гвоздиками в зубах пел песню сапожника: „мм-ммм“ и, когда вынимал изо рта гвоздики, говорил: „дирл-бом“ и ударял молотком по подошве, а сидевшие вокруг него на полу маленькие Ерахмиельчики, когда отец говорил „дирл-бом“, хором отвечали ему: „бим-бом!“ На балконе мальчик Котя, сладко улыбаясь, спал на пуховичке. И вдруг он что-то забормотал и заплакал: ему, наверно, приснилась яичница-глазунья, которую он не любил больше всего на свете.

У ворот сидели женщины, держа на руках детей, убаюканных светом месяца.

— Ну, — встретили они меня, — что же ты теперь будешь делать?

В это время из ворот вышел и сел на лавочку Урия — еврей с самой большой в мире бородой, и все, глядя на бороду его, подумали, что он-то знает ответы на все вопросы.

— Вы спрашиваете меня, что этому мальчику делать? — спросил Урия и взялся за бороду, как бы переступая ей этот вопрос. — Я расскажу вам историю. Большую историю, и в ней несколько маленьких, таких маленьких, что вы и не заметите и подумаете: это одна большая история об одном еврее, который жил и молился Богу, как все евреи, и Бог его тоже слушал, как слушает всех евреев.

Тут Урия провел по бороде сверху донизу, будто свою историю вытягивал из нее.

Рассказ Урии

Америка! Америка! Там едят белую булку круглый год и пекут сахарные бублики на весь свет! И еврей мой уже чувствовал их запах, они уже таяли во рту, ко-

гда он высадился в Америке с такими же, как и он, евреями, которые тоже глотали бублики, которых еще не ели.

Все евреи — родственники. И он пошел к рыжему Миклу.

Но Микл уже не Микл, а Мориц, а жена его Яхне — Иохаведа, и сало не сало, и масло не масло.

— Кто вы такой? — спрашивает Мориц.

Ах, рыжий, рыжий! Огонь еще горит на твоей голове, но горит ли огонь в твоём сердце? Ах, Микл, Микл!

И он стал передавать ему приветы — длинные еврейские приветы от тети Соси и от дяди Шаи, от Юкинтона и Юкинзона и даже от господина Шрая, который там, в местечке, плюнуть вместе с ним не хотел.

Но Мориц только носом покривил и выплюнул приветы. Плевать ему на господина Шрая и даже на тетю Сосю и дядю Шаю. Что ему до этих лысых евреек и горбатых евреев, плачущих в своей синагоге где-то там, за морями, за зелеными волнами, каждая из которых — как самый высокий дом.

— Что вам нужно от меня, еврей?

Что ему нужно? Разве он знает, что ему нужно?

Со слезами на глазах он вспомнил улицу, где они играли в орехи: солнечную улицу на Украине, трубы домов, голубые и зеленые ставни, птиц, поющих так только на Украине и нигде больше на земле; и еврея Петахью, продававшего цветные картинки, и шарманщика с зеленым попугаем, и Менаше-стекольщика — всех, кто поразил в детстве и которых человек помнит всю жизнь.

Но не Микл был перед ним, а Мориц, и Мориц рассмеялся ему прямо в лицо.

— Если еврей хочет кушать, я дам ему тележку с гранатами и бананами, и пусть еврей побегает, — сказал Мориц. — Все главноуправляющие с этого начинают. Каждый день приходят сто таких главных управляющих, тысяча главных управляющих, со всей Укра-

ины, будто их там специально разводят. — И он протянул ему на прощанье ноготь, не руку еврейскую, не палец, а длинный ноготь, которым под счетом подводят черту.

Белый свет полон горя. Но каждый чувствует только свое горе, каждый тащит свою тачку, каждый слышит звон своих цепей, и нет ему дела до чужих цепей.

И он потащил свою тачку, засвистел и закричал, расхваливая красные гранаты и желтые бананы, и побежал через мосты и улицы, вверх и вниз. И это уже были не красные гранаты и желтые бананы, а золотые бананы и бриллиантовые гранаты.

Автомобили кричали вокруг него, как люди; он оглядывался, а поезда неслись над ним, с красным глазом во лбу, и хотели по голове его проехать, и он падал на землю, чтобы они не проехали, а они ревели оттого, что не переехали его. А рыжие американские городовые стояли, как столбы.

И так от белого рассвета до черной ночи, в мороз и пекло, с горы и в гору. И он уже не знал: то ли автомобили бегут вокруг него, то ли он бежит вокруг автомобилей, и все он кричал.

И до тех пор кричал, пока однажды не упал и уже не поднялся, и тысячи людей — англичане, немцы, негры, китайцы, евреи — каждый на своем языке подняли крик, что он мешает движению. И городской сдвинулся с места и залаял, как собака. Еврея положили на дроги и увезли, а мальчишки растащили его бананы и гранаты и еще засвистели ему вслед.

Когда он вышел из больницы, где сбрили его черные усики, он уже не возвратился к хозяину, а поступил в швейную мастерскую.

Там сказали ему, что он будет вшивать только карманы, а такой же точно еврей, как и он, пришивал рукава, а самый здоровый пришивал крючки, а хозяин ходил вокруг них, как извозчик вокруг своих лошадей, и покрикивал: „Эй, карман-дырка! Эй, крючок-сумасшедший!“ И они сами уже забыли, как их звали.

Он вшивал карманы и думал о счастье и богатстве людей, которым эти карманы вшивал.

Чуть свет — он уже сажился за шитье: день и ночь, ночь и день. На дворе льет дождь. На дворе льет дождь и сыплет снег. А машина шьет и шьет. Не успевал он вшить один карман, уже ждал второй, скакал третий, и он уже не успевал себе даже вопроса задать и ответить на него, и все шил и шил. „Саван я себе сошью“, — подумал он однажды и сел на пароход.

И вот он едет и проезжает Париж.

Но может ли еврей, я вас спрашиваю, проехать Париж и не увидеть Ротшильда?

(Урия смотрит на нас и ждет, чтобы мы сказали: „Конечно не может“.)

Не то что он думал: Ротшильд не уснет, не увидев его. И шпалерами выстроятся лакеи в золотых кафтанах, заиграют в рожки и будут кричать: „Реб еврей идет, реб еврей почет! Еле дождались!“ И выйдет Ротшильд в бархатном жилете, с золотыми цепями на пузе, с золотыми кольцами на пальцах и золотыми зубами во рту, возьмет его под руку и пойдет на веранду пить с ним чай. Не нужно ему чая Ротшильда, я вам говорю, не нужно! Чай он и без Ротшильда имеет. Он его только хотел спросить, спросить и посмотреть в глаза, когда тот будет отвечать: „Почему мы — два еврея, равные перед Богом, но у меня в кармане дырка, а у вас на обед жареные птички?“ И он спросил — и через два часа Ротшильд ему ответил.

„Я подсчитал, — ответил Ротшильд, — сколько у меня денег и сколько евреев на всем свете, и поделил и посылаю вам вашу долю — один грош, и езжайте на здоровье!..“

Не мать-отец встретили еврея на пороге, городской стоял на пороге с красными усами, с желтыми шнурами и со свистком. Тот же городской, с теми же усами, с теми же шнурами и с тем же свистком. Уезжал еврей в Америку — он свистел ему вслед, приехал еврей — он

свистит ему в лицо, будто он и не уходил и все время стоял на пороге и свистел.

Не мать его целует и ласкает, городской его держит в объятиях и стучит ему в грудь, и свистит ему в уши, требует на призыв.

— Я в Америке был, ваше благородие!

— Знаем ваши жидовские штуки! — В Америке быть — это у него называется жидовские штуки.

Но что с ним говорить? Он разве знает, где Америка, ему разве нужно знать, где Америка? Он говорит, что надо было нанять подводу и приехать вовремя.

Он забирает последнюю подушку и еще свистит, будто это у него подушку забрали. Это бабушка сама своими руками отобрала перья, пушинку к пушинке, чтобы детям сладко было спать и они бы думали во сне, что и жизнь такая сладкая. Ой, бабушка, не знала ты, что городской будет на ней спать! На этой подушке мать моя видела первые свои сны. Было время, подушка эта была и мне кроваткой, и вот уже мои дети лежат на ней и улыбаются мне. Еврейская подушка! К которой столько раз перья кровью прикипали; зашптанная. Если бы все слезы собрать — не найти на всем свете такого сосуда! Если бы все вздохи взвесить — не найти в мире таких весов. Может, только у Бога такие весы, но и они, видно, заржавели...

Доктора, как сычи, идут на него с трубками. „Годен“, — шепчут и даже не смотрят на него.

Холодными трубками окружили его горячее тело и выслушивают, но не сердце выслушивают, а сколько денег у него, выслушивают: и если много, тогда и шишки найдут, хотя их и нет, найдут и такие шишки, что ни сидеть, ни стоять нельзя, ни лежать.

А за спиной их сидит писец с кривой рожей. Будто он все писал и смотрел, красиво ли написано, и ей надоело вертеться, и она раз и навсегда полезла набок, чтобы удобно было писать и смотреть. Только еврей вынул желтую бумажку, а тот уже шепчет: „Мало“. Но когда он вынул зеленую бумажку, тот даже головы не

поднял, одними ушами услышал и увидел, что зеленая, и стал улыбаться.

Даже немой, что двери раскрывал, и тот застучал зубами и замычал, будто его душили, требуя свое...

Поступил он на мельницу к дырявым мешкам; накладывает заплату на заплату, и хозяин получает целый мешок. А что у него остается? У него остается дырка от мешка.

Спрашивается: „Что же делать еврею?“

— Торговать! Я уже слышу, как городской Бульба свистит и хрипит: „Ага! Торговать? Еврейская привычка“. Как будто он знает еврейские привычки...

Сказав это, Урия задумался, а затем снова взялся за бороду и воскликнул:

— Пиво! Пиво! Еврей мой опьянел, пробуя, и охрип, выбирая. Он нагрузил сани, и пивовар проклял его и вдогонку еще крикнул, чтобы он умер под забором, так он ему надоел.

Пиво — светлое, яснее дня, пиво — бархатное, чернее ночи, пиво — шипучее, к которому страшно подойти.

— Вье! — закричал мужик Иван в высокой мохнатой шапке, взявшийся развозить пиво из местечка в местечко, и выехал в снежную степь.

— Вье! — закричал и еврей, и снега засверкали вокруг него, но ему казалось, что это не снега сверкают, а сердце его сверкает.

Было это в месяце феврале, который на Украине называется лютень. Едет еврей и думает. О чем думает еврей? Он думает о Боге, чтобы Он его услышал и помог. Но если каждый еврей думает о Боге, может ли Бог думать о каждом еврее, когда у него столько евреев на всей земле? Железную голову надо иметь! А в эту минуту еврей, наверно, так кричали, так плакали, столько горя изливали перед Богом, что Бог заткнул уши ватой.

Мороз увидел, что Бог не слышит молитв, напал на еврея и на его пиво. И слышит еврей: в санях что-то

треснуло, от мороза лопнула бутылка. Он быстро хватывает ее и дает Ивану погреться. Что делает мужик Иван? Он разом выпивает всю бутылку, говорит спасибо и едет веселей.

— Вье, вье! Скаженные!..

Он тоже хочет закричать: „Вье! Вье! Скаженные!“ Но слезы его душат, и он не может кричать. Всю дорогу трещали бутылки, они лопались, как бомбы, и совсем тихо, будто кто-то их царапал, вкось и пополам, и то отлетало горлышко, то вылетало донышко.

— Эх, ты, — говорит мужик, — чего же ты соломой не укутав?

— А хоба ж я знаю, — отвечал еврей.

И откуда ему знать, откуда еврею, который никогда в жизни не думал, что такое пиво, и знал только, что оно горькое, откуда, я говорю, ему знать, что бутылки надо кутать, как ребенка!

И он все плакал, а Иван все пил и уже не мог утешать.

Когда они въехали в местечко, Иван уже не знал, где он и к чему на нем шуба и валенки в такую жару, и чего это он, дурень, нацепил мохнатую шапку. Досадуя на себя и плюясь, скинул он шубу и шапку и танцевал в санях, а лошади, одним глазом видевшие все это, бежали от него, как от сумасшедшего. Сани неслись через местечко, и за ними бежали мальчишки и бросали снежки, и все смеялись, глядя на сани с танцующим Иваном и непонятым евреем, который держал в руках последнюю бутылку пива, обогревая ее дыханием и плача над нею, и который тоже всем казался ужасно пьяным.

Еврей горем напивается, слезами отрезвляется.

Решил еврей торговать чулками. Вы спрашиваете: почему чулками? Почему не бубликами? Потому что не бубликами, а чулками, — отвечаю я вам.

Самые красивые чулки в Киеве. И он поехал в Киев за красивыми чулками.

Но только он сошел с поезда, уже жандарм в крас-

ной фуражке стоял перед ним, будто он только его и ждал.

Оказывается, этот еврей похож на какого-то другого еврея без права жительства, из-за которого жандарм уже неделю не может уснуть и так похудел и побледнел, что и жандармиха, глядя на него, похудела и побледнела; и когда он его увидел, раздался на вокзале такой свист, что все вдруг стали целоваться, думая, что это поезд уходит.

Жандарм свистнул, взяв еврея за воротник, свистал всю дорогу до участка, свистал там, пока кричали на него за то, что нет у него права жительства, со свистом посадил его в тюремный вагон и свистнул, когда он показал свой нос через решетку, чтобы взглянуть на белый свет.

Он поехал во второй раз и уже пробыл в Киеве два дня и присмотрелся к чулкам, узнав, что есть чулки фильдекосовые и чулки шелковые, зеленые и фиолетовые, но только он это узнал — его снова поймали, и снова сидит он в тюремном вагоне за решеткой и смотрит на поля, на станции, на людей.

И он поехал в третий раз; полиция так к нему привыкла, что уже жить без него не могла: все спрашивала, где он, и днем искала его с шашками, а ночью — с фонарями, а писари радовались и, щелкая его по носу чернильными пальцами, говорили:

— С приездом!

А что делает еврейский нос? Из него течет кровь...

Киев — большой город, и много в нем городских. На какую бы улицу он ни пришел, маленький еврей, который хочет купить чулки, городские со свистом накидывались на него. Держась за сердце, он бежал и слушал, как позади гудит и трясется мостовая. По ночам ему уже снились красные усы; они неслись по воздуху, одни, без лица, и вокруг его горла еврейского обвивались.

Скажите мне: видели ли вы когда-нибудь бродячую бездомную собаку? Только появится ее несчаст-

ная морда, уже летят в нее камни, поднимается свист и крики, и каждый целится ударить ее по глазам.

Травить и душить! В клетку железную ее и на шкуродерню скорее! И все удивляются, как это до сих пор ее не задушили, на шкуродерню не повезли и она дышит? Она же так без конца будет дышать.

И вот он выезжает, гицель, рыжий и красномордый, в кожаном переднике, пахнущем кровью, с длинными намыленными петлями в руках. Едет и петлями в воздухе делает круги, заранее всем показывая, как он будет душить бездомную собаку, и разбрасывает красное мясо. И она уже бежит, как на праздник, раздув ноздри, ничего не слыша и не видя, сердце ее радуется — наконец-то ей бросили кусок красного мяса. И вот тут-то со свистом настигает ее петля и, закружившись над головой, ложится прямо на горло: собака еще с куском мяса кружится в воздухе. И так он несет ее в петле, воющую, вертящуюся колесом, и сам ее еще вертит и крутит, затягивая петлю все туже и туже. И все ему мало, все ему кажется, что она будет дышать, что она не захочет умереть. Захлопнув решеткой, тычет ей еще в зубы кнут и дразнит: гав! гав!

И несется сумасшедшая коляска, полная затравленных глаз, — страшная собачья тюрьма, и только рев проносится по улице, да скрежет зубов о решетки, да клоки шерсти подхватывает ветер.

Куда несешься ты, коляска?..

Урия замолк и, прикрыв глаза, долго сидел так, будто ждал ответа. Потом открыл глаза и, убедившись, что мы еще стоим перед ним, продолжал:

— Но пока еврея в Киеве ловили и высылали и он приезжал обратно, и городовые снова ловили его, остался он без денег.

Кредиторы — алчные собаки — прибежали и наполнили дом криками, угрозами и слюной, бешеной слюной ростовщиков и процентчиков, которые за рубль хотят рубль и с кишками этот рубль вырывают.

Он поил их чаем и угощал вареньем и рассказывал

сказки, чтобы им весело было. Они выпили чай, поели варенья, выслушали сказки и развеселились от граммофонной игры. Они даже сказали, что варенье сладкое, и чай крепкий, и сказки смешные, но они хотели денег и смотрели ему в глаза: сколько он даст.

И они взяли все, что могли унести, что увидели их глаза, что понравилось их душе, — даже подвечники, которые стояли у мертвой головы его матери и озаряли рождение его детей.

— Что же дальше? — спрашивает нас Урия.

Но мы все молчим.

— А дальше — скобяной богач дает ему гвоздей...

Но пока он их продавал по штуке, цены на гвозди очень поднялись; в то время была война, и железо с каждым днем дорожало; когда он пришел снова, скобяной богач ему на те же деньги дал уже не сто и не семьдесят пять, а только пятьдесят гвоздей, и еще смеялся над тем, как это хитро получилось, а приказчики хохотали до слез.

Со слезами на глазах он взял гвозди и, продавая по штуке, старался быстрее продать, но женщины, торгуясь и проклиная его, осматривали каждый гвоздь, — все им казалось, что гвозди искривлены и заржавлены. Они выдумывали, что он их выдернул из стены, хотя сам Бог видел — они сверкали как серебро.

Война не хотела знать, что еврей продает гвозди и что еврею не нужна война, невыгодна война. Железо все дорожало, и скобяной богач смеялся все громче, а еврей плакал все тише и получал все меньше и меньше гвоздей. Он продавал гвозди до тех пор, пока однажды на все деньги ему не дали только один гвоздь. В этот день скобяной богач так хохотал, что железо во всем магазине звенело. Еврей сам превратился в гвоздь, а богач оброс жиром, и еврей не ждал, пока тот похудеет, он знал, что пока толстый похудеет, худой умрет.

И вот он стал делать душистую бумагу, которую видел в Америке, бумагу царей, — что ни лист, то золотая монета. Но зачем, я вас спрашиваю, в местечке душистая бумага? Где нужна соль, сахар не годится.

Услыхали в местечке о душистой бумаге и сбежались, как на пожар. Вы думаете — покупать? Нюхать! Прикладывают ее к носу, как табак, пробуют на язык, как сахар. Каждый просил одолжить и подарить кусочек, и уже вертелись десять евреев, расспрашивая, как ее делать и сколько стоит ее делать, и какие рецепты, и при каких обстоятельствах. Но хоть бы один кусочек купили! Только один сумасшедший, сбежавший из сумасшедшего дома, куда посадили его за то, что вообразил, будто он египетский фараон, купил кусок и показывал всем как доказательство, что он египетский фараон.

Что делает еврей? Вздыхает. Со вздохом ложится спать и от вздоха просыпается.

Вздыхнув, еврей купил на гривенник сахара, насыпал красивыми белыми кучками на табурет и стал продавать. Но, несчастье, куда ты идешь? К бедняку!

Когда несчастье идет к бедняку, никто ему дороги не перебежит, закрыты все окна и двери, все мертвы, один бедняк — жив.

А ну, пусть пойдет теперь счастье, пусть пойдет оно пузатое, шумное, веселое, с жирным красным лицом, громким смехом, грубой отрыжкой, когда раскрыты все двери и окна, и все стоят на дороге и фонарями указывают дорогу к своему дому и кричат, что у них красивые дочери, лучше улыбка, слаще угощение, и раскрывают свои карманы, чтобы счастье наполнило их.

Только он стал торговать сахаром, прибегают люди и кричат, что дом его сгорел.

— Приносящий дурную весть — глупец! — сказал он и заплакал над сахаром.

И тут же к его слезам прибавили свои слезы родственники, которые всегда оказываются поблизости, когда нужно поплакать, и дети, рыдавшие от страха. Когда плакали, ничего не видели, а когда перестали плакать, сахар уже растаял, словно в чае. Хорошо тает сахар от еврейских слез!

Но вдруг счастье и его заметило. Один раз счастье остановилось и у его дверей и закричало жирным голосом, что принесло ему наследство.

Люди говорят: приходит счастье, усади его на стул. Но если оно не хочет сидеть? Если за счастьем тут же бежит несчастье и нагоняет его и стучится во все окна в образе родственников?

У богатого много родственников. Только у него звенит в кармане, уже слышно во всех местечках. И откуда они только вылезают?! Из каких домов, из каких щелей — в странных чепцах, плюшевых салопсах, в каких-то пикейных жилетах с крапинкой, какие уже тридцать лет никто не носит; со своим табаком, который только они любят, со своими привычками, которых никто не любит. И влетают в дом, с корзинами и желтыми коробками. Они боятся приехать без корзин и корбоек, чтобы не подумали, что они живут рядом и приехали на один час.

И вот они уже рассказывают вам свои сны: вы умирали в их снах, а они плакали и просили Бога оставить вас жить. Попробуйте доказать, что им это не снилось, что вы не умирали и они не плакали и не просили Бога, и не благодаря их молитвам вы остались жить.

До тех пор они сидели на его шее, до тех пор ее перегрызали и помогали во всех делах, вкладывая свои копейки в свечи, в подтяжки, в табак, в перец, во все сладкое, горькое и соленое, горячее и холодное, черное и белое, чем еврей торгует, до тех пор, я говорю, вертелись они вокруг со своими чепцами, бархатными салопсами и пикейными жилетами с крапинками, пока не остался он с одними этими крапинками. Еврейское богатство! С ветром приходит, с дымом уходит.

Господи! Чем он только не торговал? Даже землей он торговал — белой, как мел, и сухой, как камень, иерусалимской землей, которую кладут под голову покойников, чтобы казалось им в могиле, что спят они в земле отцов. Кульки с землей стояли на табурете, и он выкрикивал: „А вот земля! Хорошая земля!“ Рядом с

ним такой же еврей принимал заказы на могильные камни: „Ай, камни! Ни дождь, ни снег, ни ветер не сдвинет их с места!“

И земля, черная украинская земля, вокруг них побелела от слез их и отвердела, как камень, так что, если б хотели, они могли продавать, как иерусалимскую.

Однажды он даже менялой стал: рубль на копейки, себе — грош. Но только он стал размнивать, как один бедняк, не имевший ничего, кроме шишки под носом, увидел, что можно разменивать, раздобыл себе рубль и тоже стал менять. Когда у одного сверкнет копейка, другому кажется, рубль горит.

И тут же двадцать таких же богачей, все богатство которых состояло в том, что они имели слюну и они ее непрерывно глотали, присоединились к ним. Он меняет, и рядом с ним все меняют. Сколько нищих, столько менял. А чем им еще быть? Генерал-губернаторами? И скоро на ярмарке не осталось ни одного еврея, у которого был бы целый рубль, у всех гроши, и все хотят разменять.

Он делал уксус и сох, будто пил этот уксус, и продавал дрожжи и опухал, пока продавал пачку; разносил по домам синьку и синел, пока упрашивал купить кружок.

И за что бы он ни брался, все уплывало из его рук, что бы ни придумал — перехватывали; что бы съесть ни хотел, вырывали изо рта. Городовые гнались за ним, как за бешеной собакой; ростовщики ему горло перегрызали, и всегда и везде был он кругом виноват.

— Нет! — сказал он. — В этом городе нет мне счастья: только захочется какой-нибудь черепице упасть с крыши, и я оказываюсь тут же внизу, и она летит прямо на меня; к чему я ни притрагиваюсь, все в прах рассыпается, будь это даже железо. Если бы я саванами стал торговать, люди, наверное, перестали бы умирать...

Еврей купил лошадь, уложил на нее подушки, усадил детей и пошел прощаться со своим домиком.

Еврейский домик! Весь ты перекосялся и наполовину зарылся в землю, будто время молотом ударило по твоей крыше; окна твои — глаза заплаканные, крыша твоя — решето, чтобы видел еврей небо, где Бог его! Стены мохом поросли. На улице ветер — в доме гаснут свечи; на улице дождь — в доме дождь еще сильнее; на улице уже сухо, уже светит солнце, а в доме все еще дождь.

Он стоял посреди пустого домика, где он родился и дети его родились.

Уже ржала под окном лошадь и дети кричали: „Вье! Вье!“ А он все стоял и в последний раз выплакивал в этом доме свос сердце. Если бы собака лизнула это сердце, она бы с ума сошла от горя.

И вдруг — то ли кажется ему, то ли видит он на самом деле: само несчастье, стуча костылями, отплясывает в углу с еврейской торбой на плечах.

— Чего ты пляшешь, чего ты радуешься?

— Как мне не плясать, как мне не радоваться, когда всю жизнь я ходило за тобой пешком, а теперь поеду на лошади...

— Это рассказываю вам я, Урия, которому захотелось поплакать. И мне вы можете поверить. А если не верите, то вот перед вами этот еврей — я, реб Урия, переживший большую историю со всеми маленькими историями, которые вливаются в нее, как маленькие речки вливаются в большую реку...

— По этому поводу я расскажу вам сказку, — сказал появившийся из темноты Иекеле, у которого всегда и по всякому поводу была сказка. И, держа в пальцах понюшку табака так, чтобы ее можно было в любую минуту понюхать, Иекеле начал сказку о Стране Счастья.

— И все там из сахара! — воскликнул Иекеле. — Земля — как белая скатерть, и дома — как сладкие игрушки. Даже свисток у Бульбы, — потому что там, как и во всякой стране, есть свой Бульба, — свисток этот тоже из сахара. И стоит Бульбе сунуть свисток в зубы,

сахар тает, и Бульба только пучит глаза, а люди, зная, что вся сила Бульбы в свистке, не боятся его и проходят мимо, даже маленькие мальчики смеются над ним.

Теперь я вас спрашиваю: когда вокруг сахар, море сладкое или горькое? Сладкое, отвечаю я вам, море сладкое, и туманы сладкие, и птицы, пролетая над туманом, тоже становятся сладкими. Вы ловите птицу, а у птицы вместо сердца изюминка.

А по улице бегут лошадки из пряничного теста: только одни посыпаны маком, другие корицей, третьи абрикосовыми косточками. Вы идете по улице, сосете свой палец и вдруг кричите: тпру! Выбираете, какая вам больше нравится, отламываете ногу и кушаете. А у лошадки сейчас же вырастает новая нога. Она на вас даже не посмотрит, стукнет копытом и понесется дальше.

На всех площадях золотые пушки, те пушки стреляют орехами; только раздается выстрел, женщины и дети бегут собирать орехи и кричат: „Стреляйте, стреляйте день и ночь!“

Когда ветер нагонит тучи, все выглядывают из окон и спорят, что это за тучи. И если сыплется сахар, все закрывают окна и говорят: „Какая плохая погода!“ А старики идут в синагогу и, стуча в грудь, спрашивают Бога: „За что ты нас наказываешь?“ Но если сыплется соль, все с криками радости выбегают на улицу, выкатывают бочки, выносят тазы и кастрюли и говорят: „Как должны быть счастливы жители той страны, где соли больше, чем сахара, и уксуса больше, чем меда“.

Когда курица несется, дети стоят вокруг нее и все время поднимают курицу: что она снесла? И если золотое яичко, с плачем бегут к маме: „Опять наша курица снесла золотое яичко“. „Надо ее зарезать на кисло-сладкое, хоть и не делают из курицы кисло-сладкое, — отвечает мама, — а из нее сделать, чтобы знала. А то опять снесет золотое яичко“. „И петуха надо зарезать, — говорит мама и кричит петуху: — Разбойник!“

Это ты виноват!“ „Посмотрите, пожалуйста, — говорит она соседкам, — как высоко он поднял свою красную шляпу, как ножку выставил и шпорами тренькает. Нет, ты яичко для яичницы принеси!“

На высоких деревьях растут золотые монеты, и лишь коснется их солнечный луч, всю страну заливают солнечным светом, и только поэтому терпят там золотые монеты.

А по всей стране на верблюде разъезжает старик в высокой шапке и показывает бутылочку со слезами: „Это сто лет назад один человек плакал в этой стране...“

Над горой, где кузня Давида, вдруг вспыхнуло пламя и осветило облака. На фоне неба появился Ездра в широкополой соломенной шляпе, катя кому-то в гостиную высокое колесо. И мне показалось, что это и есть то самое колесо, которое, если толкнуть так, чтобы оно, перепрыгивая через горы и перелетая через моря-океаны, обогнуло бы всю землю, то вернулось бы назад, на эту улицу, запыленное пылью земли, но без единой трещины и со скрипом, будто его только что выкатили из кузни.

— А! Ты уже прибыл заказать нам дышло? — спросил Ездра. — Какие же тебе пароконные дышла? У тебя пароход с двумя трубами?

— Ездра, возьмите меня к себе, — сказал я, — я знаю, где „а“ и где „б“, и буду вам письма писать.

Ездра молча взял меня за руку, и мы вместе покатали колесо. Могучая тень Ездры, пересекавшая всю улицу, и маленькая моя тень, как тень кошки, двигались в лунном свете за круглой тенью колеса.

Мимо синагоги. В широких окнах ее большие и белые лица евреев, все еще шептавших, все еще спрашивавших о чем-то Бога, как и утром, как вчера, как тысячу лет назад: вот так, с белыми лицами, над книгами, некогда тоже белыми, а теперь почерневшими от слез, сколько надо было плакать, чтобы книги почернели?

Мимо желтого дома приюта с решетками на окнах. Из окон его стриженные мальчики провожали нас такими взглядами, будто просили, чтобы и их увезли отсюда на колесе.

А вот уже и сумасшедший дом с двумя трубами, стоявший как знак того, что здесь конец местечку. Сумасшедшие старички в полосатых подштанниках и сумасшедшие старушки в желтых кофтах, держась за решетку железной ограды, внимательно смотрели, как в лунном свете катится колесо.

А за оградой безумного дома только кладбище, закрытое, как и все кладбища, деревьями, словно смерть, выказывая свою скромность, не хочет напоминать живым, что она их ждет.

На стук колеса по мостовой выглянул одноглазый кладбищенский еврей в засаленном халате, пахнущем смертью. Но, увидев великана и маленького мальчика, шагавших вслед за колесом, в испуге закрыл единственный глаз.

Вот и мраморный домик, построенный господином Дыхесом для себя и жены своей и детей, которые еще не родились, чтобы и после смерти, когда Дыхес уже не будет икать, быть все-таки на самом почетном месте, вызывая зависть всех, и особенно господина Козляка.

Здесь, в стороне от дороги, в широколиственной сени кладбищенских каштанов, стояла высокая бричка на трех колесах; четвертое колесо, как подбитая птица, валялось в пыли. В зеленом лунном свете паслись распряженные кони, которые казались тоже зелеными. Человек в белой свитке и лакированном картузе, с рыжими усами поднялся нам навстречу.

Это был Самсон — сын бабушки Менихи. Я узнал его.

Когда колесо было закреплено и кони запряжены, Самсон сел, свистнул, и бричка покатила по дороге среди высоких тополей, стоявших, будто часовые в серебряных шапках, и в эту ночь казавшейся мне дорогой в Страну Счастья.

Мы пошли домой, но уже не прежним путем, а кругом: через уснувшее местечко и странно-пустынную ярмарочную площадь.

На горе пылала и гремела кузня Давида. „Оттозой! Оттозой! Вот так! Вот так!“ — доносился его крик, а затем — удары сыновей-молотобойцев.

В красном свете метались полуголые ковали.

В эту ночь мне снилось: под луной лечу я на огненном колесе над лесами, горами и синими морями в Страну Счастья, залитую золотым светом. И за мной, в светлое небо, поднялись и полетели верхом на длинных лопатах пекари в высоких белых колпаках; трубочист на метле, а за ним служка Бен-Зхарья, распахнувший полы лапсердака, как крылья птицы, чихавший все время на луну. Конь из крупорушки, вознесшись всеми четырьмя копытами, как будто для прыжка, летел, храпя и раздувая ноздри, а позади всех на белом облачке сладко спал приличный мальчик Котя. „Куда ты, Котя? — говорю я. — Тебе ведь и там хорошо“, но Котя не отвечает, Котя хочет слящим влететь в Страну Счастья, и только оттопыренные уши его прислушиваются, не стреляют ли пушки орехами.

А далеко внизу, в городах и селах, лают собаки и поют петухи...

Исповедь

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ИСПОВЕДЬ

Ах, кто об этом напишет, кто это напишет, как нас растлили, как из нас сделали трусов, подлецов. Все трусы, все подлецы, все приспособленцы.

Ужасное и неотвратимое чудо собрания. Те же люди, которые вот только стояли в фойе, в буфете и беседовали между собой, смеялись и рассказывали байки и всякие случаи из жизни, которым можно было рассказать о своих бедах и успехах, и они торопились перебить тебя и рассказать о своих бедах и успехах, и они как-то понимали тебя, и сочувствовали, и ждали от тебя какого-то сочувствия, эти люди, которые сейчас звонили по служебным телефонам и говорили тихим, спокойным или возбужденным, страстно-сердитым или грустным голосом, психи, умники, глупцы, педанты...

Звонок! Потушены и выброшены сигареты, и в какое-то мгновение произошло полное перерождение. Изменились не только выражения лиц, голоса, взгляды, силуэты, но как бы изменился весь состав крови, иное звучание нервов, иное чутье, настрой мыслей.

Это миг гипноза, когда все пропиты одной железной ниткой, нанизаны, как на шампур, и ни вправо, ни влево, ни в детство, ни в старость, и нет тебя, нет именно твоей воли, твоих мук, сомнений, снов, призраков, твоей чести, совести, и ты, как муравей, как муха, как моль... Теперь уже никто не в состоянии тебя понять, выслушать, по-человечески войти в твое положение, теперь все были как заведенные куклы, как механические ваньки-встаньки, каждый был в отдельной клет-

ке, и все клетки — в одной большой клетке. И это уже было не одиночное чувство страха, а общее, коллективное, словно всех оплела одна паутина, связала, и все задыхались, бились, жужжали и затихали в этой паутине. И оттого это было еще страшней, необратимее. И страх, и предчувствия каждого не приплюсовывались, а умножались и, перемноженные, в геометрической прогрессии, выростали в такой мощный, непреодолимый страх, что уже ни у кого не было надежды вырваться из этого силка.

Понимали ли они, или хотя бы догадывались, хотя бы на одну минуту задумывались над этим? Нет, они не хотели и не смели в этом признаться самим себе, даже наедине, среди ночи, даже во сне. Иначе — зачем они жили, зачем прожили всю жизнь? В конце концов, когда уже нет ни волос, ни зубов, ни крови, — признаться, что жили, как яички муравья, как засохшие личинки, из которых даже не вылетела бабочка для одного-единственного дня жизни?..

В зале стоял слабый безличный шумок, маленький гомон дыханий, кашлей, перекинутых коротких слов, скрипа стульев... — словно мельница какая-то молола. Лишь иногда можно было встретиться с чьими-то глазами, печально понимающими тебя, или же уловить во тьме чью-то горькую, усталую, замученную улыбку. Но удивления уже не было ни на одном лице, и растерянности не было, той, которая впервые так поражала тогда, в 1937-м. Почти все, так же, как и ты, к этому времени понимали, что и к чему.

И я там был, и я там был...

Всю жизнь я боялся; в сущности, если одним словом выразить мою жизнь, это слово — страх. Да, так оно и есть, и от этого никуда не уйти.

Сначала это был страх, что ты не родился от того отца, от которого надо бы родиться. Еще ничем не запятнанный, еще не сделавший ничего хорошего и ничего плохого, ты вдруг обнаружил свою неполноценность, беспомощность.

Я все боялся, что узнают, что некогда он имел лавчонку, распроклятую гнилую лавчонку с мышами, в глухом вонючем базарном переулке, где в картонных коробках навалом лежат платки Прохоровской мануфактуры, касторовые и перламутровые пуговицы, английские булавки, бельгийские кружева, житомирские крючки, и бабы долго рылись в коробках, подбирая нужные им пуговицы, и когда они расплачивались медяками или серебром, он кидал монеты в жестяную коробку с лаковым Жорж Борманом.

И тебя долго не принимали в пионеры. Они ходили строем в белых рубашках с красными галстуками, с горном и под бой барабана пели одну и ту же песню „Жура, жура, журавей“. А ты стоял у края тротуара, ковырял в носу и завидовал им. И когда тебя уже принимали, все равно ты был второй сорт, тебя не взяли в лагерь, тебя не избирали в звеньевые, тебя не посылали на слет.

А потом, что потом? Потом тебя долго не принимали на биржу труда, даже на биржу труда, в безработные ты не мог попасть: и когда на Печерске, в Киеве, наконец, взяли на учет на бирже труда подростков, это было счастье, это было как восход солнца, и ты, толкаясь, стоял в длинной очереди у бурых заплеванных стен, в ужасной очереди таких же худющих, прыщавых яростных подростков.

А потом я был беспартийным и чувствовал себя прокаженным. Это ведь после все стерлось, улеглось, и беспартийным оказывали больше доверия, больше любили, больше уважали, сильнее за ними ухаживали, терпеливее цацкались, а партийных били больно, не глядя, а в те годы я был как прокаженный, когда прикрывали дверь и там за дверью проходило закрытое собрание, а я беспартийно слонялся по коридору, и когда избирали делегатов, и когда читали закрытые письма, когда вдруг замолкали при моем приближении.

А потом, когда я стал членом партии, я боялся чистки. Сколько их было, чисток, собраний, автобиографий,

анкет... И каждый раз ты ждал, что назовут именно твою фамилию, что-то откопают, отковыряют. Для спокойствия всегда были причины, и вечно что-то не ладилось, что-то грызло, сосало под ложечкой. Страх жил в тебе, как в кролике, намеченном для опытов.

Да, я боялся каждого собрания, каждой кампании, а ведь кампания шла за кампанией. Только затихла одна, с треском и громом начиналась другая. Они приходили и уходили, как ураган; и каждый раз, поднявшись десятибалльной волной, уносили трупы.

А потом я боялся, что за мной придут. Я не знаю, за что, но ведь никто этого не знал. Я выходил из дому и оглядывался, не идут ли за мной, и каждая фигура у подъезда казалась моей тенью. Я вскакивал в троллейбус последним и глядел в заднее стекло, не идет ли за троллейбусом машина, запоминал номера, а иногда, от нечего делать, складывал их и перемножал.

Да, были времена, я боялся разговаривать с ближайшими товарищами; с любовницей; с родными сестрами. Я улыбался и молчал, когда надо было плакать или кричать. Я плакал, когда все смеялись. Я стал бояться разговоров во сне.

И все время, всю жизнь был страх за каждое сказанное и не сказанное слово; и каждый слух, каждая выдумка, непонятно где и зачем и почему возникшая о тебе выдумка, клевета, пасквиль, рано или поздно доходили до тебя и ранили тебя. А все это собиралось, все это концентрировалось, сгущалось в общественное мнение о тебе и уже доминировало, властвовало над твоей жизнью, входило ясно, зримо и четко в представление членов парткома или парткомиссии, или кого там еще, которые должны были давать тебе характеристику, решать, допустить тебя или не допустить, разрешить или не разрешить, пропустить или не пропустить, решить твою судьбу в дальнейшей жизни. Тем временем ты стал бояться неожиданных телеграмм, писем с незнакомым почерком на конверте, междугородних вызовов и повесток, и тебе хотелось все время быть в тени.

Пришла война, и я стал бояться, что меня ранит в живот, привык и к бомбежкам, и к минам, и ко многому другому, но до конца я боялся, что меня ранит в живот, я слышал, как кричали раненные в живот.

А потом был облучен кампанией космополитизма. Я был космополит, когда оно неведь откуда появилось, вдруг неожиданно выскочило, выползло, заиграло это словечко, я еще хорошенько и не знал, что оно значит, но уже был космополит. Я и дальше не очень раздумывал, разузнавал, что оно означает, откуда оно и зачем, и некогда было разузнавать, делать раскопки, и меня могли распать на любом собрании большом или маленьком, на любом малюсеньком закрытом заседаньице, так, чтобы никто об этом не узнал. Я был беззащитен. На моих глазах это делалось с такими же, как я, которым это слово накануне и не снилось, и — в моем присутствии и с помощью поднятия моей руки — их убивали, считали, что и я за. Вот же как!

Но и это пронесло. А потом я уже боялся неизвестно чего. Ведь многие годы вина жила во мне, непонятная, неизвестная, адреналин, растворенный в крови, вина без вины виноватого, и, что б ни случилось, ни стряслось, она оживала.

Один знаменитый адвокат сказал: единственное дело, за которое я не берусь, это невинные, потому что оправдать невинного невозможно.

Одного только никогда не было у меня — уверенности. Этого чувства я, кажется, начисто не знал, ни дня за всю свою жизнь, словно оно было вырезано у меня. Честь, достоинство, обидчивость — все это было, может быть, в избытке, но уверенности... нет, ее не было. Не стоит притворяться, не стоит говорить того, чего не было. Чего не было, того не было.

Все были перед ним виновны, все были у него в долгу, и, глядя на его портрет, на это холодное, надменное, как бы из другого мира лицо, я чувствовал себя в долгу, в непомерном, баснословном, бесконечном долгу, на который не хватит ни моей жизни, ни жизни детей и внуков.

И снова я боюсь разговаривать с ближайшими товарищами, и снова улыбаюсь и молчу, когда надо плакать и кричать.

А между тем, по выражению Руссо, я вышел из рук творца свободным.

Не было у меня ни больших, ни малых радостей. Как только уехал из семьи, от отца и матери, потом уже вся жизнь в кампаниях, в штурмах, в мобилизациях, собраниях, от лозунга у лозунгу, как только исчерпается один лозунг, чтобы не подумали, что можно почить, тут же объявляется новый лозунг, и все время под страхом наказания, наказания и наказания.

И дни шли за днями, а что давали эти дни, что прибавляли к жизни. Все слухи и ожидания, удивления и иллюзии, страх и ожидание, ожидание без конца, до смерти, и казалось, и после, они, эти выросшие, эти вскормленные не лаской матери, не любовью, а собраниями, выговорами, чистками, да еще там, по ту сторону черты, там они продолжали чего-то ожидать. Ведь и тут, на этом свете, вполне серьезно, на самом высшем, верховном уровне, их реабилитировали, их восстанавливали или, наоборот, исключали из партии, их награждали или же отбирали ордена, о них писали статьи с сожалением или с укором, или с восторгом, делая по ходу кое-какие упреки, давали советы, как было бы правильнее.

Все уходило как в вату, и как во сне или под водой ты продолжал двигаться вперед, боролся, махал руками, а все оставалось на одном и том же месте.

Что-то произошло, что-то сломалось в мире или в тебе и нет лиловых сумерек, нет сиреневых теней на снегу, нет голубых, синих, зеленых сумерек в марте и нет красных снегирей на заснеженных ветвях, и нет ярких, рыжих, оранжевых одуванчиков в мае.

/.../ Всю жизнь я чего-то боялся и ждал неминуемого, и сейчас, когда уже, кажется, нечего бояться, стоит, чтобы мне только позвонили из официального учреждения, какая-нибудь девчужка, секретарша, чиновница

по поручению высшего начальства, чтобы жизнь на этот день круто изменилась, пошла совсем по другой колее, грохнулась вниз вместо спокойного и тихого созерцания, вместо воспоминания, пошла крутиться вхолостую, рыдать, пошла под откос, под темный, жаркодышащий страшный паровоз. Стоит только получить повестку о собрании, уже все мысли, нервы заняты на подходах к этому собранию. Для работы мне нужно быть свободным, мне нужно, чтобы никто и нигде меня не ждал, чтобы время мое с утра было как река, как дальняя дорога, как облако, свободно плывущее по горизонту.

...Господи, зачем они это делают? Зачем и почему, какая сила загнала их на одно собрание, в эту залу, усадило тесно друг к другу, заставила слушать эти речи, умирать от страха, подозревать, травить друг друга, почему и зачем сижу я? И я там был, и я там был.

Я выбираюсь из рядов, я вижу себя как бы со стороны, тенью бесплотной, без крови и мускулов, тенью на стене. Кто-то ворчит, кому-то я наступил на ногу, кто-то искоса глядит на меня сбоку, я чувствую затылком взгляды. Кто-то со сцены, из президиума глядит на меня. Я иду центральным проходом, словно муравей, потом боковым проходом к двери, оратор выкрикивает какие-то слова, неумолимая сила давит на меня. Потом я иду длинным коридором со служебными дверями... Я спускаюсь вниз по широкой, выдавшей иную жизнь лестнице, вхожу в гнусный, грязный учрежденческий туалет, и там немного отходит душа. Потом иду к вешалке.

— Алеша, — говорю я пьяному гардеробщику. — Дай на минуту пальто. — И мне кажется, из тьмы гардероба, из толпы пальто, кожанок, шинелей, глядят на меня с подозрением чьи-то глаза.

Гардеробщик взглянул на меня пронзительно, будто он был членом партбюро, молча подал пальто, шапку, я подошел к зеркалу и увидел, как за моей спиной он разворачивает какой-то сверток, что-то вынул и стал же-

вать. Я застегнулся и поднялся вверх по лестнице. И только я вышел в темноту, в дождь, пронизанный желтым светом фонарей и падающих листьев, шорохом шагов, скрежетом дальнего трамвая, порывом ветра, — будто сорвало все, что окутывало меня, давило, унижало.

Как смутно горят на улицах фонари, идет дождь, падают желтые листья, и вдруг с неба посыпал снег, и на миг горькое, свежее, как запах антоновских яблок, мелькнуло, пронеслось и коснулось меня, словно холодное веяние осеннего сада, воспоминание детства.

Как далеко и давно это было. Было ли? И зачем я здесь, зачем в этот осенний вечер я не у зеленой лампы, в доме, с отцом и матерью, с сестрами и братом? В тот день они все еще были живы.

Когда я вышел на улицу, то почему-то казалось, что троллейбусы спускаются откуда-то сверху, с каких-то неизведанных высот, а я совсем маленький, далеко внизу, где-то на дне оврага. Но постепенно это чувство прошло, и я вошел в темноту, в ветер и дождь, пронизанный желтыми фонарями. Я был одним из сотен и тысяч, идущих справа и слева, впереди и позади по улицам. Вспыхивали и гасли светофоры, бежал в темноту неон, пролетали зеленые огоньки такси, кружились вокруг фонари и желтые листья, и падали, падали, устилая тротуары, и щемящее чувство только что пережитого унижения, придавленности уступило место другому чувству.

Уйти, и уйти, и никогда не вернуться, исчезнуть, пропасть из виду.

Это был очень сумрачный вечер, и казалось, что все эти люди шли и ничего не знали, и не хотели знать о том, что происходит в том душном, в том диком конференц-зале. А может, они сами возвращались с таких собраний? Да, подумал я, они были или будут на таких собраниях, никто не минует их. Это сейчас как обряд на древней Руси, соленая, горькая купель.

И уже казалось, все люди идут с собраний или на собрания, и у них были замкнутые, суровые, проработан-

ные или проработочные лица, и у них были бдительные физиономии, и если кто взглядывал на тебя, то казалось, он тянул тебя в свою повестку дня.

Темные, рваные, страшные тучи летели в небе над городом, над далекими крышами, над высотными зданиями. Казалось, и они убежали с собраний, с своих сумасшедших небесных собраний, и в немоте неслись куда-то, чтобы укрыться.

Постепенно я все понял, всему научился. Ведь вся эта жизнь была при мне, и как сквозь мясорубку я пропущен через манифестации и погромы, похороны жертв революции и осьмушку черного хлеба, обыски и реквизиции, через биржу труда подростков и махорку, через комсомольские организации и чистки, закрытые расследования, энтузиазм и ожидание ночного звонка, через любовь к великому другу и корифею всех наук, через внезапное нападение и окружение, блокады и прорывы, через фильтрующие лагеря, через Победу и через космополитические собрания и превентивные допросы, проверки и обмены, анкеты, анкеты и анкеты, иллюзии, иллюзии, иллюзии, вечные подозрения и вечную вину, и все это, как годовые кольца, обнажилось во мне.

Я и позабыл то время, когда у меня было внутреннее спокойствие и ясность.

Ты все ждешь, ждешь лучшего, все время живешь надеждой, и когда однажды в пустынный безмолвный медленный час, в роковой час, поймешь, что ничего дальше не будет, что дальше будет все то же и то же, и нечего больше ждать... Когда ты это поймешь, почувствуешь, а главное, поверишь в это, вот тогда будет конец.

В сущности, всю твою жизнь ты был под подозрением, ты был виноват, и так это уже въелось, что ты и сам привык к этому, пропитался этим духом и всегда чувствовал себя виноватым. Недород, смута, оппозиция, двурушничество, провал плана, саранча, черепашка, политическая спекуляция, гнойник, смерть вождя, оч-

ковтирательство, дворцовый переворот, бунт где-то далеко, за тридевять земель, и ты про себя сразу же чувствовал себя виноватым и ожидал наказания. И оно не замедляло приходить. Что бы ни случилось, отыгрывались на тебе, зажимали тебя и ты за все был в ответе.

Вы же не хотите знать, что испытывает мышь, или кролик, или муха дрозофила при эксперименте, как им больно, как они кричат молча, немо, как они прощаются с жизнью, может, понимая, что вся жизнь еще была впереди.

Чувство виновности, неотчетливое, я влачу за собой всю жизнь. Такое неотчетливое, непонятное, живущее во мне крепче всех других чувств, растворенное во мне, словно я родился с ним. И еще чувство беззащитности, чувство, что с тобой можно все сделать, во всем обвинить и за все наказать.

Кабинет его, как обоями, был обклеен афишами с его портретами, и за стеклами книжных шкафов знаменитые люди и звезды, и вся жизнь была на свету юпитеров, на ликовании, на овациях, на вечном допинге. А ты день и ночь, всю жизнь мучаешься и работаешь неизвестно для кого и для чего, и пишешь о том, что как будто никого и не интересуешь, и всегда в тени и забвении. Никогда ты на сцене не стоял и никто не преподносил тебе цветы, и даже смешно представить, что тебе преподносят цветы. А день идет за днем, а потом оказывается, что все, что делал тот счастливец, — труха, пыль, истертая солома из старого тюфяка, а у тебя золото, тяжелый брусок платины, но ты уже ничего об этом не знаешь, тебя уже нет в живых, и новым счастливецем вырезают бумажные розы, и красят их, и ходят они по солнечной стороне улицы, и все улыбаются, и они пляшут на всех свадьбах.

Еще была одна страшная ошибка, описка жизни, пагубное представление, будто только тобой и занимают-ся, все о тебе знают, каким-то чудом знают даже твои мысли, и уже гораздо позже, через много лет, ты понял, ты точно установил, что все, что о нас знают, знают от нас самих.

Во время либерализации на всех площадях появились голуби, а когда стали зажимать гайки — исчезли и голуби. Ранним утром по голубым рассветным площадям проехала огромная черная машина с реактивной всасывающей трубой и втянула их сразу, стаяй, со всеми их голубиными мечтами.

Жизнь напоминала то грипп, затяжной, замороченный, тоскливый, тусклый, когда ничего не хочется, когда вокруг все как в вате, серо, болезненно, то менингит с высокой температурой, с кошмарами, пропастью смерти, когда ты летаешь уже на том свете, среди белых ангелов, то припадок с манией преследования, страхами, галлюцинациями, хаосом безумия и редкими просветами свежести, радости, надежды. Иллюзий больше не было, да, иллюзий не было. Все тупее и все нелепее становилось все, буквально все, и в мелком, и в крупном, масштабном.

Все шиворот-навыворот, все стало на голову, стало своей противоположностью, врагом самому себе, самоудушающей удавкой, электрическим стулом, все стало гангренозным, с черными необратимыми пятнами, все, куда ни глянешь, что ни тронешь, чего только ни коснешься, о чем только ни подумаешь.

— Биологически все кончается, — сказал он. И слава Богу, что кончается, что уходит это отравленное страхом поколение, зараженное стафилококками, глупостями, нелепостями, которое уже не в силах отойти от того, что было, хотя и понимает, что было не все в порядке, горько усмехающееся над собой поколение.

Очень уж велика цена даже за вечное освобождение, даже для достижения райской жизни.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР БЕЗ МЕНЯ

Да здравствуют собаки! Да здравствуют тигры, попугаи, тапиры, бегемоты, медведи-гризли, да здравствует птица-секретарь в атласных панталонах и золотых очках! Да здравствует все, что живет вообще, в траве, в пещерах, среди камней! Да здравствует мир без меня.

Юрий Олеша

1

Я не знал его в пору славы, молодого успеха, высокомерия, в годы „Зависти“ и „Трех толстяков“, дружбы с Маяковским и Мейерхольдом, газетных интервью и театральных премьер, метафорической речи на Первом съезде писателей, когда после странной и страшной уничтожительной исповеди он уходил, провожаемый овациями, в пору бесчисленных планов, счастливых сновидений, дерзких выходов, „во всем блеске своего безумия и таланта“.

Нет, я узнал его в послевоенную пору возвращения из эвакуации, потери квартиры, забвения, нищеты, затравленности, не принятого временем, не принимаемого в расчет, загнанного в угол, в пору перелицовки „Идиота“, починки и глажки чужих сценариев, автора цирковых реприз и авансов, в пору договоров, более похожих на подаяние, судебных повесток, кредитной рюмочки коньяка в кафе „Националь“, в пору славы ресторанныго акына, окруженного странными случайными субъектами, известного в Москве больше как человек из легенды, и в пору видимого и очевидного всем бесплодия и невидимого тайного расцвета, мучительного и не по правилам создания своей Главной книги, шедевра новой русской литературы „Ни дня без строчки“.

Смотрю на его фотографию в этой книге. Сильное, я бы сказал, мощное страдальческое лицо с прищуренным, почти закрытым глазом, а в открытом затуманенном глазу, взгляните, да, взгляните — какая усталость, потусторонность, взгляд, ушедший в себя, в воспоминания, в дальнюю прекрасную жизнь, от которой остались осколки, в прошлое, только в прошлое, будущего уже нет.

А лицо, сильно, мощно вылепленное, словно высеченное из камня, лицо стареющего матадора, которого давно, несправедливо и неоправданно задолго до срока заставили выйти из игры, лицо с окаменевшей в нем силой, упрямством, честолюбием.

За спиной на фото роскошные общественные канделябры, очевидно, чей-то служебный кабинет, а он в сереньком клетчатом пиджачишке, с широко повязанным узлом галстуком, со сложенными на груди большими руками мастера, и еще усики. Я со временем совсем забыл, что у него были усики, не тонкие, кавказские, а широкие, старинные, вальяжные усики одесских негоциантов и капитанов. И эти усики вместе с тяжелым подбородком, впалыми щеками, прищуренным глазом выражали, подчеркивали как бы брезгливость к пережитым мукам, нанесенным обидам, ко всему, с чем приходилось ему сталкиваться и чему он хорошо знал цену.

Он сам точно определил свой абрис: объемистый. Да, да, он был именно объемистый, широкоплечий, с борцовым разворотом груди, с львиной головой на торсе циркового борца.

Могучий, плотный, похожий на скульптуру Родена, он мастер, он художник, каменотес, ваятель, гранильщик алмазов, походка его в старости не шаркающая, а упругая, пружинистая. Он идет на работу, он идет к себе в студию, в мастерскую или на натуру, на пейзаж, на вечную каторгу. Он даже за столик „Националя“ садится, как мастер для работы, устраивается надолго, основательно — слева положил коробку папирос „Каз-

бек“ и спички, справа придвинул пепельницу, отстранил тарелку, нож, вилку, очистил место, попросил бутылку „боржома“, налил в большой бокал, выпил глоток, казалось, засучил рукава.

Совсем не помню, как я впервые встретился с ним, не вижу, как мы знакомимся, впервые подаем друг другу руки, как мы оглядываем впервые друг друга, смотрим в глаза, просто сразу разговаривает он со мной, как с равным, серьезно, умно, доброжелательно. И это, конечно, после войны, потому что он уже знает меня как автора.

Я не дружил с ним, я никогда и не выпивал с ним, но ежедневно, да, как по заданной программе, ежедневно вечером в те далекие, но и совсем не далекие годы после собраний, после тех долгих удушливых собраний по борьбе с формализмом, с идеализмом, с космополитизмом, с веселовщиной, с достоевщиной я приходил в теплое, уютное и ярко освещенное, с наивными световыми эффектами кафе „Националь“, где всегда за угловым столиком, вдали от оркестра сидел Олеша, окруженный разными прилипалами, приживалами его духа, но бывал и один, за чашечкой кофе, и тогда я подсаживался к нему и он тотчас же своим глубоким рокочущим голосом спрашивал: „Ну, что слышно?“ — что слышно в том большом, том ужасном и не понятном, в том действующем сейчас мире, где он, как потухший вулкан, как погасшая домна с закозленным металлом, задушенный, с кляпом во рту.

Я хорошо помню тот серый и скучный осенний вечер, когда дождь хлестал по большим витринным окнам „Националя“. Мы сидели за тем же угловым столиком, перед ним стояла маленькая чашка кофе, и он рокочущим голосом фантазировал: „Весь мир ликвидирован и от всей цивилизации осталось только одно маленькое королевство в юго-западном краю Африки, и там королем — мальчик. Он ходит на руках, вверх ногами и вниз головой и требует того же от всех своих подданных, и подданные, у которых склероз, гиперто-

ния, сотрясение мозга, стенокардия, все без возражения ходят вниз головой, получая инфаркты и инсульты и все-таки сумасшедше повторяя в один голос: „О как мудро! Только так и надо ходить!“

Это был день долгого собрания, на котором кого-то распинали, я пришел с этого собрания усталый и опустошенный, и, когда слушал его сказочку, у меня появлялась надежда, что безумие все-таки кончится.

— Я, может, через час умру, мне осталось жить один час. — И внезапно он переходил на бормотание с самим собой: — Назначена кошка. Кошка сказала „мяу“! Мудрые слова кошки.

И потом, снова глядя прямо в глаза, серьезно, уверенно:

— Люди планете не нужны, они нужны только для труда и войны. А когда все будет управляться по радио, останутся только двести человек где-то в дальнем юго-западном углу Африки, и там будет дитя диктатор. „Всем ходить сегодня на голове!“ И все пойдут на голове. Все двести человек.

И опять переходил на бормотание с самим собой:

— Я император, я император.

Это насчет напечатанной сегодня в газете хроники встречи императора Эфиопии Хайле Селассие.

И вдруг взрывчато по поводу неожиданного переименования города Чкалова снова в Оренбург:

— Но почему? Мы же нация. Скажите нации, в чем дело.

И вслед за этим о своей безотчетной любви к одной даме:

„Я из-за тебя пить стал“, — сказал я ей.

„А тебе бы только выпить“, — отвечала она.

И Юрий Карлович удивленно хохотнул.

Помню, еще Олеша рассказывает весь вечер о матросе Ильченко из давних времен одесской гражданской войны:

— Матрос Ильченко мой друг, колыт в восемь зарядов. Он меня спрашивал:

„Юра, кого шлепнуть?“

„Не надо, Ильченко“.

„Ты не вилай, скажи, кого шлепнуть? Хочешь, профессор Щербакова шлепну?“

„Не надо, зачем?“

„Ну скажи, кого шлепнуть?“

И сразу же без перехода:

— В литературу идут теперь конокрады, они въезжают в литературу на краденых конях.

„Ты сохранил черновик?“ — спрашивает один литератор другого. „Зачем?“ — „А если кто-нибудь скажет, что это не твое?“

О Фадееве:

— „Юра, здравствуй! — костяные уши Каренина, хохот. Секунда, и он уже тебя не видит и через твое плечо кричит: — Валя, здравствуй!“

О Зощенко:

— Теперь все говорят языком Зощенко. Министр культуры говорит языком Зощенко.

— Федин? — спрашивает он как бы самого себя. — Это заложник высокой эстетики.

О Караваевой:

— Когда Гофман пишет „вошел черт“ — это реализм, когда Караваева пишет: „Липочка вступила в колхоз“, — это фантастика.

Вот я вижу, как входит в кафе преуспевающий литературный делец, только что сдавший на вешалку шубу и бровную шапку, в модном жупане электрик, с ватной грудью, с поднятыми ватой квадратными плечами — подушками, и роскошным голосом спрашивает засыпающего над коньячной рюмочкой, засыпанного перхотью и пеплом Олешу:

— Ну что нового в микромире? Мало пишешь, — говорит он, — я ведь в одну ночь могу прочитать то, что ты написал за всю жизнь.

— А я в одну ночь могу написать то, что ты написал за всю, всю жизнь, — вскинувшись, отвечает Олеша.

Большоголовый, с окаменевшим сильным лицом, выстрадавшим нереализованную мощь, скорбь и усталость, сидел он у большого окна, из которого видна была зубчатая стена Кремля у Александровского сада.

— Оранжад! — произносил он, как бы пробуя это слово на слух, на вкус. — О ранжад! — и пепельная грива бессильно падала на лоб.

Однажды к столику Олеша, за которым собралась компания, подошел человек.

— Я вижу, у вас интересная компания. Я ведь тоже могу кое-что рассказать. Я участвовал в расстреле Николая II.

Олеша вскочил:

— Хам, да как вы смели, помазанника божьего!

Как-то долго его не было.

Оказалось, Юрий Карлович запустил табуреткой в телевизор. Он никому не сказал, что его рассердила пошлая, банальная пьеса одного ведущего малоформиста. Но окружающие перепугались за последствия и решили, что благоразумнее будет потушить дело, упрятав концы в клинике, и Юрий Карлович покорно дался в руки приехавшим санитарам Соловьевки.

— Ну одень шапочку, — сказал санитар, у них все называется „шапочка“ — и кепка, и шляпа, и берет. — Одень шапочку, поедем, милый, там пообедаем, выпьем 100 граммов.

Потом он мне рассказывал о Соловьевке удивительно точно и тонко, как привезли его и он быстро и привычно вошел, словно в свой дом, где все уже было знакомо и стояло на своих обычных местах, и люди были очень хорошие, очень честные и порядочные, доброжелательные, и как они прелестно его встретили, и как хорошо он с ними разговаривал. Это был рассказ о кусочке рая, благоразумном уголке в этом нелепом и тревожном, подлом мире.

— Вы ко мне? — спросил меня человек. Смарагдовые глаза, тонкие уши, трогательное безумие, хороший

артельный парень. — Юрий Карлович, свезу тебя в Мюнхен, покажу тебе Мюнхен, коктейль-холл, рок-н-ролл — все будет!

Наступает тишина. И так хорошо. Хорошо там, лучше, чем на воле.

Потом я слушал его беседу с другим клиентом Соловьевки. Они вспоминали, и один другого спрашивал:

— А по психодрому вы гуляли?

Какой-то вечер, один из тысячи унылых, постных, пустых московских вечеров нашего времени. Мы возвращались из „Националя“, как обычно, в первом часу ночи, кафе к этому времени уже закрывали в двенадцать, а не в три, как раньше, при Сталине.

Юрий Карлович шел рядом, печально усталый после дня не работы, нет, от работы усталость здоровая, я бы сказал, сильная и уверенная, требующая отдыха и нового прилива работы, а это была какая-то опустошенная усталость от беспцельного, бессмысленно, непонятно как проведенного дня. День был, как пустая скорлупа без ядра, без личности, куда-то он ходил, с кем-то о чем-то договаривался, думал, где бы перехватить купюру, строил прожекты. Были и вспышки яркого прозрения, жажда работы, и он что-то где-то и записал, только сейчас не помнил, может, на папиросной коробке, которую аккуратно выкинул в урну, а может, просто на клеенке в диетической столовке, а может, и совсем не записал, а только думал записать, и осталось ощущение чего-то пронзительного, магического, и оттого, что не мог вспомнить, что именно, совсем пал духом и готов был рыдать.

Мы вошли в метро „Охотный ряд“, в этот час уже пустое, опустились одни, прошли станцию на эскалатор перехода, и как раз над этим эскалатором, под потолком, на бетонной стене десятилетиями был бронзовый профиль Сталина, теперь снятый, срезанный, замазанный, заштукатуренный, и все-таки который уже год след все не засыхал и виделось сырое пятно,

какой-то странный силуэт. Юрий Карлович поднял голову, печальные глаза его скользнули по этому оттиску, просвечивающему сквозь штукатурку, этой тени, некогда великой и грозной, и в глазах его вспыхнул свет, ирония, восторг, и, разводя руками, он сказал:

— Уже никто и не помнит, кто тут был — Циолковский?

2

Трудно писать, трудно верить в свою звезду, когда книги твои преданы забвению, сценарии запрещены, пьесы не ставятся, только устные байки передаются из уст в уста, как легенды, и вообще весь ты со своими художественными химерами, метафорами, своим отшельничьим образом жизни как-то нелеп, не ко времени на этом фоне пробивной, удачливой, горластой литературной шатии, на фоне этих многотомных эпических романов, похожих на вулканы дымящейся ваты.

Может, это и раздробило его фантазию, погасило запал вдохновения, укоротило дыхание и обрекло на строчку, на эскиз, на пунктир, за горизонтом которых угадываются мощные трубы современного романа.

Вокруг кипела, суетилась, пресмыкалась литературная и околотитулатурная жизнь. Вокруг рвали, хватали, обогащались, диктовали эпопеи, писали скорописью, нанимали белых негров, а он жалко, нечаянно, на клочке бумаги, карандашом записывал свои странные, как бы отраженные в зеркале, почти наркотические видения.

„Сегодня, 30 июня, начинаю писать историю времени“.

Что это? Импульс, каприз, фантазия, гонор, сумасбродство или глубокая вера, или в этот миг, освобожденный от судьбы, он видел даль свободного романа?

Многое в последние годы жизни мешало ему выра-

зиться в романе, в повести, в рассказе, а может, судя по последней и, как мне кажется, вершинной книге — „Ни дня без строчки“, — он просто природой был создан вольным, наивным, беспредельно недисциплинированным художником мгновения, моментальной записи, романа-отрывка, романа-строчки. Некоторые его записки и стоят романа, поэмы. Это роман в почке, в зародыше, в семени — все в нем уже есть, все записано в генах: и атмосфера, и ритм, и коллизия, и сюжет, и характер главного героя, завязка и развязка, кульминационная точка, начало и конец, пролог и эпилог. Но и то, что не написано, то, что между строк как бы написано симпатическими чернилами, витает в воздухе, проступает медленно и торжественно, как на переводной картинке, и помнится долго после того, как прочтешь. Может, он тот художник, который только вспышкой, только извержением устает и исчерпывается, и дальше ему просто становится скучно и все остальное кажется ничтожным. Ведь для завершения, для отделки нужна какая-то доля посредственности, усидчивости, натужности.

„Попробовать?“ — и он записывает по живому впечатлению, по живому воспоминанию. Но, возвратившись к этому на следующий день, на следующей неделе, через месяц или год, видит — это уже мертво, скучно, и пошли многоточия... Погасла вспышка, где все было красочно, волшебно, радовало и восхищало.

И так идут дни за днями, месяц за месяцем, год за годом. „Попробовать?“ Каждый день, каждый час, каждую минуту своего существования он работает. Он неустанно смотрит, впитывает окружающее своим удивительным стереоскопическим, стереофоническим взглядом, запоминает, перерабатывает в себе. И каждый день, непонятно и неизвестно почему, в какой-то час, в какую-то минуту включается зажигание, вспышка и записывается строчка. И еще строчка.

И вот у нас книга, удивительная, редкая, единственная.

Именно здесь, где он не был связан, скован, запеленат формой, сюжетом, где он был свободен, где все — воля, все — воздух, именно здесь самая большая и редчайшая удача его писательской жизни.

В этих свободных мгновенных записях вулканическая мощь романиста Бальзака, волшебство и щедрость сказочника Андерсена, наивность и искренность лирики Блока.

Тут он чувствует свои силы, он играет ими, как циркач гирями.

— Я могу из пасти любого животного вытаскивать бесконечную ленту метафор, — сказал он мне однажды на улице Воровского, у крыльца клуба писателей, где мы, встретившись, как обычно, остановились поговорить. Потом я прочитал эту фразу в книге. Повторил он ее мне тогда записанной или она только тогда родилась у меня на глазах? Я слышал потом, что он и другим это рассказывал. Очевидно, у него существовал метод отшлифовывания в устных разговорах любимых мыслей, фраз, образов, новелл. Говоря, он проверял впечатление, внутренне продолжая работать, шлифуя, усиливая.

Он не составляет заранее плана сочинения, да и бесполезны были бы эти планы. Ничего бы они не родили. Он пишет только то, что видится в этот миг, что явилось внезапно из детства, из юности или из вчерашнего или сегодняшнего дня, и, куда это после пойдет — в конец или в начало или останется само по себе, как красивый бесполезный, но зачем-то все-таки выросший, зачем-то живший цветок, — выяснится после. Он собирает свою книгу из осколков, как мозаику.

„Ни дня без строчки“ — это не только книга, это история его жизни на земле, что он думал, что он видел, что открыл, на что надеялся и что получил, и куда пришел.

Ах, этот коренастый, широкоплечий старик с львиной седой гривой среди бурной, нелепой, перепутанной

жизни, эпохи „позднего реабилитанса“, борьбы с культом личности, жилищного кризиса, кукурузного ажиотажа, первых за полвека туристских поездок, среди дутых карьер, пухлых романов, магнитофонной прозы, восстановления воинской чести, паники перестройки, которая потом стала называться вблонтаризмом, всеобщей ломки. И старый, седой, задыхающийся поэт, сидя в кафе, подробно, с любовью описывал табачную лавку в далекой Одессе, хозяина и жену его с вопросительным акцентом, синюю царскую марку достоинством в 7 копеек с маленькими зазубринками, и капельдудку, сидящего верхом на белом коне и дирижирующего оркестром, играющим в кафе на бульваре, глубоко все понимая, недоумевая и страдая от происходящего вокруг.

Он раздавлен, и уже нет сил на композицию, на гигантскую постройку. Да это и бессмысленно, ибо законченный образ мира — нож времени зарезал все, оставив только воспоминания младенчества, детства — стал невозможен, смертельно опасен, а без работы нельзя.

Впечатлимость, ранимость обострились, зрение ребенка не ослепло, мир, многократно, летуче отраженный в зеркалах воображения, продолжал жить и мучить, и на папиросных коробках „Казбек“, которые он любил, на мягких ресторанных салфетках, на судебных повестках и отрицательных рецензиях, а иногда на преходящем мраморе пивного столика огрызком случайного карандаша, одолженного у официантки, у швейцара, который только что этим грифелем подводил сальдо-бульдо мятых рублевок, деля их между всей артелью, он запальчиво записывал эти судорожно быстрые, мгновенные вспышки воспоминаний, фантазии, которые, казалось, никому не нужны, кошмары снов, похожих на явь, и явь, похожую на страшный сон, и эта строчка в день помогала ему жить, не задохнуться, не умереть.

Читаю „Ни дня без строчки“ и вижу его.

Он побывал сегодня в нескольких редакциях насчет аванса, но у одного редактора был творческий день, другого вызвали в высшую инстанцию, третий, узнав, кто пришел, велел передать, что у него совещание, хотя он в это время пил чай с козинаками. Он был и в дирекции театра, для которого делал заказную инспекцию, где с ним еле разговаривали и велели прийти на следующей неделе. В Союзе писателей он сидел долго в приемной у дверей набоба, откуда выходили ведущие, озабоченные государственными мыслями и личными делами, и даже не раскланивались с ним.

Сидит он в старом, потрепанном клетчатом пиджаке, поджав под стул ноги в рыжих разношенных башмаках, и молча глядит на них исподлобья, как-то сбоку, прищурившись, и вдруг видит то, чего никто не видит, как будто из пасти зверя вытягивает длинную ленту метафор, и он счастливо смеется. Большеголовый, ушибленный добротой, бескорыстный грустный ребенок. Ни тени зависти, корысти, как будто чувства эти были у него вырезаны или просто природой не даны. И, не дождавшись приема, он побрел в кафе „Националь“, выпил в долг у официантки Муси рюмку коньяка и получил чашечку кофе с булкой.

А домой идти страшно и не нужно. Получена повестка в суд, какая-то киностудия требует возвращения аванса за сценарий, о котором он забыл даже думать. Принесли счет за телеграмму, которую он кому-то посылал, неизвестно зачем и почему. Для чего-то вызывают к участковому. И почему-то вдруг заинтересовался им оргсекретарь. Есть еще открытка от районного психиатра.

Вот и все новости, все положительные эмоции на этот день.

Давно, ах, как давно уже нет договоров с журналами и издательствами. Он даже забыл вид этих типовых

договоров. Это было в другой, не его жизни. Уже много лет, много лет, почти четверть века не звонили из редакции, не интересовались, над чем он работает. Только еще изредка какой-нибудь второстепенный театр или провинциальная киностудия или цирк или эстрада давали авансы, только авансы. Все и кончалось авансом. И теперь дела у него все время с юристами, судьями, с судебными исполнителями, а не с редакторами, режиссерами, корректорами.

Он только вернулся домой из города, старик, усталый и исчерпанный, и было заходящее солнце в окне. И вдруг что-то сверкнуло в воздухе, почему и как, этого никто и никогда не узнает, и он увидел, как вырезали доспехи из картона 55 лет назад. Словно засверкал, заструился синематограф. „Я держу голубеющий в сумерках картон. Боже мой, вот сейчас я протяну руку, картон опять окажется в моей руке — и мгновение повторится!“

А ведущие в это время еще сидели на заседаниях, выступали в прениях или слушали, как другие выступали в прениях, завидуя им, перезванивались по телефону, узнавали, кто и что и по какому поводу сказал и кто и что за это получил. И он, старый, седой, голодный ребенок, вспоминал до галлюцинаций „сумерки в столовой, той столовой на Греческой, выходящей в стену, в окно Орлова“. Юрий Карлович, милый, дорогой Юрий Карлович!

Какое чудо в этих простых словах и простых событиях — как мальчиком с бабушкой он пришел в гимназию поступать в подготовительный класс, как он утром однажды встал и слышал какие-то гудки, и они были печальные, и печаль казалась непоправимой.

Лазерный луч, проникающий вглубь, в тайну детства, приближающий так ясно, что не только видишь, но слышишь и осязаешь синий патрон римской свечи, и тяжелую золотую монету, и стеклянные двери, стоящие поперек дома, полного солнца, и серый теплый булыжник, и большую, толстую серую бабочку почти в мехах.

Колдовская книга с отражениями, словно вынутыми из выгнутого зеркала, с видениями, словно снятыми с окуляров морского бинокля.

Писать ее можно было только в отчуждении от мира суеты, сиюминутных переживаний, сиюсекундных обид, просто некогда, просто смешно и нелепо было бы все это вспоминать человеку, торопящемуся на собрание с тезисами речи, как и человеку, награжденному сегодня или вчера орденом или накануне назначенному на должность и думающему о том, как на него поглядел первый секретарь.

Нет, ничего не было вокруг, не было никаких кровных и нервных связей с окружающей жизнью, полная отчужденность, полный вакуум, и только в этом разреженном воздухе можно было с таким ясновидением, с такой тоской и раскаянием вызывать те детские дни и ощущения.

Да, для того, чтобы так пристально вглядываться в дальнейшее детство, вертеть волшебный калейдоскоп, надо быть свободным, всегда свободным, от всего свободным, мотыльком, захлебнувшимся в полете единственного, отпущенного судьбою дня, и еще в этой панике жизни, в этой толкучке, в этой схватке, в этой сумасшедшей очереди оставаться кротким, наивным и ничего не желающим ребенком, всему удивляющимся.

И только в этом отстранении от жизни, в том числе от своей собственной жизни, в этом не придавании значения самому себе и в полном растворении в окружающем мире можно было с радостью, с верой и правдой ликующе воскликнуть: „Да здравствует мир без меня!“

4

Все замечают поэзию книги, ее светоносность, наслаждаются, пьют из чистого источника. Но почему-то никто не отметил ее ужас, безысходность, разлитый в ней страх перед вдруг наступающей исчерпанностью.

Вот сверкнула ослепительная вспышка и, как с высочайшей вершины, открылась равнина жизни, и колдовской луч, уходящий в младенчество, в детство, самовольно, пронзительно схватил какой-то дальний, затемненный уголок — гимназию, полет Уточкина, классную комнату — и приблизил к глазам. И видна тонкая кисточка, которая только зачеркнула кармин, вот он сейчас начнет ложиться на александрийскую бумагу, рождая лепесток мака, язычок, почти шатающийся на бумаге, как под ветром...

И сразу обрыв, все угасло, оглохло, тьма, смерть прозрения, немое ощущение дождевого червя.

Разве вы не слышите крика почти на каждой странице, заглушаемого вдруг тьмой и рыданием во тьме, бессильным, старческим, могучим рыданием неосуществленных возможностей, задушенной силы, умерщвленного плода. Оттого-то и вспышка так великолепна, так слепяще ярка, чрезмерна, что вобрала, впитала в себя все невыданное, все накопленное, все скрытое, похороненное под пеплом, под перхотью рано, так безумно рано наступившей старости.

И этот страх перед вдруг наступающей тьмой, немой, глухотой, этот страх почти в каждой картине. Он подгоняет воображение, он торопит, терроризирует, как взмыленного коня, подгоняет фантазию: скорее, быстрее пиши, пока тахикардия воображения, шпоры, пока ярко включены и движутся цветные тени волшебного фонаря-воспоминаний, пока гудит в ушах ритм сотворения мира. И отсюда, из этого страха столько повторений и восклицаний, несказанное удивление, упование видимым, слышимым.

„Цинк! — произносили значительно. — Цинк!“

„Макс Линдер, — слышалось на улице, — Макс Линдер“.

„Нет, нет, только не Еяни, — кричал папа вдогонку, — Синценбахер!“

Скорее записать, закрепить на бумаге. А зачем это? Куда это? Как соединиться, как сплавиться воедино, в

какой композиции, в какой соразмерности? Но это и не надо. Эти оборванные, недопетые строфы висят ключьями, обнаженными жилами, шевелящимися нервами, истинный, загадочный смысл книги именно в этой недопетости, незавершенности, клочковатости, открытости, болезненной живой судорожности, словно перо-самописец чертит муки, изломанные, вихреватые линии этой загубленной жизни.

„Меня сейчас интересует только одно — научиться писать много и свободно. Пусть это будет о краске кармин или о маке, пусть это будет рассказ об уроке рисования в гимназии, когда мы, сидя в актовом зале, рисуем с натуры чучело ястреба“.

В этой разорванности, в этих скачках светового луча, капризно вырывающего из тьмы времени то часы Бершадского на Дерibasовской, то костел на Греческой, то вечернее возвращение на лодке из моря в город... И в этой готовности все описать, лишь бы писать, лишь бы рисовать, — последний взрыв самолюбия, жизненной силы, надежды, отрицание смерти.

„У нас это были уже дни весны! Они пахли горьким запахом травы! О, подождите! Подождите! Сейчас я услышу этот запах! Сейчас услышу!“

В рассказе о журналисте Милославском и его ручной лисице с глазами, „как у девочки, чуть, впрочем, светлее, чем у девочек, и чуть, я бы сказал, не мотивированнее“, вдруг странное, врывающееся, тоже как бы немотивированное замечание: „Сегодня во второй половине дня началась весна...“ — пронзительное по своей растерянности, беспомощности, мудрому пониманию все идущего, все летящего, все рушащего времени, которое уже как бы ни при чем в его жизни, а может, очень при чем, но ничто уже не дает и не может дать. „Сегодня во второй половине дня началась весна...“ — и запись обрывается.

Только легкая грусть, только мягкая прощальная тоска, железное понимание необратимости, неотврати-

мости и яростная борьба и сопротивление старости („Старик! — Нет, не обернись!“).

Наблюдая похороны, он вдруг записал: „...впереди была жизнь, полная дней жизнь“.

„Как много было впереди, даже та сцена, когда... мало ли какая сцена была впереди...“

Уже нет сил.

Нет бензина, который можно было бы плеснуть в пламя, чтобы оно разгорелось, размахнулось, все залило, повело за собой. Да и к чему они, эти воспоминания, кому они нужны? Тоска. Что это, писательство? Нет, это описание агонии.

„Граненый и желтый от налитого чая стакан за копейку“ и пронзительная мольба: „Благословляю тебя, стакан гимназического чая, не покидай моей памяти, не покидай“.

Вдруг все оборвалось. Пустыня, исчерпанность.

И фраза, причиняющая боль: „Я ни на что не хочу жаловаться, я хочу только вспомнить, как стоял Гриша Богемский в белой одежде „Спортинга“, позируя Перепелицину для фотографии...“

Лишь бы писать, о чем угодно, лишь бы был труд, ощущение жизни, нужности пребывания на земле. И вызвать из тьмы те далекие, слабые и яркие отпечатки — синий булыжник мостовой, черные с красным мундиры солдат, рыжее севастопольское солдатское шинельное сукно, бочкообразную грудь и ласковые усики матроса.

Ничего больше у тебя нет, кроме воспоминаний. Да что, в сущности, собственно говоря, должно быть у поэта, кроме воспоминаний. Это его железные когти.

„Это Лидерсовский бульвар. Так ли это? Память, ты еще существуешь? Это Лидерсовский бульвар“.

„Я устал! Боже мой, смилуйся надо мной. Мы идем — пять или шесть подростков, — идем на футбол!“

Стон преодолевшего тьму отчаяния, стон сильного, безумящего от придавленности, от отчуждения чело-

века. Вокруг жизнь, журналы, собрания, съезды, указы, премии, видимость деятельности, а он описывает, как мальчиком покупает у стройного, как столбик, еврея в кредит за 5 рублей бутсы. Вы знаете, что такое бутсы? Вы не знаете, что такое бутсы.

Бутсы — синяя гильза ракет, квас за зеленым прилавком, синий булыжник, рев зверей в цирке, плоскодонка, красные кресты на окнах аптеки, бутылки с крашеной розовой и желтой водой. Для него это спасательный круг в шторме жизни, захлестывающей его, захлебывающегося соленой водой и слезами жалости к себе. Это соломка, за которую он цепляется. Разве вы не видите, это соломка, он цепляется уже обессиленными пальцами, обессиленной фантазией. Но это чудо-соломка высокой поэзии. И он выплыл, и у вас чувство, что он идет мощным беттерфляем под водой и над водой, разрезая волны, как торпеда, красивая и могучая торпеда поэзии.

5

Олеша в 32 года, для нашей современной литературы в юношеском, начинающем возрасте, написал „Список благодетелей“, который ставил великий Мейерхольд („Мой Маржерет, которого Мейерхольд пустил носиться по сцене не больше не меньше как с плеткой в руке, ничуть не бледнее Фейланда, исландского драматурга“).

Через четверть века, когда Мейерхольд давно уже был убит и вообще все были перебиты или раздавлены и он, Олеша, тоже был заживо измолот и занимался перелицовкой и починкой чужих пьес, его однажды позвали в Малый театр, где средней руки режиссер ставил пьесу известного исландского литератора Лакснеса, к тому времени Нобелевского лауреата.

Маленький, с львиной гривой мастер, который на сей раз занимался литературной штопкой, какими-то

затирками перевода пьесы Лакснесса, почти не был представлен именитому иностранцу, во всяком случае, тот как-то даже не обратил на него внимания, смотрел как на служивое лицо, и между ними не было произнесено ни одного слова.

После репетиции литератор крохотной островной республики ушел в роскошные апартаменты „Метрополя“, а Юрий Карлович шаркающей походочкой к своей кредитной рюмочке в кафе „Националь“.

Все, что произошло, а вернее, не произошло между ними, случилось всего минут десять назад, время, необходимое, чтобы пройти от Малого театра к „Националю“, и Юрий Карлович как-то печально, незлобно, но в глубокой тоске произнес:

— Высокомерный господин.

В этот вечер Лакснесса чествовали министр культуры, секретариат Союза писателей и Театральное общество. Говорили речи, пили шампанское, ели черную икру, а Юрий Карлович... никто не знает, где был в этот вечер Юрий Карлович. О приеме Нобелевского лауреата на следующий день писали все газеты, вряд ли Олеша читал их.

Я рассказал этот случай одному умному человеку, и он тут же мне сказал, что Лакснесс — гениальный писатель. Возможно. Как бы валилось все мое построение. Ну, что же, гению гениево. Я чувствовал себя замкнутым в комнате дураком. Но ведь негениальный Олеша для меня выше и бесконечно важнее. Я уже могу не читать Лакснесса, и, думаю, меня не убудет, а „Ни дня без строчки“ — осколок моей жизни, живой страдающий комок моих нервов, и после этого арктическим холодом льдов дует на меня с лакированных гениальных страниц Лакснесса.

Нет, никогда Олешу не приглашали на встречу с вождями и соратниками вождей.

Никто не звал его на балы поэзии, на всякие литературные акафисты, обедни, серебряные и золотые свадьбы. Не сзидил он на литературные тои, ни на Шота

Руставели, ни на Тараса Шевченко, ни на Давида Са-сунского. И не приглашался он на научные конферен-ции, симпозиумы, диалоги по языку, стилю, сюжету.

И не было его никогда ни в одном (открытом, офи-циальном или закрытом, секретном) списке — ни на распределение орденов и изданий, ни на получение га-лош.

Даже дико, смешно было себе представить присут-ствие его на серьезной государственной встрече, где провозглашались директивы и установки по литерату-ре и искусству или в представительной литературной делегации, эту странную фигуру, этого чудаковатого безумца, далекого от всякой проблемности, всякой по-литичности, всякого знания момента и конъюнктуры, чего можно и чего нельзя думать, говорить, вообра-жать, этого старого большеголового ребенка, который весь остался там, в синем одесском детстве, на Даль-ничкой, на Пересыпи.

Для встреч, для приемов, проблемных разговоров, что и как писать, существовала всегда ведущая обой-ма, фальшивая карточная талия, ее по-всякому пере-доргивали, кто-то на крутом повороте выпадал из те-лежки, кто-то, наоборот, на ходу вскакивал и неожиданно даже брал вожжи в свои руки. Написали ли они что-то выдающееся или вообще ничего не написали или даже не думали написать, это не имело и не могло иметь никакого значения. Они восполняли это постоян-ным присутствием, постоянным мельканием на глазах, речами с трибун, докладными записками, литератур-ными экспертизами в нелитературных организациях, и они были персонами ведущими.

Жизнь в Союзе писателей, бурная, ежедневная, пен-ная, полная нервных потрясений, встрясок, обид, рев-ности, катастроф, решений и свершений на высшем, на самом высшем, высочайшем уровне, шла мимо него, далеко от него, сидящего во время самых бурных, са-мых сложных и значительных, исторических засе-даний в кафе за угловым столиком, окруженного слу-

чайными дружками и рассуждающего о том, что было далеко, ох как далеко от Кремля, от Сталина, от указаний по литературе. И он просто никогда и никем из официальных, властвующих, распоряжающихся не принимался в расчет, не регистрировался, просто не существовал. Где-то там пил, безумствовал, скандалил, перелицовывал, выворачивал Достоевского на инсценировки, где-то там бродил ночной Москвой — униженный, раздавленный, зимой и летом в одном и том же пальтишке, обмякшей шляпе, старых галошах, — седой, высокомерно грассирующий, красиво и мудро рассуждающий Юрий Карлович Олеша. Они его знать не хотели. И если еще сам голубовато-седой Фадеев чуть мимоходом раскланивался с ним, то нувориши, выскочки, новейшие лауреаты, миллионщики даже не знали его в лицо, просто косо проходил мимо них какой-то запущенный старик, что-то когда-то написавший.

Та общественная и его, Олешина, личная жизнь — две эти линии шли параллельно, никогда и нигде не пересекаясь, одна всенародная, государственная, авторитетная, каждое слово, каждый шаг, каждое восхищение и неудовольствие которой публиковалось и перепубликовывалось, окружено было славой, почетом, сопровождалось бешеными гонорарами, золотыми медалями на лацканах, черными „ЗИМами“, банкетами, и жизнь нищая, заглохшая, на обочине, безвестная, в утренних очередях у забегаловок „Пиво-воды“, в длинных, грязных, пахнущих туалетом коридорах киностудий, в многочасовых ожиданиях у кассовых окошечек, жизнь в безденежье, объяснительных записках, судебных исках, жизнь вся в разговорах, байках, начинаниях, мечтах, жизнь не осуществленная, не реализованная, удушенная в зародыше, в семечке.

И в то же время, в то же время, хотя он не был ни в одном официальном списке, ни в одной обойме, ни на одной афише, он всегда был у всех на устах. Давно замечено, что у нас это никогда не сходится. Чем молва

презрительнее, тем выше положение и официальное признание, чем ужаснее и страшнее официальное проклятие, тем восторженнее народный интерес.

Писатель Юрий Олеша, знаменитый автор „Зависти“, был словно похоронен где-то там на Ваганьковском еще в тридцатых годах.

А этот крепкоголовый нищий с львиной гривой и львиным рыком воспринимался только как ненужно дожившая до этих лет копия того, как досадная клевета на того, как скандал в благородном семействе, как неудачный родственник в миллионерской семье писателей. А он все жил и что-то такое рассуждал и даже осуждал, и они, сверкая лауреатским золотом на груди, звеня орденами, стыдясь его, отворачивали глаза, показывали спину, старались улизнуть, а он их окликал, он требовал одолжить пятерку, ну, трешку, ну хотя бы поставить рюмку коньяку, ну, если нельзя коньяк, угостить длинной иноземной сигаретой.

Однажды, да, однажды вечером, когда в каминном зале ЦДЛ, интимно освещенном свечами, тихо пошумливал очередной банкет иностранной комиссии — принимали восточных гостей, в разгар вина и тостов непонятно откуда вынырнул, через какой ход проник, прозванный контролерами, референтами, официантами, и прямо у длинного, тесно и могуче уставленного бутылками стола появился суровый Олеша.

Он стоял в своем коротком клетчатом пиджачишке и смотрел на двоящиеся и троящиеся бутылки, на лимонные лица восточных гостей и уже дьявольски улыбнулся и даже погрозил пальчиком — вот сейчас, сейчас на весь зал скажет свое грохочущее, грассирующее, сразу до сути дела добравшееся, с размаху расколотившее орех до ядра, и из вестибюля бежали с испуганными лицами швейцары в серебряных позументах, дама-распорядительница с партийным шиньоном, поднялись сидевшие с края стола никому не известные, никому не ведомые молодые люди с одинаковыми, как бы смазанными, стерильными лицами, до поры до вре-

мени, до поры до времени только молчавшие, налегавшие на икру, и окружили ошестившегося седогривого, готового при виде коньячных бутылок защищаться до последнего дыхания Олешу.

И тогда сидевший во главе стола, похожий на старую, расплывшуюся свежим салом бабу Николай Тихонов, бывший гусар, бражник и поэт, сразу оценивший момент, гарун-аль-рашидовским жестом как бы смахнул холуев и позвал:

— Юра! Идите к нам!

И, обращаясь к восточным гостям, представил:

— А это Юрий Карлович Олеша, наш замечательный поэт и последний дервиш.

После долгих лет забвения, в пору оттепели и реабилитации, во время выборов делегатов на Второй съезд писателей вдруг кто-то вспомнил, крикнул из рядов и его фамилию, и все вдруг тоже вспомнили, заулыбались, обрадовались, что да, как же, есть, живет еще такой писатель. Никто втайне, оставшись один на один со списком кандидатов, не вычеркнул Олешу, и так он неожиданно стал делегатом.

Не знаю, как он ходил на заседания, что думал, что говорил и отличались ли эти государственные дни его жизни от обычных, мы встретились, когда он шел за билетом на заключительный банкет.

Был воскресный оттепельный день.

Шли делегаты, молодцеватые, пробойные ребята в шубах и боярских шапках, мимо статуи „Мысль“, счастливые своим мотыльковым счастьем. И он пришел. Он шел через двор Союза в обтрепанных брюках с бахромой, кажется, в галошах, жалкой и мудрой походкой Чарли Чаплина, медленно, задумчиво, весь в своих добрых сказочных химерах и безумных ассоциациях, шел, как бы отражаясь в зеркале, которое нес впереди себя. И все-таки шел, упорно, упрямо шел за этим жалким билетом туда, где все приглашенные были поделены на два зала — на тот, где бог и апосто-

лы, и тот, где только верующие. А приглашенные в зал к богу опять были поделены на тех, кто был допущен на три локтя к богу и апостолам, и на тех, которые были отодвинуты подальше в угол; но и ближние еще и еще раз были разделены на тех, кого замечали, с кем беседовали, и на тех, кого только видели, потому что есть глаза.

Зачем же был ему нужен этот банкетный билет? Зачем он упрямо шел шлепающей походкой в грязи этого оттепельного дня к тем ужасным дверям на Поварской, в те барские апартаменты, где в войну и в дни мира выдавали похлебку, закалывали, не обрызгавшись кровью, и чествовали в надгробных речах.

Юрий Карлович шел, преодолевая двор трудным медленным шагом замученного человека, начисто отсутствуя в окружающем его мире, один в том мире, где есть жалость, дружелюбие, совесть.

Увидев меня, он остановился и улыбнулся своей прелестной, дьявольски пронизательной и одновременно нежной улыбкой.

— Ну, что слышно, какие очередные виражи?

— Какие виражи, Юрий Карлович?

Олеша показал пальцем вверх и опять дьявольски улыбнулся.

Он все понимал, он видел все насквозь и, мне кажется, ясно, чем все это кончится, что там вдали, за этой каменной и неподвижной, кажущейся вечной стеной и что случится, когда его уже не будет в живых.

И он снова двинулся, старый, седой Чарли Чаплин, за билетом на банкет.

6

Наконец после двадцатилетнего перерыва вышел в Гослитиздате однотомник Олеши. Юрий Карлович пошел в книжный магазин.

— Я стоял у кассы и, как музыку, слушал... Люди подходили и все время говорили: „87 копеек!“, „87 копеек!“, „87 копеек!“. И вдруг я слышу крик продавца: „Касса! Олешу не выбивать!“

Однажды Олеша получил большую сумму, вынул из кармана пачечку сотенных, расфантазировался:

— Олеша раздаёт сотни у памятника Пушкину. Понимаете, идут люди мимо Пушкина, они и предположить не могут, что маленький седой человек будет раздавать сотни. И вдруг им дают сотню. Какая неожиданность! Какая радость! Почему не доставить человеку такую радость? Ну, я пошел, — вдруг сказал Олеша.

— Куда?

— Как это ни странно, у меня есть дело.

Теперь на все Олеша отвечал:

— Я читал книгу Норберта Винера. Он пишет, что скоро человека можно будет передать по телеграфу. Ну, что после этого говорить?

В последний раз я встретил его светлым майским днем на улице Горького, у музея Революции. Я шел вниз к Пушкинской, а он зачем-то к площади Маяковского. В толпе московской, быстро и нервно бегущей, он шел, приземистый, спокойный, каким-то тяжелым, задумчивым шагом, без шапки, седой, гривастый, в стареньком плаще и старых башмаках, но элегантный всем своим обликом.

Как всегда, встретившись, мы остановились, и прозвучал обычный наш, многолетний, один и тот же на всю жизнь вопрос, вопрос ожидания перемен, продолжающейся иллюзии:

— Что слышно?

Ничего и на этот раз, как всегда, не было слышно. Но у каждого были свои личные маленькие новости и изменения, свои медленные шажки куда-то вперед или вбок, свое мертвое плавное течение реки жизни. И о чем-то я его известил, что волновало меня в то утро, а он вдруг как-то приподнято, задорно и громко, чтобы не подумали, что ему плохо, сообщил:

— Я иду в гору. „Новый мир“ заказал художественный комментарий к биографии Ленина. — И, сощуриив глаз, он изобретательно, победительно прищелкнул пальцами. — Я уже нашел ход!

А потом рассказал о каком-то очередном литературном сабантуе, обсуждавшем очередные исторические вопросы, и опять с прищуром:

— Соболев бросал руководящие слова, хорошо поставленным голосом говорил Федин, и Катаев тоже подкинул в общую упряжку свой грязный хвост.

Мы распрощались. И он пошел вверх к площади Маяковского походкой, будто у него была масса дел.

Больше я его никогда не видел. В Баку, в гостинице „Интурист“, я прочел в „Литературной газете“ маленькую заметку, что умер известный русский писатель Олеша.

Много лет назад он сказал:

— Когда я умру, обо мне в некрологе будет написано: известный русский писатель. Известный — это не талантливый или выдающийся, известным можно быть случайно, но что есть, то есть. И не русский советский писатель, а именно русский писатель. Это не одно и то же, чувствуете нюанс?

Он знал свое место в табеле, знал, как он числится там, в той комнате, где раздаются ранги, степени, тиражи, дачи, пайки, машины, заграничные поездки, редкие лекарства, хвалебные рецензии. И устанавливается разряд похорон, с речами или молча, Новодевичье или Введенское, мемориальная доска или забвение.

На похороны Олеша Литфонд не поспешил, были венки, музыка, гроб по высшему разряду.

За много лет до этого Юрий Карлович однажды обратился к Арию Давыдовичу, или, как называл его Михаил Светлов, Арию Колумбариевичу, служащему Литфонда, который кроме подписки на газеты и журналы еще ведал писательскими похоронами: „Слушай-

те, Арий, сколько Литфонд отпустит на мои похороны?“ — „Вы лауреат?“ — „Нет“. — „Член правления?“ — „Нет. Просто простой писатель“. — „Тогда так, оркестра не будет, но квартет устроим. Не будет Баха, будет Мендельсон. Одна подушечка на ордена и медали. Так, двести, в общем“. — „Так нельзя ли эти двести сейчас выдать авансом, а я вам дам расписку, что после моей смерти никаких претензий к Литфонду не имею“. — „Нельзя“, — погоревал Арий Давыдович, который дожил до того, что законно истратил полагающиеся на Олешу похоронные двести рублей.

Олешу кремировали. Я не знаю, сам он это завещал или это делается по решению и разумению оставшихся в живых, но по этому поводу я расскажу одну историю.

Мы все знали рыжего Давида — старого актера, похожего на замученного жизнью благородного пса. Он начинал когда-то у Мейерхольда, давно уже не играл, но без театра жить не мог и каждый день ходил за кулисы, как на работу, был на всех репетициях, а уж ни одна премьера в Москве не обходилась без него.

Олеша очень любил рыжего Давида за его мудрую бесполезную жизнь, любил сидеть с ним в кафе „Националь“ за чашечкой кофе и беседовать.

И вот рыжий Давид умер. Я не был на его похоронах. Автор скетчей Г. рассказывал мне:

— В крематории я вдруг заметил, что Олеша сунул покойнику в руки записку, сначала одну, а потом, в те полчаса, пока шла церемония, у него появилась еще масса вопросов, и он сунул еще одну записку.

На обратном пути, в такси, я спросил:

— Юрий Карлович, что это за записки?

Оказывается, первая записка была: „В Нечто: как там?“ Вторая записка: „Туда же. Имеют ли право сжигать людей?“

Когда я сказал, что покойнику все равно, сжигают его или нет, Олеша упер в меня свои зенки и спросил:

— А откуда вы знаете?

Есть на свете люди — литературоведы, — которые пытаются выдать сейчас Олешу чуть ли не за эталон приспособленчества. Какая ужасная слепота и несправедливость. Да, он был раздавлен, да, в какие-то моменты жизни он тоже хотел втиснуться в кипящую вокруг него пеной жизнь, бормотал какие-то слова.

Но он был высечен из цельного благородного камня, в нем не было ни капли, ни одного капилляра подлизы, карьериста, ему доступны были волшебные видения.

Он был закрыт, замурован в каменной нише, зашит в простой дерюжный мешок, отсечен на всю данную ему богом единственную жизнь от мира, памятного и любимого им по глобусу детства, от экваторов Рака и Козерога, от всех пяти континентов и пяти океанов, от острова Ява и острова Пасхи.

„Хочу ли я славы? Нет. Хотелось бы не славы, а путешествия по миру. Даже странно представить себе, что есть иной мир, есть, например, бой быков“.

Человек этот, родившийся в „русском Марселе“, чье детство и юность прошли на виду одесского порта, флагов государств, способный еще в младенческие годы представить себе джунгли, пампасы, пустыню Сахару, реку Амазонку, знал в своей долгой жизни только один маршрут: Москва—Одесса через Фастов.

Прочтите, с каким восторгом и удивлением откликнулся он на старую книгу Гончарова „Фрегат „Паллада“, это был крик отчаяния. Никогда он не выезжал дальше Гродно. И это было самое страшное, бессмысленное ограбление века. У художника украли мир, все ассоциации, все метафоры, все новые слова, которые бы он узнал и накопил.

Ни к кому из миллиардов ныне живущих людей и людей, которым еще предстоит жить, не придут уже эти ассоциации при виде закатов Полинезии, небоскребов Нью-Йорка, при рыке у горы Килиманджаро.

Да и тут, дома, он был заперт, закрыт в треуголь-

нике: Лаврушенский переулок — кафе „Националь“ — клуб писателей. Лаврушенский, где была нищета, редкие гроши гонорара, приносимые домой уже наполовину, а то и на четверть, кафе, где кредит его уже ограничивался бутылкой „боржома“, клуб, где была своя, чуждая ему активная обморочная жизнь и он проходил по ресторану, как тень некогда существовавшего писателя. И никому не было до него дела, смешны и нелепы его художественные химеры, явившиеся во сне, в белой горячке, его беспцельные воспоминания; его как бы перевернутые видения, его безумные метафоры. Он был выключен из жизни, в которой не мог принимать участия, где он был инородным, чуждым телом, где он был загадкой, где смешна была его детскость, его сумбурный мир, его доброта и сердечность, его жалость к слабым, ненависть и презрение к насилию, его кроткое раздавленное несогласие, его слабовольная сопротивляемость. Но чем уже, чем мизернее был пяточок его жизни, его наблюдений, тем глубже он заглядывал в колодезь своей жизни, в дальнее, дрожащее на дне отражение. И еще было звездное небо, и были березы, и сосны, и птицы, и цветы, и ветер, и улицы, и крыши домов, которые никто не мог, не успел у него отобрать.

Он словно жил в камере, в которой жизнь существует только в воспоминаниях, и чем жестче эта камера, темнее ее зарешеченное, почти закрытое козырьком окно, без неба и ветра, тем ярче солнечная прелесть утраченной жизни, и она вспыхивает вспышками слепящей силы, и замирающей рукой он выводит странные, чудные, будто вырванные из гениальной поэмы строчки. И они остаются строчками, отрывками, но каким-то волшебным образом, так как они все написаны рывками, нечеловеческим усилием, слитно в одном ритме, в раздавленном, затравленном состоянии, они, собранные вместе, создают единую картину, историю затравленного, медленно убиваемого и долго яростно сопротивляющегося художественного сознания, не угасающего, а все время импульсивно вспыхивающего картинами первозданной силы.

Тихие, печальные, ликующие строчки о полумаске: „Она была женщина, Ренуар, сновиденье, она была „завтра“, она была „навверное“, она была „сейчас“ и „сейчас, сейчас, подожди“, сейчас...“

„Как можно не заговорить с цветами, когда ты один, все ли будет хорошо? — обратился я к цветам“.

И это писал уже старик, вот этот, видите, нищий старик в низко надвинутой, в пятнах шляпе, только что выпивший на ходу в киоске кружку пива и одиноко бредущий куда-то вверх по улице, которого уже не замечала ни одна женщина, которого только несколько минут назад отогнал газетный киоскер: „Вон отсюда, вон!“

Куда он идет? Никуда. Сейчас у него нет никакой цели, никаких дел, никаких надежд и ожиданий.

Он просто идет мимо отрешенных от него домов вверх по улице, чтобы куда-то идти, чтобы и для него длилось, простиралось время, чтобы не одеревенеть, не задремать, не быть удушенным в этой атмосфере, из которой выкачан воздух. Идет мертвой походкой вверх по улице.

И в то же время он замечает и видит все: и муляжи мертвые, как его нынешняя жизнь, и странное продолговатое, похожее на болванку из шляпного магазина лицо прохожего, и молодые бакенбарды со шкиперской бородкой, и бойкую шляпку девицы, и ее улыбку не ему, нет, кому-то третьему за его спиной улыбнулись не только губы и глаза, а все лицо и даже уши.

Сейчас в этой толпе, суетливой, озабоченной, нервной, он самый нищий, в эту минуту у него даже нет гривенника на рассыпные папиросы, и самый бездельный, самый непричем, неприкаянный, ему, бродяге, некуда спешить, никто и нигде во всем городе, да и на всем свете его не ждет и никому он не нужен, просто никто в нем не заинтересован, ни редакции журналов, которые уже давно не поминают его в своих анонсах, в своих обещаниях, стараясь привлечь подписчиков на

очередной год, ни одна высокоответственная или малоответственная организация, ни одно из тысяч происходящих в этот момент в городе собраний, заседаний, совещаний, дискуссий, даже по тем вопросам, в которых он-то знает и понимает лучше всех живущих сейчас в этом городе, никто не интересуется его мнением, ни одна из тысяч комиссий, подкомиссий, готовящих вопросы, тезисы, резолюции, законы орфографии.

И вот он, самый выключенный из жизни, именно он выбрал в себя эту жизнь, видит ее насквозь со всей ее суетой, славой, интригами, карьерами, правдой и кривдой, именно в нем, как в зажигательном стекле, все сфокусировалось, как в пучке света на экране, все спроецировалось.

Он видит и понимает эти далекие, чуждые заседания, и это его душа проносится в черной и вместительной, как лакированный кабриолет, номенклатурной машине, где он на лету уловил серое резиновое лицо, никогда он не будет на его месте, но он понимает и чувствует его чувствами.

Сквозь тоску несуществования, сквозь пелену серую, остылую он видит пронзительно, словно страдание углубляет зрение, делает сердце отзывчивее, отклик в страдающем сердце сильнее, эхо звучит дольше, болезненнее и можно записать это медленное эхо. Запишет ли он его? Скорее всего, нет и это на веки вечные пропадет, никем не узнается. О, если бы существовал осциллограф, жольцом надетый на голову, который бы сам по себе, как пульсацию крови, как трепетание сосудов, записывал бы кривую мысли, видения, образы, ассоциации.

Но даже то, что он записал, когда прорывался сквозь усталость, исчерпанность, неверие, сквозь свою раздавленность, сквозь свою бытовую тюрьму и, взяв уже отвыкшей от писания рукой карандаш, нацарапал мгновенно или медленно, мучительно, выводя каждую букву в отдельности, схватив ту тысячную, может быть, миллионную того, что он почувствовал, это ведь уже сокровище.

Не мучайте поэта, не измеряйте его на свой дюйм, дайте ему жить, дайте ему прожить по его странным, фантастическим, по его безумным, самому себе приписанным во сне, в бреде законам.

Однажды в Алма-Ате, в эвакуации, в праздничный день, когда всем милиционерам выдали новые нитяные перчатки, Олеша пришел в ответственный закрытый распределитель.

— Девушка, я русский писатель Олеша, нахожусь здесь временно в эмиграции, мне нужно 200 грамм портвейна.

— Вы тут не прикреплены, — сказала девушка.

— Мне не нужны ваши портфели из клеенки, ваши халаты, тетради в косую линейку. Я русский писатель Олеша, мне нужно 200 грамм портвейна.

Кончилось тем, что был вызван постовой милиционер в новых нитяных перчатках и увел Олешу в отделение.

Молоденький дежурный лейтенант стал заполнять протокол.

— Фамилия?

— Достоевский.

— Что вы мне голову морочите?

— Данте.

— Вы Олеша, — сказал лейтенант, разглядывая писательский билет. — Тут же подпись Горького, я же вижу, это не факсимиле.

— Спиноза, — продолжал Олеша.

— Какой еще Спиноза?

— Достоевский, Данте, Олеша, Спиноза — все они одно, в дальнейшем именуемый „автор“, — скандируя, сообщил Олеша.

Поздней ночью явился в гостиницу пьяный. Безрукий швейцар, друг Олеша, держа его, пьяного, спросил:

— Алеша, Алеша, ну чего тебе надо?

— Мне надо счастья, привратник.

Да, он все прощал этой жизни. Он не то что прощал, он ее не замечал. Он принимал за должное и нормальное то, что его не брали в расчет, не писали о нем статей, не награждали, не ласкали, не хвалили, не преподносили нимба. И он мог просыпаться утром свободным, вольным, никому не нужным и не известным и думать свое, и тосковать про свое, и каждое утро умирать от тоски и удушья, и снова возникать и жить.

„Будь благословен горький запах! Будь благословен сладкий цвет! Будьте благословенны стебли, желтые венчики, будь благословен мир!“

В нем жило великое, бескорыстное отречение от собственной судьбы, великая, ликующая, ненасытная любовь к миру.

О, раннее летнее утро! Даже в городе щебет птиц заглушает гул магистралей.

Однажды он рассказывал мне о каком-то раннем утре, раннем рассвете. Было впечатление, что и ночи до этого не было, в окне аквамарины неба и восходящее солнце и зеленые деревья, и все-таки незачем и нечем жить. И он вышел на улицу, и ему некуда было идти, просто не было никаких дел, никакой цели, никаких забот, просто никто и нигде его не ждал, никому он не нужен был, да никто и ему не нужен был в эту минуту.

Улица была пустынная, голубая и счастливая, улица вела прямо к небу, к солнцу, а он, отстраненный, сам себя отстранивший от всего мира, затравленно, как на поводке, пошел к киоску „Пиво-воды“, все-таки там была какая-то жизнь, какие-то знакомые, привычный быт и все-таки какая-то цель.

В глухом спящем переулке уже скопились лохматые типы, и все время из разных переулков выходили такие же, знакомые между собой, хмельные еще со вчерашнего, позавчерашнего дня, а может, и с прошлого года, со свинцовыми пятнами на лице, в мятых кеп-

ках, в разорванных пиджаках, расхристанных рубашках, кое-кто с галстуком, кто с четвертинкой, кто просто с пустой веревочной авоськой, потерянный в этом голубом утре, когда зеленела свежая трава, цвели оранжевые первые одуванчики и было начало новой весны.

Он бродил один по Москве, по Ордынке, затем по Пятницкой, выходил на Софийскую, любовался Кремлем, выходил на Каменный мост, перебирался из Замоскворечья на эту шумную, суетливую, практичную сторону Москвы, где редакции, творческие союзы, клубы, кафе. Иногда при переходе улицы в неполюженном месте его останавливал милицейский свисток. Ах, как надоели мне эти крестьяне со свистками.

Обессиленный, вертевшийся между постылым, уютным, случайным пристанищем, окошечком кассы, где по ведомости автору реприз полагалась мизерная сумма, и столиком кафе „Националь“, где добросердечная Муся записывала карандашиком кредит, а то и не записывала, с случайным заходом в пустынные, мертвые коридоры Союза писателей, где никому он не нужен, где проходящий секретарь смотрел на него, как сквозь стекло („Он не только не поздоровался, — с удивлением рассказывал Олеша, — он даже не посмотрел на меня“), небритый, зачумленный, возвращался он поздно вечером по Большой Ордынке со странными, случайными, дикими спутниками, по-своему любившими его, а потом дремал где-то на скамейке в сквере, и его ночью будили и говорили: „Не стыдно? Домой надо идти, отец“.

Обессиленный, обеспамятевший, потерявший веру в себя, сидит он на скамейке и сосет потухшую папиросу „Казбек“, и вдруг, будто лучевая вспышка, взрыв римской свечи, вдруг безумное, неодолимое, могучее желание вернуться, вернуться к своей сути, к своему существу, своей силе, к заложенному, существующему, еще в веках запрограммированному в генах. И огрызком карандаша в свете воспоминаний ложится строчка в

день, тяжелая алмазная строчка, золотошвейная стежка, чудо из чудес.

Да, болтайте, что это новый тип романа, раскованный, отражающий современное разорванное сознание, роман без берегов, поток сознания.

Это новый, истинно новый, подлинно новейший и великий современный роман, зеркально отразивший судьбу загнанного в лузу, обессиленного человека, задушенного именно в его главной сущности, в его главной силе, главном нерве, в том, для чего он рожден был, создан господом богом, — в творчестве, в труде.

Это не только роман, это история жизни, история болезни, можно ясно прощупать пульс и услышать потерю пульса или тахикардию, дыхание и обрыв дыхания, удушье астмы, полную исчерпанность и вдруг взрыв возбуждения, тьма и вспышка света и снова тьма.

Да, это современный роман, исповедь, свободная, раскованная, не связанная никакими законами, напечатанная вот так хаотически, словно записи, спрятанные в наволочку, прямо вывалены на страницы.

Вот в каком смысле, в каком значении это истинный, в чистейшем виде современный роман, роман разорванного сознания, отражающий современное безумие общества, уникальную его несправедливость, алогичность, беспощадность, бесчеловечность.

Это последний крик могучего и ослабевшего поэта, крик, который кричит: „Я еще столько могу, я еще столько знаю, столько хочу и чувствую...“

Он не мог толкаться, пропихиваться, участвовать в общей свалке, он рано устал, рано исчерпался и, самое страшное, безнадежное, неотвратимое, изверился, и лишь иногда, в какие-то часы атмосферных разрядов, активного Солнца, сейсмических потрясений живая лава воображения вдруг сбрасывала холодный пепел, оживала и сверкала, и то, что он успел, имел силы записать, то и осталось, а остальное утеряно, погибло на корню, в зародыше, в семени, растрачено, рассеяно

в разговорах, в байках, в бреду Соловьевки, в семейных сварах, в очередях у киоска „Пиво-воды“, иногда ему даже казалось, что он это уже записал, иногда, забывая, он записывал одно и то же два и три раза, и, удивительно, хотя между этими записями лежало несколько лет, одними и теми же словами, эпитетами, в том же ритме, где-то оно, видимо, уже было глубоко отпечатано на видеоленте мозговых извилин.

А сколько этих оттисков, этих зеркальных отражений, этих волшебных сомнамбулических видений, медленно выплывающих картин детства, юности, молодости окаменело, заледенело в серых, измученных извилинах, когда он лежал в морге, потом сожжено в пепел.

И если справедлив закон сохранения энергии, то это когда-нибудь еще проявится в необыкновенном олене, цветке или в удивительном, редком, только извлеченном из кимберлитовой трубки алмазе или музыке, которую мы слышим иногда разлитой в воздухе в тихий день на берегу моря или на лесной поляне, поросшей вереском и окруженной соснами.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ВАСИЛИЕМ ГРОССМАНОМ

Почему-то в последнее время я все чаще и чаще думаю о нем.

Это предчувствие той же судьбы, или созрело в душе воспоминание, или просто нельзя уже ждать, некогда ждать, время истекает.

Предвестье судьбы приблизило его ко мне, и я подробно вглядываюсь в него, чтобы понять его, увидеть его в себе и себя в нем.

Я вижу его таким, каким встретил тогда, в сумрачный зимний день января 1942 года, на полевом аэродроме 6-й воздушной армии у Изюм-Барвенково. Я только прилетел на „У-2“ из штаба 6-й армии, которая нацеливалась на Харьковскую операцию, а он шел навстречу к самолету, возвращаясь в штаб Юго-Западного фронта, который квартировал в то время в Воронеже. В простой шинели и в солдатской цигейковой упанке, с легким вещмешком, он похож был на усталого пожилого солдата, только тонкие учительские очки нарушали это впечатление. Мы остановились на снежной тропинке и немного поговорили. Он в спокойном, медленном, характерно ироничном тоне все понимающего и все прощающего пожилого человека, а я взвинченно, восторженно, нетерпимо, негодуяще.

И, сколько я после о нем ни думал, я почему-то всегда вспоминал его именно тем пожилым и усталым солдатом, спокойно делающим свое солдатское дело, мудро вглядываясь в войну. Это тогда он мне сказал:

— Я пишу только то, что видел, а выдумать я мог бы что угодно.

Голос его глухой, сильный, глубокий, и слова всегда какие-то крутые, подлинные, как крупнозернистая соль, только что добытая на копях, только отколотая от материка земля. Слово, которое он произносит, обработано и весомо и ложится в фразу, в разговор, как стесанный камень или кирпич на стройке, слово к слову, в крепкий, нерушимый ряд, их не сдвинешь, и они никогда не славируют, и он никогда не откажется от них.

В нем была неторопливость, несуетность, медлительность и как бы сонность движений и разговора, в которых таилась взрывчатая, зря не расходуемая, береженная сила, бешеное упорство и терпение, которое все преодолевает.

Я часто видел его в годы его главного творения, Главной книги, и он похож был скорее на каменотеса, казалось, большие, сильные рабочие руки его держали молот и долото, но не хрупкое, обмакнутое в чернила перо. Он, казалось, строил в это время грандиозный Собор, и эта книга его, не увидевшая света, и была Собором, величественным, современным, суровым и светоносным, святым Собором нашего времени. В ней впервые и до сих пор, хотя прошло уже пятнадцать лет, единственный раз была сказана вся правда о прошедшей великой и страшной войне.

В дневнике моем записано: 15 ноября 1963 года.

Вечер этот теперь мне кажется таким печальным, одиноким, ужасным в своей будничности, да таким он, наверно, и был.

Один из тех серых, одинаковых вечеров нашей жизни, которых такое множество, которых уже и не запомнишь, которые повторяются и повторяются и уже сливаются в один постылый день. Может, такими они бывают все, вечера человеческие, и только в волшебном фонаре времени они воссоздаются в ином свете и расцветают, как наступция.

Осенний вечер, когда студеный ветер срывал уже

последние бурые листья и некоторые из них вмерзли в ледок уличных луж и просвечивали узором, напоминавшим детство. Вечер с мутными, желтыми, как бы растворенными во мгле огоньками окон, спешащими под дождичком с авоськами, сумками и портфелями прохожими, каждый в своей раковине, в своей сиюминутной заботе, никому другому не нужный, погибший, если сам за себя не постоит.

Кто-то еще повстречался на пути, я уже не помню кто, и мы по обыкновению немного постояли и поговорили о чем-то сегодняшнем, злободневном, раздражающем, беспомощно махнули рукой и разошлись.

Здесь, в этих новых, выросших на бывшей городской окраине и следующих в затылок друг за другом массивных кирпичных корпусах, с недавних пор проживали московские литераторы. На неполном квадратном гектаре жили почти пятьсот поэтов, романистов, сатириков, сочинителей оперетточных либретто, скетчей, куплетистов, современных мейстерзингеров, бывших и будущих Добролюбовых, с десятков Булгариных, литературных квартальных и надзирателей. И теперь эти дома на ходу осваивала милиция, почта, сберкасса, булочная, молочная и та дальняя, выпыточная организация, которая должна все слышать и все знать.

Я одиноко прошел к большому, мрачному новому дому, построенному в виде буквы „П“, на углу Первой Аэропортовской и Красноармейской.

Это был девятиэтажный кооперативный дом, куда перебрались люди после всей их жизни, проведенной в коммунальных муравейниках, на общих кухнях, на общих лестницах, с общими телефонами, жизни с коммунальными сплетнями, интригами, бунтами, с подслушиваниями, подсматриваниями, с доносами. И вот почти к концу жизни человек получил ключи, открыл дверь, вошел в свою пустую, пахнущую краской квартиру, захлопнул дверь и впервые остался один в тишине целого мира, наедине со своей душой, своей совестью.

В одну из этих ячеек, в скромную и тесную коробочку

однокомнатной квартиры с окнами в тихий пустынный параллелограмм двора, въехал и Василий Семенович Гроссман.

Над подъездом тлела почему-то вполне лампочка под пластмассовым колпачком, и в подъезде тоже было сумрачно и неуютно, настраивало на нехороший лад.

— Вы к кому? — с молодым подозрением спросила старуха лифтерша.

— Знаю к кому, — отвечал я и хлопнул дверью лифта, нажал кнопку, и она осталась внизу, получающая сорок рублей за службу и за наблюдение.

Когда я поднялся в новом скрипящем, дребезжащем, еще не привыкшем к своему гнезду лифте на пятый этаж, на пустую лестничную площадку с четырьмя дверями квартир, три из них были обиты коричневым дерматином, с крупными узорными кнопками, а четвертая была голая и какая-то суровая, непреклонная в своем аскетизме. Я нажал звонок, и за дверью послышались шаги, надтреснуто-знакомый голос спросил:

— Это вы, Борис?

Дверь открылась, Василий Семенович, очень похудевший, печально улыбался, словно до того, как я пришел, случилось что-то, что я должен был уже знать и к чему относилась эта печальная, безнадежная улыбка. Только я сказал: „Добрый вечер!“ — и, возбужденный встречей, громко, бурно заговорил, он приложил палец к губам и молча провел меня через тесную тусклую прихожую в слабо освещенную, полную теней, неубранную, неустроенную комнату, где на столе, уже приготовленный заранее, лежал лист бумаги, на котором красным карандашом крупным ломаным почерком было написано: „Боря, имейте в виду, у стен могут быть уши“.

Я молча взглянул на него, и он на меня. Чтобы все-таки что-то сказать, я произнес: „Понятно“. Ладно, пусть они запишут это „понятно“, а что „понятно“, ведь непонятно. Я к этому времени уже слышал, что приходили какие-то типы и устанавливали именно над этой квартирой загадочную аппаратуру. Это не могло остаться се-

кретом. Техник-строитель сказал кому-то из членов правления, что квартира „озвучена“, тот сказал своему товарищу, и постепенно об этом узнал весь дом, и соседний дом, и даже в других районах узнали все, кто интересовался этим.

У Василия Семеновича были черные руки, он чинил сломавшуюся машинку.

— Теперь сам перепечатаваю, — сказал он, — когда были деньги, я отдавал машинистке.

Новая квартира отчего-то казалась старой, изжитой, измученной и заброшенной. Может, оттого, что она была старой мебелью, а может, из-за тусклого света, мертвящей тишины, одиночества.

В этой комнате все как бы иссохло и покрыто было каким-то невидимым пеплом печали.

Старомодная продавленная софа, старый, испарянный, с чернильными пятнами письменный стол, линялый, потертый коврик на полу, обветшавшие корешки книг на этажерке. Это впечатление заброшенности усиливали полусохшая пальма и расставленные на полочках и на подоконнике карликовые кактусы, похожие на обрубленных уродцев. Еще были тут несколько тяжелых черных чугунных фигур то ли лошадей, то ли псов, на стене висели побитые молью лосиные рога, а на рабочем столике стояла старенькая, разбитая машинка, в которой торчал лист с отпечатанными раздерганным шрифтом бледноватыми строчками. Я представил себе, как она дребезжит во время работы. На кресле у софы лежали знакомые красные с золотыми буквами томики Фета издания Маркса и очки в тонкой оправе.

Все вокруг было словно заблокировано, занавеси задернуты, и мне стало душно. Первое горькое желание — поскорей уйти, вырваться из этой несчастной, неустроенной жизни, просто тебе самому слишком долго было плохо. О, как теперь в возрасте и опыте страдания, в рассказе я чувствую тоску его в тот темный сырой вечер, когда я к нему пришел в последний раз.

Я долго не знал, что у него изъят роман. Однажды

летним июньским вечером, гуляя по центру, забрел случайно в Александровский сад и увидел на скамейке Гроссмана и его друга Липкина. На этот раз он как-то странно холодно меня встретил и обидчиво заметил, что я не показывался целый год. Я ответил, что болел.

— Все равно, — как-то отвлеченно сказал он.

Так же некогда он выговаривал мне за то, что я не посещал в последние дни перед смертью Андрея Платонова.

Мы немного помолчали, потом я сказал:

— Василий Семенович, дайте мне прочесть ваш роман.

— К сожалению, Боря, я сейчас не имею возможности, — как-то глухо ответил он.

Липкин странно взглянул на меня и смолчал.

Только теперь я заметил, что у Василия Семеновича подергивалась голова и дрожали руки.

Потом я узнал, что роман арестован. С тех пор в обиходе и появилось словечко „репрессированный“ роман. Пустил его, как говорят, „дядя Митя“, Дмитрий Поликарпов, бывший в то время заведующим отделом культуры ЦК КПСС и сыгравший в этой операции ключевую роль.

Однажды я принес Василию Семеновичу еще в квартиру на Беговую „По ком звонит колокол“. К тому времени роман еще не был напечатан, а ходил по рукам в машинописной копии на правах Самиздата. Мы беседовали о судьбах рукописей, и вдруг я попросил его рассказать, как забирали роман. Он раздраженно ответил:

— Вы что, хотите подробности? Это было ужасно, как только может быть в нашем государстве.

И больше ни слова.

Мне бы надо тогда сказать: „Я ведь не из любопытства спрашиваю“. Пусть бы еще одно свидетельство осталось. Может быть, какое-нибудь из них выживет. Чем больше свидетельств, тем больше шансов, что одно из них выживает даже при том, что государство промышляет бреднем. Но я этого не сказал. Я промолчал. Меня только удивила его резкость.

Уже после его смерти я узнал, как однажды днем на Беговую пришли два человека.

— Нам поручено *извлечь* роман. — Вот именно так они сказали: *извлечь*.

Забрали не только все копии, но и черновики, и материалы, а у машинистки, перепечатывавшей роман, забрали даже ленты пишущей машинки.

И вот теперь в напуганную последнюю встречу он с бессильной мольбой сказал:

— Хочется работать над рукописью, исправлять, переделывать, а нет ее.

И все-таки, мне кажется, он записывал исправления, новые строки, эпитеты, совершенствуя, шлифуя, заостряя, как это делал в свое время до самой смерти, работая над рукописью „Мастера и Маргариты“, Михаил Булгаков. Это ведь как дыхание.

Изо дня в день работа над романом, который не может быть, ни за что не может быть напечатан, фанатичная, безумная работа над фразой, над словом в этой как бы не существующей книге, полный отказ, уход из жизни, почти уход в небытие, в сотворенный тобою мир, дерзость, святость, одержимость Бога.

Что же должен пережить, передумать писатель, когда забрали у него то, чем он жил десять лет, все дни и ночи, с чем были связаны восторги и страхи, радости, печали, сны.

Гроссман написал письмо наверх, и его принимали в самой высокой инстанции, выше уже нет.

Василий Семенович рассказывал о человеке, принявшем его:

— Сердечник, человек поднаторевший, все время вращающийся в интеллигентной среде, но сам не ставший интеллигентом. Не обаятельный ум, но отменно вежлив, без грубости, но это уже давно известно, что на одном этаже грубо, на другом не грубо, что бы ни сделали с вами. Сказал — „это не то, что мы ждем от вас“.

Василий Семенович хотел еще что-то добавить, но поглядел на стены и махнул рукой.

Тот, кто принимал его, сказал:

„Мы не можем сейчас вступать в дискуссии, нужна или не нужна была Октябрьская революция“, — и еще он сказал, что о возвращении или напечатании романа не может быть и речи, напечатан он может быть не раньше чем через 200 — 300 лет.

Чудовищное высокомерие временщика. Это из той же оперы, что и тысячелетний рейх, десять тысяч лет Мао, дружба на вечные времена, посмертная реабилитация, посмертное восстановление в партии убитого той же партией.

Откроются архивы, откроются доносы, все получит свою оценку. Ну и что? Те, которые будут клеймить это позором, разве не могут повторить со своими современниками то же самое и, может быть, еще в более страшном, чудовищном варианте.

Вот уже лет пять, как Гроссмана забыли, его как бы не существовало. И даже в статьях о военной литературе, где он, бесспорно, был первым, самым крупным художником этой войны, в этих статьях его фамилия встречалась все реже и реже. Нет, он не был под официальным запретом, но как бы и был. Редкий рассказ вдруг прорывался в „Новом мире“ или в „Москве“. И самое удивительное, что это то же время, когда были опубликованы „Один день Ивана Денисовича“, „Матренин двор“ и „Случай на станции Кречетовка“, когда поговаривали вообще о ликвидации цензуры, именно в эти дни в нашем путаном обществе арестовали роман Гроссмана, негласно репрессировали его имя.

В последние годы жизни он написал „Записки пожилого человека (Путевые заметки по Армении)“, произведение, на мой взгляд, гениальное, из того же класса, что „Путешествие в Арзрум“. Записки были набраны и сверстаны в „Новом мире“ и задержаны цензурой из-за нескольких фраз об антисемитизме. Требовали их убрать. Гроссман уперся. „Записки“ пошли в разбор. А после был Манеж, „Обнаженная“ Фалька, или, как говорил другой временщик, „Обголенная Фулька“, борьба с абстракционизмом, знаменитые приемы интеллигенции, по-

хожие на спектакли на Лобном месте, идеологические качели поплы вниз и вниз, в пропасть, смердяще пахнуло эпохой культа, и уже речи не могло быть о публикации „Записок“.

Чья-то рука, вернее, много чиновных рук по указанию одного перста аккуратно и неумолимо изуверски вычеркивали Гроссмана из издательских планов, из критических статей, литературоведческих работ, жилищных списков, вообще из всех списков благодеяний, как это в свое время было с Михаилом Булгаковым, Анной Ахматовой, Андреем Платоновым, а до них с Осипом Мандельштамом.

Василий Семенович показывал мне отрывок, принятый в „Неделе“ и отпечатанный только в части тиража, машина посреди ночи была остановлена, и вместо этого отрывка в другой части тиража заверстан очерк о Приморье. На столе у него лежали эти два номера-близнеца с разными носами.

Я сказал ему, что он в свое время сделал ошибку, не пожертвовав в „Новом мире“ двумя-тремя абзацами.

— Вы это говорите как писатель и как еврей? — спросил он.

— Да, — сказал я, — там у вас были вещи поважнее и позначительнее, чем антисемитизм.

Он ничего не ответил, смолчал.

Только после молчания рассказал, как одного его знакомого, одетого в шубу, на Арбате задели, а когда он возмутился, плюнули в лицо и сказали: „Скоро будет погром, нам обещали!“

— Как быстро это пришло в подвалы, — печально сказал Гроссман.

Через несколько лет после смерти „Записки“, скальпированные, кастрированные, были напечатаны в „Литературной Армении“, журнале тиражом две тысячи экземпляров, их прочитали гурманы, любители изящной словесности, фрондирующие интеллигенты.

Заговорили про напечатанное в „Литературной газете“ интервью со Стейнбеком, где он вроде бы польстил нашей державе. Василий Семенович сказал:

— Уж как я привык и то возмутился. Я понимаю, что могут приписать, но когда ничего нет, то нет. Тогда пишут: „Пропасть лежит между высказываниями и романами“, или: „Трудно понять непонятную и странную позицию“. Вот с Белем, как ни вертели, ничего ведь не могли придумать.

Потом заговорили про недавно напечатанные мемуары Эренбурга. Он был недоволен ими.

— Это ведь исповедь, покаяться надо было, а то получился фельетон.

Я сказал, что Эренбург был единственным евреем в России, принявшим католичество.

— Нет, еще был Минский, уехал в Испанию в монастырь, дал обет молчания и уже не произнес ни одного слова. Вот так-то! — и он сверкнул очками.

О, этот вечер, когда он, грузный, с одышкой, ерзая на стуле, поглубже и поудобнее устраиваясь и по привычке касаясь рукой больного бока, как бы успокаивая боль, глухим, глубоким, но уже чем-то неуверенным в себе, чем-то усомнившимся в себе голосом читал грустный, щемящий рассказ, впоследствии названный „Мама“. Сильный и страшный рассказ о том, как в Британии, на туманной Темзе, в семье работника советского торгпредства родилась девочка и в младенческом сне видела белых чаек над Темзой. Как раз в эти дни его неожиданно отозвали в Москву и тотчас по приезде арестовали вместе с молодой женой, девочка попала в детский дом. И вот однажды в том замоскворецком переулке, где был детский дом, появилось военное оцепление. Жители говорили, что в детском доме чума, а это Ежов с супругой приехали выбирать приемную дочь и выбрали эту девочку. И как потом снова все повторилось, забрали уже Ежова. До сих пор помню пронзительное описание обыска в этой высокой квартире, где только накануне были Сталин, Молотов и Каганович. И снова девочка в детском приюте где-то в Туле, вырезает из старых желтых газет портрет Ежова, уверенная, что это ее отец. Только, как странное призрачное видение, словно воспоминание

того, чего никогда и не было и не могло быть, являются ей белые птицы-чайки из того младенческого сна, когда она еще была дочкой тех убитых. Я слушал, и у меня было ощущение, что это мне снится волшебный полет белых птиц.

Василий Семенович читал рассказ ровным, внятным, несколько учительским голосом, приглушенным болью, хриловато отчеканивая слова. Иногда казалось, что это не проза, а клятва, проклятие, песня песней. А потом он еще прочел небольшой, протокольно записанный рассказ о старой большевичке Надежде Борисовне Алмазовой, которая в последние дни жизни получила комнату в новом доме на Юго-Западе, вскоре умерла, и как после смерти пришло на ее имя письмо. Это воскресенье, и соседи ее по коммунальной квартире играют на кухне в „подкидного дурачка“, игра прерывается приходом почтальона. Письмо вскрывают, а там извещение, что Алмазов — муж Надежды Борисовны — посмертно реабилитирован.

Слесарь, житель квартиры, говорит: „Ладно, завтра пойду в домоуправление и отнесу письмо“.

Рассказ заканчивается возобновлением „подкидного дурачка“.

„ — А кто сдает?

— Кто остался, тот и сдает“.

Это были именно те слова, которые входят, как копьё, в сердце.

Казалось, в комнате все иссушено, и бумага, шуршавшая в его руках, и то, что он читал, было сухо, ушли краски, свет, кипение, остались только жесткие точные слова, иероглифы и разлитая бессильная боль.

Это было уже во второй раз на моей молодой жизни. Вот так же доходил в сумрачной своей комнате, в матрацной могиле, всеми забытый, заросший бородой Андрей Платонов, и он рассказывал мне, как однажды на фронте ночевал в крестьянской хате, и в сенях вздыхала корова, и он всю ночь не спал и слушал вздохи.

А литературные палачи сменяли друг друга с железной неумолимостью и становились все мельче и ничтож-

нее. Они вырождались из кобры в клопа. Сначала были те, которые сами умели писать, но и убивать хорошо умели, а потом те, которые не могли писать, а только убивать. Теперь те, которые не могут ни писать, ни убивать, а только кусать.

Гремели литературные диспуты, симпозиумы, форумы, кипела муравьиная суета, паучья толкотня, подымали на щит жуликов, мазуриков, ловчили, печатали миллионными тиражами и награждали Государственными премиями книги, набитые ватой, которые не только через год, но уже в дни награждения читали только обманутые, дезориентированные, сбитые критическим шумом фальшивомонетчиков, а Василий Семенович Гроссман в своей тусклой, сумрачной комнатке выстукивал одним пальцем на старой разбитой машинке слова, которые будут сжимать сердца людей и через сто лет.

Конечно, к этому привыкнешь, как к болезни, тюрьме, потере близких, и это уже не вызывает протеста. Вот так и тянется жизнь.

Ошибочно, что люди, чуждые суеты славы, насмеются и издеваются над ней, и им, забытым, хочется если и не света „юпитеров“, то общения, публикаций, признания. Гроссмана никогда не баловали вниманием. С грустью говорил он: когда печатают роман, звонит телефон, приезжает курьер с гранками, присылают машину, ты нужен, все ж таки приятно. А потом телефон молчит, курьеров нет, и никому ты уже не нужен.

— Знаете, забывают все-таки, — печально сказал он, — за десять лет напечатали три-четыре страницы. Я недавно спросил пятилетнюю девочку, кто такой Сталин, она не знала. А ведь Наполеону и не снилась его слава.

Он говорил спокойно, чуть иронично, как бы посмеиваясь над самим собой, да и над собеседником, глуховатым, пожилым, мудрым голосом раввина и инженера.

Один, совсем один, забытый, сидел он в своей квартире и писал очередной рассказ, зная и понимая, что ни-

кто этого рассказа не ждет, ни одна редакция не позволит, что и напечатать ему рассказ невозможно. Правда, об этом он сейчас не думал и не мог думать. Думал только о рассказе, и на этот миг мощь и наслаждение работой отвлекали его от тоски, тяжелых мыслей, понимания своего положения, снимали удушье.

За весь вечер, пока я сидел у него, мы беседовали, и он читал мне рассказы, за весь долгий вечер телефон ни разу не зазвонил, не было даже ошибочного звонка.

В этой новой холодной комнате с пальмой в кадке и мертвыми уродцами, кактусами, с живыми слушающими, враждебными стенами чувствовалась обреченность. Меня коснулось и объяло это глухое городское одиночество в камере огромного дома, в миллионном городе, в немоте, постоянном чувстве чуткого, недремлющего, устающего электронного уха, которое слушает и слушает день и ночь и кашель, и хрипы, и крики боли, и, кажется, даже мысли, кажется, все знает, все просвечивает.

Человек, которому в это время должен был внимать мир, в тот затерянный вечер радовался, что у него есть один слушатель. Кроме меня только кактусы тоже, казалось, слушали его с человеческим вниманием.

А этот единственный слушатель торопился к своей жизни. Куда я торопился, зачем не досидел до поздней ночи, до рассвета в этой последней беседе, последней встрече.

В жизни, в которой мы живем, мы не ценим того, что должны были ценить, мы проходим почти равнодушно мимо близких, родных людей, их бед, их несчастий, нам некогда, мы торопимся, мы очень заняты собой, мы не пишем писем, которые должны были написать, мы даже не приходим на похороны, а потом, потом мы громко плачем, сожалеем, ужасаемся своему эгоизму, своему равнодушию и в дневниках, в стихах и прозе изливаем свою тоску, горе, вымаливаем прощение. Все несправедливости, все притеснения возможны только потому, что каждый думает о себе, всегда только о себе.

В самом конце вечера, как бы подводя итог нашим разговорам, Василий Семенович сказал:

— Меня задушили в подворотне.

После была болезнь, больница, долгое, жестокое, мучительное умирание, крики, которые поднимали в воздух Первую градскую больницу. Природа добивала его с той же, что и государство, неумолимостью и беспощадностью.

Было необычно жаркое сентябрьское утро, прощальный день сухого лета. Почему-то долго, томительно сидели во дворе Союза писателей на скамеечке под падающими листьями и ждали начала панихиды. Летали поздние неожиданные мотыльки, они были какие-то взерошенные, судорожно, истерическими рывками перелетали с травинки на травинку, вздрагивая, садились на поздние осенние цветы и как бы оглядывались — не приснился ли этот мир, эта однодневная жизнь, данная им случайно, напрасно.

Медленно стекались люди, не много, но и не мало. Не было обычного, торжественно-печального подъема знаменитых похорон, а как-то тихо, таинственно. Одна женщина сказала:

— Так хоронят самоубийц.

Да он и был самоубийца, писал, что хотел и как хотел, не желал входить в мутную общую струю.

Я сидел на скамеечке под падающими желтыми листьями и думал. Поразительная судьба. Действительно задушенный в подворотне. И после смерти его продолжали втихую душить. В редакции „Литературной газеты“ долго судили, рядили, как давать некролог — с портретом или без, указаний на этот счет не было, и напечатали на всякий случай без портрета. „Советская культура“ неожиданно дала портрет, получился конфуз, но редактор „Литературной газеты“ легко его перенес, у него было чувство своей правоты, чувство политической перестраховки, а значит, и превосходства.

Панихида задерживалась, и никто не знал, в чем дело,

очевидно, где-то в последней инстанции окончательно утрясали список ораторов.

Толпа все увеличивалась, было много незнакомых лиц. Какой-то человек подсел ко мне и представился:

— Я Аметистов, все знают, что я порядочный человек...

— Очень хорошо, — сказал я, встал и ушел.

У раскрытого подъезда торчком стояла в ожидании глазетовая крышка гроба, в здании вяло, кладбищенски-печально пахло венками. Большое зеркало прихожей было завешено простыней, скульптура в черном крепе, люстры повиты черной кисеей.

Народ жался у стен, и пол был покрыт еловыми иглами и лепестками траурных цветов.

Вдруг что-то произошло, где-то была дана команда, и толпа как-то зрелищно устремила по широкой лестнице в конференц-зал. Я остался в фойе.

Из тишины пришла взвизгивающая нота, кто-то начал речь.

Все наши муки, горе, сострадание, жизнь и смерть в последние десятилетия были каким-то образом связаны с этим конференц-залом. Здесь шли долгие безумные собрания и убийственные обсуждения, именно здесь и состоялось то заседание секретариата, на котором Первенцев назвал Гроссмана идеологическим диверсантом, а Фадеев сказал, что стоило нам на минуту отвлечься, как выполз национализм Гроссмана.

В фойе была угнетающая тишина, тишина мимолетной жизни, как бы прислушивающейся к миру смерти.

А в больших пустых служебных комнатах на столах неутешно звонили телефоны, во двор на серой машине „Связь“ приехал фельдъегерь, сдал засургученный пакет и, даже не взглянув в сторону зала, откуда доносилось жужжание похоронных речей, спустился по лестнице, и в тишине снова зафырчал мотор, а когда он затих, слышно стало, как в техническом секретариате стучат почтовым штемпелем.

Да, учреждение работало на полном газу.

Чем роскошнее, представительнее становилось это учреждение, лакированное парадный ход, вместо гнусной раздевалки и пахнущего карболкой писсуара — просторный, обитый сосновыми панелями гардероб, на мраморной лестнице — ковровая красная дорожка и в кабинетах массивные, огромные, похожие на прокатный стан столы, чем это учреждение становилось богаче, солиднее, государственнее, тем меньше в нем было живого дыхания и дела, участия к людям, тем больше оно становилось похожим на загримированный, одетый в фальшивую парадную одежду разлагающийся труп.

Когда секция сказочников заседает при закрытых дверях, как Генеральный штаб, когда глупые, никчемные людишки могут болтать все что угодно, хвалить друг друга, подлизываться друг к другу, награждать друг друга, ведь никто не ответит им, никто не посмеется над ними, все перерождается.

Как раз в час похорон на свое очередное заседание собрался секретариат.

Они торопились мимо гроба, собираясь поодиночке. Первым появился Н. Он прошел деловым шагом, даже не остановившись возле распахнутой двери в конференц-зал, прекрасно знал, что тут происходит и какое он лично имеет к этому отношение, выдав доверенную редакции рукопись романа карательным органам. Лицо с крепко натянутой, как ремень, кожей ничего не выражало, кроме вечного недовольства, словно он все время жевал дерьмо.

Другие останавливались на одну-две минуты, но каждый останавливался по-своему.

Вот А. в новой велюровой шляпе и новом костюме, в рубашке с высоким, режущим вялую, мятую шею воротником, сначала прошел мимо, но, поняв, что его видят, вернулся. Я долго смотрел на его землисто-лимонное лицо, заостренное, как у стервятника, куриные серые глаза. Неужели, только взглянув на него, люди не видят, что это страшный человек? Говорили, что недавно было его письмо в „Литературную энциклопедию“ с протестом

против статьи о Гроссмани, который уже десять лет ничего не пишет. Теперь он стоял у открытой, жарко дышащей двери в похоронный конференц-зал, в мертвящей тишине гудел чей-то голос, произносящий речь над гробом, а он был напряжен, как пружина, и, глядя поверх голов, слушал и все время поглядывал на ручные часы: „Видите, я ведь занят, а стою“. Он послушал, пожевал тонкими костяными губами и спокойно прошел дальше.

Вот Б. с лицом хорька. Он тоже остановился у дверей и с серьезным, как бы соблезнующим, как бы чем-то виноватым лицом недолго, невнимательно послушал, что бы никто не мог ничего плохого о нем сказать.

Страх и безнаказанность все время сменяются и играют на его лице. Он боится уйти, чувствуя на себе взгляды окружающих, но и страшится перестоять лишнее. Переминается с ноги на ногу, нет, он не в том вечном, необратимом, что происходит там в зале, а весь в своих комплексах. И вот наконец усилием воли отрывается от места, к которому неведомой силой пригвожден, и сначала тихонько, чуть ли не на цыпочках, остороженько и скромненько отходит, словно не отходит, а как бы случайно делает несколько шажков в сторону и еще несколько шажков, скрывается в коридоре, а там уже чуть ли не бежит.

В. постоял как бы мельком, мимоходом, на одной ноге, всунув в распахнутую настезь смертью дверь мордочку „гиены в сиропе“ и, когда ему стало скучно, отошел, забыв все на свете, весь в своей живой авторитетности.

Подошел и Г. с прищуренным, прикрытым глазом, с лицом, приснившимся в дурном сне, как бы сочувственно послушал и пошел дальше.

Все они знали, мимо чего проходят, мимо того вечного, необратимого, что ждет и их, но не хотели, не желали, боялись или не способны были об этом подумать.

Думали ли они, по крайней мере, о содеянном, калялись ли, проникал ли страх возмездия в их душу, или они всецело были в текучке, в интригах, в своих личных

тщательных интересах, полной уверенности в своей безнаказанности?

Там, в убранных коврами уютных барских апартаментах, они сидели в глубоких кожаных креслах вокруг массивного министерского дубового стола, и из огромных окон ровно лился спокойный солнечный свет сентября.

О чем же они там говорили, в солнечном кабинете, как могли рядом с гробом своего коллеги обсуждать мелкие хищные вопросы и какими бесчувственными, зачёрствелыми должны были они быть, какими выжатыми лимонами, сколько унижения, презрения от вышних должны были вытерпеть, сколько их должны были топтать в тех высоких кабинетах, через какие страхи должны были они пройти, чтобы все живое из них выутюжить, вычерпать и чтобы они стали только винтиками этой бесчеловечной машины.

В отделе кадров шла будничная работа. После смерти члена Союза его личное дело сдают в архив, вынимая из роскошной коричневой папки, и сотрудники между собой это называют „раздевать“.

— Валя, ты Гроссмана уже раздела?

В крематорий я поехал в одной машине с В. Тевеляном. Помню, как только он появился в Союзе в 1956 году, старая лиса Никулин, услышав его первую речь на собрании, сказал: „Он вас всех подождет“. Теперь он занимал высокую должность парторга МГК, ему поручено было проследить за порядком похорон, чтобы все было как нужно, тихо, прилично и правильно, без нигилизма, вывихов и вывертов.

Он был комиссаром похорон, и, сидя рядом с ним в машине, что бы я ни думал про себя, я был как бы в безопасности.

Вдруг он сказал мне:

— И мы умрем, а не хочется, как не хочется!

Еще бы ему хотелось. А ведь были в этой скорбной толпе провожающих и такие, которым уже хотелось скорее все кончать.

При виде Донского монастыря я бодро сказал ему:
— Все тут будем.

И он весело кивнул, совсем не ощущая, как, впрочем, и я, и никто не ощущает, что это его лично касается, всех, но не меня, не может же этого быть, чтобы меня повезли в черном автобусе.

И снова краснокирпичные стены Донского монастыря, эти широкие, всегда раскрытые ворота крематория.

Зеленая тишина и строгое современное ультраурбанистское сооружение с вечно дымящей трубой.

Тут в высоком и гулком храмовом зале мы стояли и ждали среди высоких шкафов с урнами. Трудно, невозможно, немыслимо представить, что все это были люди, от которых остались только одни выгравированные на металлических табличках имена, что это были счастливые, веселые и печальные, добрые и подлые, мудрецы и невежды, совестливые и бесстыдные, тихие и буйные, завистливые и бессребреники, гуляки и аскеты, дельцы и сумасшедшие. О, если бы вдруг заговорили все эти голоса, если бы засмеялись вдруг или, может, заплакали.

И вот наконец гроб Василия Семеновича Гроссмана на постаменте, как на трибуне.

Стояла тишина, вернее, микротишина этих похорон, потому что в нескольких шагах уже суетились, пошумливали, подвывали следующие похороны.

И были речи, и медленное открывание зеленой шторки, и медленное и неумолимое опускание гроба под звуки реквиема.

Это был последний миг его существования. Еще можно было увидеть, как мелькнули седые виски его, надбровья в жалкой бесполезной сердитости, окостеневшее, ссохшееся в незнакомой желтизне лицо и теперь маленькие, высохшие рабочие, натруженные руки...

Через миг всего этого не станет. Где-то там в адской глубине костяной лопаточкой соберут кучу пепла, да и кто знает, его ли пепла или предыдущего, или последующего. Там у этих кочегаров работа конвейером, и нет для них ни гения, ни палача, ни старика, ни ребенка, ни красавицы, ни уродки.

О, сколько в тот вечер последней встречи еще было в нем силы, какой динамитный заряд творения, жажды, самолюбия, сколько было накоплено, сколько запечатленных картин, удивительных, волшебных, какая уйма острых, метких словечек, которые он так любил. Какие планы, сюжеты, сколько типов, сколько типов! И какая бездна любви, нежности, ненависти. И все это ушло с ним, сгорело в мгновенном адском огне, от всего осталась серая кучка магнетитового пепла с расплавленными золотыми коронками, которые вытащили щипчиками и по акту сдали артельщику Госбанка, а может, и не сдали.

И чувство сиротства, чувство великого одиночества, и что все будет кончено и никогда уже ничего не будет, и удушье, и незачем жить, и такси по чужим, как бы незнакомым улицам, и нет сил сидеть на месте, и пешком где-то по Замоскворечью, по Большой Якиманке, по Болотной через Яузский мост в центр, и медленное возвращение к жизни.

А дома на улице Черняховского я встретил своего соседа, мелкого литературного вертухая. Он вышел из подъезда, веселый, молодежавый, светящийся на солнце в периленовом костюме, с дорогим, кожаным, заклеенным пестрыми ярлыками чемоданом.

— Прощайте, до свидания, я уезжаю.

— Куда?

— В Конго Киншаса, в Уганду, к горе Килиманджаро.

Борис Самойлович Ямпольский
Арбат, режимная улица

Редактор В.А.Приходько
Младший редактор Е.А.Моргунова
Художественный редактор Ю.В.Архангельский.
Технолог М.С.Белоусова.
Оператор компьютерной верстки А.В.Волков.
Зав. корректорской А.Ю.Минаева.
Зам. зав. корректорской Н.Ш.Таласбаева.
Корректоры В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский.

Издательская лицензия № 101053 от 4 апреля 1997 года.
Подписано в печать 12.08.97. Формат 60 × 90/16. Гарнитура Академическая.
Печать офсетная. Объем 27 печ. л. Тираж 10 000 экз. Изд. № 452. Заказ 207.
Издательство «ВАГРИУС». 103064, Москва, ул. Казакова, 18.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии
«Первая Образцовая типография»
Государственного комитета Российской Федерации по печати
113054, Москва, Валовая, 28.

Творчество Бориса Ямпольского незаслуженно замалчивалось при его жизни. Опубликована едва ли четвертая часть его богатого литературного наследия, многие произведения считаются безвозвратно утерянными. В чем причина? И в пресловутом "пятом пункте", и в живом, свободном, богатом метафорами языке, не вписывающемся в рамки официального "новояза", а главное – в явном нежелании "к штыку приравнять перо". Простые люди, их повседневные заботы, радости и печали, незамысловатый быт были ближе и роднее писателю, чем "будни великих строек".

